1 р. 50 к.

ИНДЕКС 73274

ПЕРЕИЗДАНИЕ ЖУРНАЛА "ПУТЬ"

Журнал "МОСКВА" открывает подписку на приложение – репринтное переиздание журнала "ПУТЬ". Переиздание будет осуществляться в течение 1991–1992 гг. по 30 номеров в год.

"ПУТЬ", орган русской религиозно-философской мысли, был лучшим периодическим изданием эмиграции. Он выходил под редакцией Николая Бердяева с 1925 по 1940 год. В его издании принимали участие видные деятели русской культуры: протоиерей С. Булгаков, В. В. Зеньковский, Л. П. Карсавин, Н. О. Лосский, А. М. Ремизов, Е. Скобцева, Ф. А. Степун, Г. П. Федотов, священник Г. Флоровский, С. Л. Франк, протоиерей С. Четвериков, Л. Шестов и другие.

"ПУТЬ" стал библиографической редкостью; полные собрания номеров журнала отсутствуют даже в крупных научных библиотеках России и зарубежья. Комплект "ПУТИ" – необходимое энциклопедическое пособие для философов, историков, деятелей православной Церкви, всех, кто интересуется русской культурой XX века.

Цена одного номера 5 рублей.

"СТОЛЫПИН: ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ"

"Вам нужны великие потрясения – нам нужна великая Россия", – эти слова председателя Государственной думы П. А. Столыпина и сейчас выражают думы и чаяния миллионов патриотов России. Время показало, что многие его мысли были удивительно прозорливы, а дела тверды и верны. Ведь даже в планах землеустройства нынешних политиков немало взято из аграрной реформы Столыпина, выношенной им еще в бытность Петра Аркадьевича саратовским губернатором. Не раз являл он Государственной думе глубину и ясность ума, силу поступков, да так, что даже заклятые враги сдавали в открытой полемике с ним. Блестящий оратор, тонкий психолог, смелый, честный, преданный своему Отечеству человек, Столыпин мог противостоять революционной стихии, подталкивающей Россию к пропасти. И как знать, не пади он от рук убийцы, может, совсем иным естественным, бескровным путем пошла бы вперед Россия, оставшись могучей страной, где уживались и множились сотни больших и малых народов.

Велик ныне интерес к личности Столыпина – нашего "забытого исполина", сборник о жизни и смерти которого готовится в Приволжском книжном издательстве (г. Саратов). В него вошли материалы из книг "Убийство Столыпина", "Речи", предоставленные нью-йоркским издательством "Телекс", письмо сына П. А. Столыпина – Аркадия Петровича из Франции. Вступительная статья И. Дьякова.

Наш современник, 1991, № 1, 1–192

НАШ СОВРЕМЕННИК

№1 1991

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№1 1991

НАШ СОВРЕМЕННИК

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№1 1991

ИПО
«ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА»
МОСКВА

Содержание

И. о. ответственного секретаря З. С. Гуляевская
Технический редактор Л. Л. Ежова Корректоры М. И. Кононова, Л. Н. Тихонова

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией), 200-24-76 (отдел писем).

Сдано в набор 12.10.90 г. Подписано к печати 1.02.91 г.
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,95 Тираж 275 000 экз. Заказ 180

ИПО «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»,
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

ПЕТР КРАСНОВ

ФРОНТ «ЦЕНТРА»

«БИТВА МАМОНТОВ С ДИНОЗАВРАМИ» И РУССКИЙ ВОПРОС СЕГОДНЯ

Русский вопрос — это прежде всего вопрос российского государственного строительства, невозможного без высокого, космичного купола духовной атмосферы над своим земным, материальным основанием (как, впрочем, и суть любого другого национального вопроса). Планируемая капитализация — а она не может не быть в наших условиях самой грубой, примитивно-прагматической, разоряющей все духовное вокруг, — отшвырнет нас на век назад, на долгое время лишив возможностей и надежд «быть с веком наравне», еще пока имеющихся. Эгоистические цели и средства ее нынешних идеологов, как и их «красных» предшественников, «люмпен-интеллигентство» как явление слишком хорошо нам известны, чтобы питать хоть какие-нибудь иллюзии на этот счет.

Нас часто пытаются убедить, что «размежевание, отсечение массы обрело такую силу, что практически разметало по флангам все общественное сознание... Это шаги в зону самоуничтожения, в зону пожара, который сметет дотла надежды Отечества. И никакого отпущения грехов ни правым, ни левым, ни завтра, ни в историческом отдалении не будет. Подумаем наконец о тех, кто останется после нас».

Казалось бы, нельзя не согласиться с этими словами уважаемого мною Олега Попцова («Московские новости», 1989, № 51) — второго Ноева ковчега не будет, я с ним в этом целиком солидарен, кроме разве одного: так уж «разметало» ли? Эта мысль настойчиво повторяется и в этой, и в других публикациях его: «Каких только фронтов нет... Одного нет — главного. Фронта центра. Центра радикального, который необходим нашему обществу сегодня как жизнь. За демократию, социальный прогресс, интернационализм...», «И вся масса разума, эмоций оказалась на противоположных флангах».

Эта идея о «тотальном размежевании», наиболее авторитетно звучащая в устах известных «нейтральных» деятелей, имеет слишком уж широкое хождение именно на страницах «левокапиталистических» (или как их еще назвать — поточнее?) изданий — и конечно же не зря. На мой взгляд, это очередная ложь «гласности» — так сказать, «ложью ложь поправ»... Такая же, например, как нынешнее утверждение приоритета общечеловеческих интересов и ценностей над национальными и классовыми, противоречащее и затасканному «плюрализму», и обыкновенному здравому смыслу: только равенство — хотя бы во избежанье искушения гвоздить одно другим! Национальное уже гвоздили — сначала классовым и интернациональным, а теперь вот, чуть переменив термин, вознамерились общечеловеческим... Истинный, то есть нравственный, национальный интерес не может противоречить общечеловеческому, они входят друг в друга; более того, общечеловеческое без конкретики национального — попросту очередная космополитическая фикция, каких много. Удивляет лишь упорство радика-

лов в протаскивании и навязывании таких вот примитивных, совершенно антинаучных идеек; впрочем, они-то знают, зачем тащат и навязывают.

«Фронт центра» всегда был, есть и будет, пока существует народ. И попытки отказать ему в «общественном сознании» (как это невольно, скорее всего, сделал О. Попцов), делегируя право на него «левым» ли, «правым» или другим каким представителям, любителям «размежевывать», и тем самым вывести его из политической борьбы за свои права и «созиание»,— стары как мир. Можно, конечно, заставить замолчать его, присвоить себе право говорить от его имени, террором принудив голосовать единогласно за те же колхозы. Или, как сейчас, сделать вид, что его, народного сознания, и вовсе как бы нет, а если что и есть, то что-то консервативно-пассивное, жаждущее колбасы и водки, но не разумеющее даже прямых выгод своих и тупо сопротивляющееся потому всем нововведеньям от аренды, кооперативов (это смакуется) до «рыночной экономики» — ве смыслят, дескать, ничего а вот упираются...

Старая песня, вполне антинародная, и цель ее одна — не дать ему, народному мнению, прозвучать, вселенским хаем забить или сбить этот голос, не брезгуя ничем, даже ОФТ объявляя подручным у административно-командной системы, всячески замалчивая или перевирая позицию тех же забастовщиков. И, главное, ве дать объединиться ему с голосом народной, патриотически настроенной интеллигенции. Здесь уж пускаются во все тяжкие, первым делом навесив на нее, несравненно глубже, существенией (и, заметим, конструктивней в смысле поисков исторического выхода), критикующую Систему и сталинизм, ярлык «правых», пытаясь пристегнуть лучших представителей ее едва ли не к аппарату... Бесполезно да и смешно спорить с этим однобоко раззявленым на всю страну и заграницу ртом «гласности», доказывать, что ни Леонов с Распутиным, ни Антонов с Яриным, Кожиновым, Шипуновым, Бондаревым, Шафаревичем и многие другие никакие не «правые», а как раз и есть тот самый искомый «центр» в нашей разбредшейся интеллигенции, в духовной и политической жизни вообще, и что все эти политиканские игры в «правые — левые» рассчитаны на малолетнюю в политическом отношении уличную публику — чтоб ее самым балаганным образом надуть, разумеется.

Размежеванье, разброс мнений и позиций велики, противостоянья ожесточены до предела, но «центр» и фронт его был и есть: он там, где сосредоточены высшие духовные и материальные интересы и цели народа. Это от него отвлекают как могут внимание всех рулевые «гласности», и именяо там его представители и выразители, российские интеллигенты, умом глубоко понявшие и к сердцу принявшие трагедию родины и теперь вот с народом вместе тяжело, с мучительными прозреньями ищущие в электрических потемках конца века выхода из беды, исцеленья, искупления. И О. Попцов все это, скорее всего, тоже знает.

В силу хорошо нам известных обстоятельств этот фронт «центра» оказался наименее политически развит, наименее, скажем так, организационно подготовлен к происходящим сегодня переменам. Впрочем, за прошедший век, когда как раз и была наибольшая нужда в нем, ему ни разу не дали сформироваться вполне: он был и остается главным врагом всегда опережающего радикализма, главной преградой на его пути к власти. Вообще же надо заметить, что все национальные движения в нашей стране (кроме разве что еврейского, обладающего большим историческим опытом полуконспиративного существования), вышедшие наконец-то из-под пресса тоталитарной идеологии и запретительства, в смысле развитости своей очень молоды, корни их и традиции полуобрублены, полузабыты, опыт общественно-политической деятельности растеряи. И не мудрено, что они еще не определились в новой реальности, что много в них идейного разброда, шатаний и крайностей, детского максимализма и экстремизма, примеров тут хоть отбавляй. Однако конструктивное, здоровое ядро есть в каждом из них.

Мало сказать, что русское национальное движение не избежало всех этих последствий учиненного «интернационалистами» разгрома или удушения необходимых каждому народу национальных идей. Но, более чем какое-либо другое преследуемое, выбитое и оклеветанное, оно тем не менее лучше других сохранило гуманистические принципы, общечеловеческие, христианские в генезисе своем мировоззренческие основы — сказался мощнейший, никаким бухариным, троцким и сталиным не подвластный до конца, неуничтожаемый заряд русской культуры, самого строя русского характера.

И не удивительно потому при самом что ни на есть худшем и униженном среди других положении народа очень незначительное в нем присутствие экстремистских элементов и крайностей, а каких-либо националистических волнений и выступлений, в отличие от неславянских республик, нет пока вообще. Ничтожная и в количественном, и в качественном отношении «Память», как некая достаточно естественная крайность, всегда есть, была и будет в любом национальном движении. Кстати сказать, за несколько этих необычайно емких лет (приведших, например, националистические организации Прибалтики и Закавказья от зарождения до полного захвата власти ими в этих республиках [1]) «Память» не только не сделала хоть какого-то качественного шага в своем развитии, но даже и численно-то не выросла, оставаясь в пределах все тех же нескольких сотен, разрозненных на мелкие и враждующие кучки, а часть ее и вовсе отошла от крайних лозунгов, предпочитая «малые дела», таская кирпичи где-нибудь на Крутицком подворье или в Толгском монастыре. Мала, крайне мала «черная сотня» для целей лосото, коротичей, щекочихиных и прочих гольданских, в силу «обостренного чувства своей принадлежности» (Шафаревич) к другому народу беззастенчиво лгущих стране и миру о злодейском, якобы самом широком «русском фашизме» и только тем и поддерживающих на виду и «на плаву» вообще этих «обидевшихся на историю» и никому эту обиду не могущих простить людей... Но, как говорят, мал золотник, да дорог, и мерзкая, вполне обоюдная провокация в ЦДЛ, свидетелем которой мне пришлось быть, это в который раз подтверждает.

Фронт «центра», по сути дела, только еще организуется, создает и объединяет силы, вырабатывает программу целей и действий — всё в становлении, в некотором хаосе и нешуточных порой противоречиях, связанных с весьма-таки широким диапазоном взглядов, духовных и вполне материальных задач, наметившихся пристрастий и расхождений. Что ж, это все естественно и даже необходимо для свободно объединившихся на близких идейных основах людей, хотя и сказалось на слишком общих, порой толком непродуманных, расплывчатых формулировках первой их предвыборной платформы. Впрочем, такая же почти картина и в противостоящем, не менее, наверное, широком лагере «Демократическая Россия», и та же, лишь более броская и умелая, популистская «лозунговость» вместо программы — только служившая для многих кандидатов в депутаты совсем другим, прямо сказать — маскировочным целям...

Эту неразработанность программ, вернее — их отсутствие в обоих лагерях, надо отметить еще раз. И если в первом случае это объясняется большей частью идейным «организационным периодом», трудным поиском новых экономических форм народной жизни, то в случае с радикалами, столичными в особенности, давно уж организовавшимися и продумавшими все наперед, резонно спросить: а нужна ли им развернутая программа вообще? Да, ставка на современного филистера, потребителя прав, товаров, масскультуры и в целом «западного образа жизни», у них вполне откровенна, но не писать же, в самом деле, такие в ней подробности, как, скажем, организация в стране «свободного рынка» и передача его «черному рынку», продажа ему же всех средств производства... Не пройдет пока, а потому хватит с него, избирателя, к лозунгам — безоглядно (на бюджет) смелых таких, удобоваримых, проглоти наживку и жди.

Цели же и средства «старой гвардии» административно-бюрократической Системы, не раз уже декларированные пресловутой Н. Андреевой, — этих скорее «задних», чем «правых», — ясны более всего: так или иначе свернуть реформу, опять взгромоздиться поверх всего, придавить всякую «фронду», откуда бы она ни исходила, всякую жизнь. Опасность эта конечно же есть — но, хочу

---

[1] Впрочем, «бытовой» национализм в русофобия достаточно свободно и широко «практиковались» там все три последних десятилетия, скрываемые от нас властями и прессой. В который раз мы, пожиная теперь плоды этой «практики», убеждаемся, что утаивание правды какими бы благими целями это ни прикрывалось,— ложь во имя мнимого «интернационализма», сам по себе интернационализм за счет одного, русского народа, к добру не ведет.

повторить, едва ли не в единственном случае, а именно при полном «успехе» радикалов по развалу национально-государственной жизни страны. Стихийное патриотическое движение, скорее всего, сметет их, и тогда «задние», воспользовавшись нуждою в сильной власти, могут попытаться оседлать ситуацию... Сценарий не столь уж и фантастический, если иметь в виду всегдашнюю недалекость стратегического замысла радикалов, их чуждость народной жизни, ее недопонимание, самоуверенный эгоизм — при всех способностях и даже таланте отдельных представителей радикализма, их недюжинной тактической ловкости и энергии... При более или менее нормальном течении реформы шансы «задних», вопреки отвлекающим крикам радикалов, конечно же невелики, все мнимости «чуда, тайны, авторитета» покидают их сейчас на глазах. Они у нас на исторически долгожданном (вне зависимости от данных института Заславской, которой верить не приходится) закате, люди сыты ими по горло, и вызвать всплеск — да и то временный — активности «задних», как и некую одномоментную поддержку их народом, могут лишь какие-то чрезвычайные обстоятельства. Не допускать таковые, вообще всякие резкие ситуационные сломы — это лучшее, пожалуй, что можно сделать в ответ на растрезвоненную «правую опасность», которая куда больше «светит» нам, как оказалось, совсем с другой стороны. Это же и в интересах всего нашего и без того натерпевшегося, на грани социального срыва живущего населения.

Гораздо сложней, чем с планами и целями нашего разделившегося надвое «истеблишмента», обстоит дело с задачами фронта «центра» — той самой тяжелой, как всякая истинная жизнеустроительная работа, «средней линией общественного развития». К ней тяготеет (или, по меньшей мере, тяготел до последнего времени) реформаторский партийно-правительственный «центр», как ни шатка была и остается, непоследовательна и двойственна (в силу незавидного по «семейно-родственным отношениям» положения) деятельность его и сама политика[2]. Платформа объединенья здесь — часто поминаемый нами, но едва ли многими хорошо понимаемый «социалистический выбор», «советский» именно в смысле «советоваться».

Всем известно — правда, пока что больше теоретически,— что социализм должен строиться на общественной собственности на средства производства. Мы построили нечто, где эти средства, да и все национальное богатство, оказались в безраздельном распоряжении самодостаточного и самоцельного государственно-бюрократического монополизма, которому ни до человека, ни до самого социализма дела нет,— социализм «задних». Настоящей общественной, социалистической как таковой, независимой от госмонополии собственности у нас, можно сказать, и не существовало, кроме той товарно-денежной массы, находящейся в обращении у населения, да некоторой части общественных фондов потребления — хоть и зависимые, они создавали некую иллюзию социализма; впрочем, этих крох со стола Системы если и хватало, то лишь на одну эту иллюзию.

Между тем, тыча пальцем в сторону Скандинавии и «самих» Штатов, где этой общественной собственности, дескать, хоть завались (в том же огромном товарно-денежном обращении, в различных государственных, общественных и других фондах, предприятиях и т. д.), радикалы предлагают к этому раю путь через горнила самой что ни на есть примитивной, позавчерашней и для «райских обитателей», частной собственности. Апологетика «чистого рынка» и прямой капитализации страны в наших «левых» изданиях приняла сейчас самые безудержные и, я бы сказал, бессовестные формы, ложью своей, приукрашиваньями и замалчиваньем недостатков западного «образа жизни» вызывая даже протесты многих западных экономистов и политологов. И на наш дилетантский,

---

[2] Пытающееся организационно взбодрить себя и на ходу присоединиться к горбачевскому «центру» справа руководство так называемой РКП является, на мой взгляд, «партией обкомов» — несмотря на благие намерения первых ее инициаторов. Поэтому рассчитывать на серьезную, то есть разумную, подвижку их к истинному центру, увы, не приходится.

во не лишенный здравого смысла вопрос: а зачем, собственно, таким попятно-кружным и тяжким путем, если мы вроде бы уже подошли наконец вплотную к решению этого вопроса реформационными, в чем-то «рузвельтовскими», мерами? — отвечают, что вы, мол, ничего не понимаете, вам нужен только такой, «воспитательный» путь, и лишь свободный бизнес на свободном рынке окончательно раскрепостит, дескать, сделает из вас «цивилизованных людей». А иначе придет, мол, страшный дядя — «правая опасность»!..

В интересной, хотя и далеко не бесспорной, беседе «Мифы нашей революции» («Литературная газета», 1990, №№ 10—13) В. Криворотов и С. Чернышев подводят четкий и обоснованный, конечный, пожалуй, итог мировоззренческих позиций противостоящих друг другу «задних» и радикалов «межрегиональной группы»: «С. Ч.: ...Те, кто указует на современный Запад, не сомневаются, что там капитализм. То, что они предлагают заимствовать,— свободный рынок частных капиталов. То есть речь-то, говоря с большевистской прямотой, ведется о реставрации капитализма, об импорте буржуазного строя девятнадцатого века, который к тому же давно не существует... В. К.: Между контрреволюцией и реакцией (здесь и далее выделено авторами.— *П. К.*) — вот где застряло наше мифологическое общественное сознание. Противоборствующие партии зовут в прошлое, оба вектора направлены назад. Направление вперед, в будущее в этой битве мамонтов с динозаврами не представлено вообще.

То, что можно и нужно заимствовать из экономики современного Запада, вовсе не рынок, а общественная собственность... С. Ч.: Обобществление собственности, преодоление отчуждения — магистральный путь развития всей человеческой цивилизации...»

Вывод один: политиканская «битва мамонтов с динозаврами» опять идет за власть над народом — любыми, самыми разрушительными и гибельными для него средствами, на общей их родовой почве нелюбви к нему, непонимания и чуждости, давно уже переросших в плохо-таки скрываемую элементарную враждебность. Интересы трудовых людей, самой страны здесь ничто по сравнению с их собственными эгоистическими целями и являются лишь предметом тактических заигрываний, торгов и прочих ухищрений, если еще и способных обмануть наши многострадальные народы, то — мы убеждены — лишь ненадолго.

Главный вопрос фронта «центра» — общественная собственность, восстановление старых, уже известных, и поиск новых ее форм и путей развития. Поиск очень трудный, в условиях господства противоположной по целям экономической «школы», наступательного во многом саботажа старой исполнительной власти и нерешительности власти верховной, почти полного отсутствия опыта политической и, тем более, экономической борьбы. С ним не справились, капитулировали и более организованные (и с гораздо лучшими социально-экономическими предпосылками в своих народных хозяйствах) силы Венгрии, Чехословакии, Югославии, Польши, но это вовсе не значит, конечно, что их попытки настоящей социализации собственности прошли даром. Вместе с опытом западноевропейским, американским, японским все это должно быть еще и еще раз изучено нами, осмыслено и соотнесено с нашими опытом и традициями, которые и должны лечь в основу подлинно социалистической реформы в стране. А для этого конечно же совершенно необходимо возродить российскую экономическую науку, дать уж никак не меньшие, чем завзятым «рыночникам», права и поле деятельности для экономистов и политиков патриотического направления. Пока же у нас царит политиканский опять же по духу дуализм, принявший форму общеполитического, ничего хорошего не сулящего нам парадокса: провозглашая социализацию государственно-бюрократической ныне собственности, верховная власть на деле все права, полномочия и возможность влияния на практику передала как раз ее противникам в экономической науке и в средствах информации, совершенно, кажется, игнорируя своих «естественных» союзников в ней, не поддерживая хоть сколько-нибудь существенно сторонников социалистической государственности вообще... Разумеется, радикалистский элемент совершен-

но необходим в разработке программы действий[3], но интересно было бы все-таки узнать, что она, власть, хочет получить в результате подобной двуличной, прямо скажем, практики? Исход таких маневров вокруг собственных ног предсказать нетрудно, все это достаточно последовательно вписывается в этот «стиль самораспада», утраты контроля над политическими реалиями...

Формирующаяся сегодня платформа фронта «центра» имеет объединяющий и в этом смысле весьма широкий по целям и средствам характер, предполагая право выбора и соревновательности форм собственности, но во главу всего ставя прежде всего свободный труд, а не свободный бизнес. Если сравнивать «сводную» программных заявлений его лидеров с заявленными целями радикалов, то окажется, что едва ли не три четверти «пунктов» тут попросту совпадают или очень близки. И лишь по малой, но фундаментальной их части возникают принципиальные, во многом классовые разногласия.

Правовое государство, народовластие? Да, но полное, с предоставлением равных, по меньшей мере, избирательных, экономических и прочих других прав рабочей Фабрике перед псевдоинтеллигентской Улицей и ее популистскими вождями, с контролем над средствами массовой информации, чтобы они не превратили эту власть в фикцию, с правовым, вне зависимости от бедности и богатства, обеспечением всех людей. Рынок? Да, но регулируемый, уравновешенный с общегосударственными и народными интересами, а не самодовлеющий, диктующий всё и вся. Частная собственность? Пожалуй — в сферах средне- и мелкотоварного производства и услуг, фермерства, с введением твердого, тщательно разработанного антимонопольного законодательства, гарантией того, что средства производства, капиталы, земля не будут скупаться и концентрироваться в руках как предпринимателей легального бизнеса, так и дельцов «теневой экономики». И кто возразит против бескомпромиссной борьбы с последней, и почему в числе других крупных мер социально-экономического порядка не продумать и денежную реформу с обязательным «замораживаньем» вкладов перед ней, так называемую дефляцию. Мера в чем-то репрессивная, исключительная, но исключительно тяжело и положение государства нашего, чтобы позволить «криминальному капиталу» практически безнаказанно грабить население, сводить своей системой перекачки средств на нет все последние, уже чрезвычайные попытки правительства хоть как-то поддержать стабильность потребительского рынка. Ведь дошло уже до того, что никому эти внушительные-таки в денежном исчислении попытки ощутимой пользы не приносят, ничего не дают — кроме сверхприбылей «теневикам»...

Да, без рыночной экономики, разгромленной в двадцатых, ни решить нынешние свои тяжкие проблемы, ни жить достойно далее мы не сможем — но без какой? В своей экспансивной, больше схожей с ультиматумом, и предельной по откровенности статье («Литературная газета», 1990, № 18) В. Селюнин неумолим: либо она безусловно рыночная, бесконтрольная (то есть, добавим мы, времен Рузвельта — да и то Теодора, а не Франклина), либо никакая — о планово-рыночной или о рыночно-плановой и речи, дескать, быть не может!.. Хотя конечно же прекрасно знает, что нерегулируемого рынка в развитых странах давно попросту нет,— как, наверное, и то, что в окружении мощнейших экономических держав он, рынок этот «сверхсвободный», неминуемо и в самые короткие сроки станет отъявленно компрадорским, полностью зависимым извне, и потащит, как пьяница, все из страны и саму страну «распивочно и на вынос», уж мы-то своих торгашей и деловых людей успели узнать... Впрочем, раскачивая что есть силы ситуацию, лодку нашу перегруженную, ратуя за немедленный захват власти ими, радикалами («Не перехватим мы — перехватят бандюги, сбитые в мафию, в блоке с правыми...»), кого же он видит этими «бандюгами»? Несомненно, мафия у нас одна — преступные бонзы и боссы «теневой экономики», которые (что совершенно верно) — «в блоке с правыми», других нету, и разночтений тут быть не может.

[3] Начало работы нового Верховного Совета РСФСР в чем-то обнадеживает, хотя вполне очевидно, что формально вышедший из межрегиональной группы Ельцин и радикалы отнюдь не отказались от идеи полного захвата, узурпации власти в нем и в новом российском правительстве; успешное проталкиванье своих кандидатур в первую очередь в министры информации и финансов, в председатели Высшего экономического Совета России говорит об этом вполне отчетливо.

Но кого же, далее, видит он субъектами «сверхсвободного» рынка? Кому, захватив власть политическую, передаст он бразды экономические, кто сможет «приватизировать», скупить все эти несметные наши, хоть и плохо работающие заводы, предприятия, банки, землю и т. п.? Опять они, «бандюги», совбуры, теневики, больше некому: остальные в подавляющем большинстве своем бедны, как церковные мыши, неразворотливы и вообще отнесены «рыночниками» ко второму-третьему сорту. Нет, что-то не то говорит нам Селюнин...

И С. Шаталин, будучи академиком, а теперь и членом Президентского совета, всячески подыгрывающий Селюнину в соседней статье, тоже ведь, как истый радикал, не захочет ответить на этот вопрос: кому они передадут власть экономическую и что те «субъекты рынка» могут — хотя бы предположительно — сделать со страной? Как огня боятся оба они употребить слово «криминальный капитал» и все его более чем актуальные ныне синонимы — и не употребляют ни одного, тщательно избегая темы этой вообще, только Шаталин мается мыслью: как бы так поделикатней «сказать народу... объяснить», что «есть и оправданный разрыв в доходах, который следует поощрять...». Это он называет «внести наконец полную ясность...». Хорош «оправданный» Шаталиным «разрыв»: у трех процентов вкладчиков — большей частью «субъектов» расхищения, бандитизма, спекуляции, наркобизнеса, самогоноварения, контрабанды и пр.— находится до 80 процентов всех вкладов плюс 150 миллиардов рублей ежегодного дохода! Но еще более хорошо радетели о благе одних, апологеты и приспешники других и советники третьих — все в одном лице! — сами по себе, и вот этого-то Шаталин скрыть уже не может и не хочет: комментируемая им статья — «это боль и крик честного, смелого, умного, глубоко озабоченного судьбой своей страны гражданина, которому лично я очень доверяю», а «идеология наших радикальных демократов верная»... Судьбой страны, заметьте, никак не меньше; меньшим эти граждане не оперируют.

Проблема слома Системы понимается и ставится фронтом «центра» куда более глубоко и ответственно перед народом, чем радикалами с их простейшей «революционной» заменой ее своими готовыми уже, считай, политическими и экономическими структурами, где народовластие — эта очередная и самая прямая их ложь — будет попросту невозможно в силу неименья власти экономической. Вопрос народовластья есть вопрос общественной собственности, одно без другого существовать здесь не может, и на разработку и внедрение форм этой собственности, на способы управленья ею и рынком должны быть направлены сейчас главные усилия. И конечно же эти формы должны быть органическими, впитавшими в себя народный опыт организации труда, соотношенья прав и обязанностей в нем — от артелей и общин (по их обновленным принципам) до народных акционерных и арендных предприятий, товариществ, кооперативов и т. п., где органически же, кстати, «рассасываньем», будет разрешаться проблема нейтрализации огромного административно-производственного аппарата на местах путем найма или акционерного участия лишь самых необходимых и лучших специалистов. Только из такой экономической самостоятельности и самодеятельности самых широких слоев трудящихся, а значит, из реальной их возможности влиять на расстановку сил, и может возникнуть настоящая политическая самодеятельность, сама потребность в ней, то есть истинное народовластие.

И именно из-за отсутствия этих основополагающих предпосылок только что избранные «новые» местные Советы оказались в большинстве своем не такими уж новыми, разве что формально демократизированными, сразу же обнаружив большую часть своих старых пороков, прежде всего засилье несколько сменившей лица «старой гвардии» и все того же исполнительного аппарата, или попавшими в руки случайных, избирателям практически неизвестных людей, сумевших сыграть на нынешних настроениях. В случае же полного осуществления «варианта» межрегионалов можно предполагать, что рабочим и крестьянам достанется одно, да и то весьма проблематичное право: сразу же начать достаточно ожесточенную классовую борьбу за свои права против легализованных, полууголовных как минимум совбуров, селюнинских «бандюг». В условиях ожидаемой сильнейшей безработицы, террора нелегальной уголовщины (нет никакого сомнения,

что легализованные воспользуются в этой борьбе услугами своих всегдашних «подшефных») и поддержки, всяческого поощрения капитала новой олигархией сверху дело это будет более чем трудным...

Надо полагать, что именно предлагаемые фронтом «центра» органические формы экономической и, в виде настоящих Советов народных депутатов, политической самодеятельности и определят наконец тот самобытный путь развития России и солидарных с ней народов СССР, прерванный переворотом семнадцатого. Путь, обоснованный лучшими нашими мыслителями и практиками двух веков и, несмотря на все прошлые и нынешние попытки осмеяния и дискредитации, никем практически исторически не опровергнутый. И самобытность эта (необходимость которой куда как убедительно доказала многовековой практикой большинства развитых стран мира) не имеет конечно же ничего общего с автаркией, стремление к которой так старательно пытаются приписать патриотическим силам радикалы — как и перековать «всемирную отзывчивость» русского человека на заурядный космополитизм. Не приходится и говорить, что фронт «центра» за широкое международное общение и сотрудничество страны во всех областях — с тем только, чтоб они велись на равных и не затрагивали нашей независимости, которая и в наше время вовсе не знак пустой. Другое дело, что здесь нам более чем кому-либо необходимы особые осторожность и взвешенность в решении и экономических (где мы выглядим пока, прямо скажем, подростками по сравнению с деятелями деловых кругов Запада), и культурно-идеологических, и дипломатических вопросов тоже: опыт практически беспрерывных в XX веке трагических проигрышей по всем этим направлениям должен же чему-то нас научить! Нынешние наши ошибки, просчеты и «зевки» в эту тяжелейшую, но и обнадеживающую пору могут стоить нам будущего.

Но что же конструктивного, действительно обнадеживающего можно найти в этой нынешней невообразимой политической мешанине? Все эти «левые», «правые», «задние» и прочие — они что, так уж и правы во взаимообвиненьях и все как есть «враги истинной перестройки», недоброжелатели Отечества своего? Нет, конечно же. Слава богу, жизнь не укладывается в отдельные платформы и программы, она в живых людях, составляющих партии эти, ассоциации, конгрессы, в их способности расти с живым делом вместе. И можно, и нужно надеяться, что многие из них, если не большинство, сойдут наконец-то со своих умозрительных и крайних платформ, с этих политических котурнов на измученную землю своего народа. Большинство из них, рядовых, просто хорошо видят и понимают, что полумерами с Системой не справиться, всю эту челядь ее не выкорчевать. И то, что в порыве ее отрицанья их заносит в другую крайность, в примитивную и несообразную с духом и коренными интересами народа капитализацию в частности,— дело хоть и драматическое, но в общем-то естественное: все та же это не только не изжитая пока, но даже зашкалившая нынче за все мыслимые пределы «детская болезнь левизны», которая уже привела верхушку радикалов семнадцатого на самые что ни на есть правые позиции девяностого года...

Эта болезнь может быть преодолена лишь глубоким, я бы сказал — искренним перед собой осознанием первичности народа как единого целого, первичности его и материальных, и высших духовных интересов, друг от друга неотъемлемых. Тут нужна самоотверженная к у л ь т у р н а я работа над собой, будь ты хоть в каких пока лагерях и направлениях, не только интеллектуальное, но и нравственное взросление, повышение ответственности за каждое свое слово и дело. И ведь труднейшая нравственно-философская, политическая одновременно и государственно-практическая работа эта уже была проделана однажды, надо лишь оглянуться, вглядеться в открытое и предсказанное еще век назад! Уже был, стоял во всей сложности этот вопрос — по какому пути? — и трагическое раздвоение привело к уничтожению одной, коренной, ветви и к вырожденью и самоистребленью другой, полупривитой...

Но, физически изничтожив первую, радикалы ничем ее, повторяю, и ни в чем не смогли опровергнуть — ни наиболее зрелые разработки славянофильства,

ни, тем паче, Достоевского, очень многое у которого будто для дня нынешнего, о дне нынешнем написано, для нас, всей культурой духа направленного против политического радикализма (и не оспаривают: во-первых, абсолютно нечем, а во-вторых — зачем, когда проще, имея почти все средства массовой информации в руках, обойти, замолчать самое нужное, важное сейчас и у Достоевского, и у Булгакова, Бердяева, Столыпина, Менделеева и многих, весьма многих других). Она выдержала высший исторический экзамен, зато полностью опрохвостилась вторая, искалечившая и выморившая все вокруг себя бакунинщина, бухаринщина, вызревшая в сталинизм. И это она, люмпен-интеллигенция, шондеры новой формации, старается теперь всю свою историческую вину, все преступления против человеческого свалить на шариковых и, не питая ни малейших угрызений совести, опять затащить народы страны в свою очередную авантюру.

И потому взросленье это есть главная наша идейная задача теперь — как наиболее существенная часть русского вопроса сегодня. Другой его частью должна стать выработка зрелой, всесторонне продуманной духовной и социально-экономической национальной программы именно как культурно-исторического феномена; какими были и остаются феномены той же Японии или скандинавских стран. Жесткие определения, прозвучавшие здесь,— они конечно же не для демонстрации авторской смелости, ныне вообще дешевой, а для осознания особой, сравнимой лишь с семнадцатым, жестокости самой политической ситуации, в какой мы оказались, для оценки ее крайностей, между которыми растаскивается не только политическое и социальное сознание, но и нравственная сущность каждого из нас.

Взросленье как поиск центра, приемлемого для народных нынешних кричащих нужд компромисса, стягиванье к нему всех сил добра, уменье и желание — в особенности со стороны патриотических, наиболее ответственных сил — жертвовать личными и групповыми интересами ради избежанья новой, на пороге стоящей национальной катастрофы — самое для нас теперь насущное. Но в том-то и драматизм положения, что фронт «центра» опять — в который раз! — отстает в формировании своем, в цельных программных разработках и тактических действиях, проигрывает такое дорогое сейчас политическое время... Поражение на выборах в Верховный Совет России должно послужить прежде всего переоценке многих непродуманных, неясных, а порой и непоследовательных установок этой программы и, главное, выработке конкретных мер и предложений по самому широкому кругу больных вопросов.

Необходим убедительный призыв ко всем людям доброй воли, к народам нашей страны, к избирателям и депутатам «Демократической России» еще раз задуматься над сутью, смыслом выдвинутых ими целевых установок и особенно — над близкими и дальними стратегическими последствиями этих идей, пока еще они не стали во многом стихийной и уже необратимой практикой... Много в их программах дельного, здравого, болевого — того, что можно назвать конструктивным радикализмом, тяготеющим именно к «центру», и эти тенденции нужно только приветствовать и как можно больше поддерживать и развивать, находить новые точки соприкосновенья и сочетания интересов, налаживать наконец-то и практическое, и идейное сотрудничество. (Нынешние согласительные комиссии в ВС России могут послужить здесь хорошим и своевременным примером.) Время для этого еще есть, и все второстепенные проблемы, разногласия и конфликты должны быть решительно отведены, отставлены в сторону — заниматься ими сейчас для всех нас просто непозволительно.

Труднее остановить или хотя бы приутишить «необъявленную войну», развязанную верхушкой радикализма в средствах массовой информации. Уже уверенные в своей недалекой победе, они ведут ее все более наступательно и откровенно, впрямую не считаясь с мнением народного и депутатского большинства, извращая в угоду своим интересам ситуацию в стране и сталкивая, стравливая между собой и поколения, и разные слои населения, и национальности: чего стоит одна пущенная ими и принявшая форму международного скандала «утка» о предстоящих еврейских погромах в городах России. Есть все основания говорить, что многие периодические издания типа «Огонька», ТВ и радио.

кинобизнес с их вполне теперь оголтелой пропагандой развлекаловки на западный манер, навязыванием рока, секса, поверхностного цинизма в восприятии жизни сформированы уже как определенная антикультурная сила, особо направленная на молодежь. По своему влиянию сила эта сейчас стала первой в обществе, и оставлять ее в одних руках и в том же качестве в то время, когда необходимей всего именно народное согласие и духовное единение, было бы дальше просто преступлением, намеренной политикой развала страны. Здесь, в тяжелейшей кризисной обстановке, нужны неотложные и решительные законодательные, на уровне Верховных Советов, и правительственные меры, иначе к чему сведутся при таком одностороннем информационном идеологическом диктате и «корректировках» действительности все наши попытки объединения и хоть какой-то нравственной стабилизации общества? Все это будет, по народному определению, «мартышкин труд»... Поэтому к новому Закону о печати уже сейчас необходимы существенные поправки, призванные дать четкий, недвусмысленный ответ: кому принадлежат средства массовой информации — народу, государству, ответственным партиям или политиканам, не брезгующим ничем? И как осуществлять нормативный гражданский и парламентский контроль над ними? Пока же Закон о печати лишь освящает и закрепляет фактический «передел власти» 1986—1987 годов, никак не конституционное и во всех смыслах неправое засилье радикализма, и вполне зловещий смысл нынешнего положения здесь все, кажется, никак не доходит до нас...

Более чем необходимо сейчас создание общественного согласительного органа, скажем, «Совета центра» — надпартийного, надфракционного, с равным представительством от всех хоть сколько-нибудь значимых партий и движений, со своим печатным изданием и выходом на все другие средства массовой информации. Он мог бы стать во главе общенародной дискуссии, а затем и референдума по самым важным моментам политического самоопределения, футурологическим центром по оценке всех реальных вариантов, путей развития страны и общества. Политическая широта и трезвость подхода к нашим реалиям, терпимость его и добрая воля, стремление к согласию на почве самых неотложных народно-государственных нужд и интересов сделало бы его, быть может, еще одним важным объединяющим фактором в нашей политической жизни, ибо с этой столь нужной ролью не справляется сейчас ни Верховный Совет, ни правящая пока КПСС, ни профсоюзы и религиозные движения.

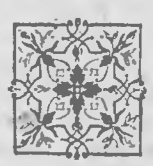
И, разумеется, опрометчивым было бы кидаться вниз головой, по совету одних только буничей, шмелевых и шаталиных, с трамплина «радикализации»,— не выслушав весьма многих ее противников и сомневающихся, как это, похоже, собираются вскоре сделать. Радикализация перестройки крайне необходима сейчас, но в направлении к общественной собственности, а не от нее, к освобождению труда, а не безмерной наживы. У нас со скрипом, но идут на экспериментальную проверку отдельных видов хозрасчета, аренды и т. п., а вот такие важнейшие, с необратимыми и, скорее всего, тяжелейшими последствиями решения собираются принять без всяких проб и экспериментов... Ну а народ спросили — прежде чем торжествовать, наподобие С. Шаталина: «...руководство страны приняло решение радикализировать реформу. И это не просто хозяйственное решение. Как член Президентского совета могу сказать: сделан политический выбор...» Торжествовать и тут же утверждать шаткую, заведомую неправду: дескать, мы (если будем в точности следовать его советам) переход к капитализму «пройдем практически без падения уровня жизни...» И это после своих же слов, что «СССР не Польша» и что там такой «переход» (уже совершенный) по сравнению с нашими условиями куда как облегчен; но неужели он, отрекомендовавшись «профессиональным экономистом», не знает, что уровень жизни поляков упал уже едва ли не на треть и продолжает падать, заложенная-перезаложенная в иностранных банках экономика в полном раздрызге, а живут поляки, по селюнинскому выражению, «на диком уровне цен»? Знает, прекрасно все знает член Президентского совета, — но зачем тогда говорит нам с вами заведомую неправду? Зачем эти старательные, абсолютно фальшивые уверенья, что, мол, можно «обойтись вообще без существенных осложнений» в таком невероятно сложном и рискованном, всю нашу жизнь с ног на голову перевора-

чивающем деле и при том, что «наше правительство не имеет кредита доверия»,— в изуродованной Системой стране, где даже попытки решения простейших вопросов (типа увеличения выпуска фруктовых соков) принимают на практике вид малых катаклизмов.

Как и в Прибалтике, и на Кавказе, захват власти радикалами в Москве и Ленинграде дает возможность — пусть частичную — экспериментальной проверки их разрекламированных сверх всякой меры программных установок. И почему бы нам не воспользоваться ею, не посмотреть их в течение года-двух на деле, организовав в то же время лучшими представителями и силами социалистического направления достаточно крупномасштабные и энергичные «пробы» общественной собственности в отдельных регионах, взяв их под общественный, парламентский и правительственный контроль, проводя одновременно обдуманную, без перехлестов и торопыжества, социализацию собственности в остальных районах? Почему не восстановить, не придать новый, настоящий наконец-то импульс приторможенным или вовсе задавленным, названным уже и не названным промышленным, сельскохозяйственным и научно-производственным экспериментам, наиболее удачные из них узаконивая, делая нормой жизни и распространяя их в режиме наибольшего благоприятствования? И тщательно в то же время отрабатывая ценовую и прочую механику социалистического рынка, самоуправления, снабжения, решительно сокращая штаты и ограничивая диктаторские полномочия государственно-бюрократической собственности? Введя самую жесткую экономию средств, материалов, энергии и людских ресурсов на всех второстепенных направлениях или в непродуманных проектах, каких в нашем бюрократически-экстенсивном хозяйстве огромное количество,— от тех же «марсианских каналов» до атомных и гидроэнергетических станций, строительство которых надо, повинуясь разуму, просто срочно свертывать?

Нужна чрезвычайная программа приоритетных национальных целей — сжатая, емкая, обязательная к исполнению «по срокам и ассортименту», которая и являлась бы главным смыслом президентского именно правления.

Нужно «правительство доверия», и более всего конечно же в Российской Федерации, где доселе — по широко распространенному мнению ее населения — не было никакого, а существовал некий совещательный орган при правительстве Союза, послушно штампующий решения свыше. Его голоса не было слышно, без преувеличенья, ни в одном хоть сколько-нибудь важном вопросе, касающемся защиты и материальных, и духовных, и национальных (от русского до самых малых народов Сибири и Севера) интересов самой великой в мире федерации.



ПОЭЗИЯ

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ГРАЖДАНИН

Публикуя новое произведение Сергея Викулова, считаем и уместным, и важным напомнить читателям, что этот русский писатель и гражданин — истинный творец журнала «Наш современник», возглавлявший его в течение 21 года. Правда, периодическое издание с этим названием вышло в свет еще в 1956 году, сначала в виде альманаха, а с 1964 года — ежемесячного журнала. Но свое подлинное значение «Наш современник» обрел только с 1969 года — после того, как Сергей Викулов стал его главным редактором.

Недавно об этом упомянул в своей беседе на страницах еженедельника «Книжное обозрение» (1990, № 48, с. 6) Виктор Астафьев, который в течение многих лет был членом редколлегии журнала. Он, в частности, сказал: «Все авторы разгромленного «Нового мира»[1] перешли к нам. Даже Тендряков строптивый печатался у нас. Ну а уж Федор Абрамов, Шукшин... все у нас были... Повесть покойного Ермолинского о Рашидове. В то время! За которую нам так давали!.. И те же критики, что громили «Новый мир», кстати говоря. Все же мы живы короткой памятью...»

Да, Сергей Викулов сумел собрать замечательную редколлегию и твердо вел журнал среди бесчисленных рифов застоя и постоянных идеологических шквалов из партаппарата и цензуры.

В журнале в самые беспросветные времена нашли пристанище лучшие писатели, большинство из которых опекал ранее, в 60-х годах, Александр Твардовский. Это и перечисленные Астафьевым, и Юрий Казаков, и Константин Воробьев, и Олег Волков, и Залыгин, Носов, Белов, Распутин, Лихоносов, Быков, Солоухин, И. Васильев, О. Фокина и многие другие.

Говоря коротко, русская литература в 1970—1980-х годах жила полной жизнью именно в «Нашем современнике». Каждый номер журнала непримиримо противостоял все нарастающему разрушению природы, развалу национального бытия — от экономики до нравственности, распаду духовных устоев. И, конечно, не только противостоял, но и творчески утверждал бесценность земли, величие целостной, органической жизни народа, стойкость человеческой души и воли.

Тот, кто просто просмотрит книжки «Нашего современника» за эти годы, ясно увидит, что в них была спасена честь отечественной литературы.

И вполне понятно, что в этом деле велика заслуга автора поэмы «Посев и жатва» Сергея Викулова, с 1968 по 1989 год стоявшего у штурвала «Нашего современника».

Немаловажно и то, что по мере пробуждения русского национального самосознания журнал, возглавляемый С. Викуловым, становится наиболее последовательным выразителем подспудных дум и чаяний русского народа.

Другими словами, журнал Сергея Викулова истово и с великой надеждой помогал обретать народу национальную память, воскрешая стихию традиционных ценностей, имя которым Добро и Любовь.

Редколлегия.

[1] Речь идет о вынужденном уходе Твардовского (в 1970 г.) с поста главного редактора этого журнала

СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ

ПОСЕВ И ЖАТВА

ПОЭМА

Вместо эпиграфа

— Что нужно, чтобы вырастить зерно? —
Пытаю небо я и небу внемлю.
— Нужна земля, — ответило оно, —
И человек, который любит землю.
Так было. Так велось из века в век.

А эхо многократно повторило:
«Нужна земля... и нужен человек...
Земля и человек... так вечно было».
— Прекрасно! Но земли у нас полно!
И люди есть! — кричу. — Но нету хлеба.
И вновь:
«Лишь землю любящим дано
Взрастить зерно! — ответило мне небо.—
Земля... Она, как верная жена,
Ревнива одинаково повсюду.
Не за измену даже, за остуду
Наказывает пахаря она.
Казнит его бесплодием: умри!
И требует к себе со дня творенья
Заботы от зари и до зари,
Святой любви, коленопреклоненья!»

Глава I. КАК ЕРМИЛ ДОРОГУ СПРЯМИЛ

(присказка)

...И как взбрело в башку ему, ей-богу,
На ярмарку отправясь, не домой,
Поехать не окольною дорогой
(Наезженной при этом!), а прямой?!

В деревне — целый месяц! — тары-бары
Про ярмарку: мол, будут продавать

Невиданные до сих пор товары
И надобно поспеть, не прозевать.

Ну как же было тут не соблазниться!
Перекрестясь, не съехать с большака?!.
...И вот — сломалась в правом заднем спица,
И потерялась, выскочив, чека.

Споткнувшись, лошадь грохнулась, не к месту,
А следом — за каких-то пять минут —
Оглобля полетела к черту, треснув,
И снялся через голову хомут...

Мужик (в деревне звался он Ермила)
Сменил оглоблю, затянул супонь,
И снова вожжи рвать пошла кобыла,
Намотанные туго на ладонь.

«Ну, слава те...» Но, лужу объезжая,
Вновь сплоховал он: шлепнулся мешок
С зерном (пропал излишек урожая
И масла, Дарьей сбитого, горшок!).

Застрявший по ступицы воз нелегкий
Выталкивал он чуть не с полчаса.
А вытолкал — обрезало заклепки
На ободе — не стало колеса.

Он слегу приспособил, — дескать, даром, —
Поволоклась, врезаясь глубоко...

...А ярмарка с невиданным товаром
Все далеко была, все далеко.
Измучившись, едва переступала
Лошадка... А на взгорочке крутом,
Вдруг мелко задрожав, она упала...
Он раз-другой огрел ее кнутом —
Лежит... «Ну вот, спрямил Ермил дорогу!»
Пнул лошадь сапогом, срывая злость.

«Э-гей!» — решил покликать на подмогу.
«Э-гей... э-гей...» — по лесу раздалось.
«Кре-ще-ны-я-а!» — И снова только эхо
В ответ, да листья, дрогнувши, с куста
Осыпались... «Куда же ты заехал,
Ермил? Кому поверил, простота?!
Кто ты теперь — без воза, без кобылы?..
Эх, кабы знать да ведать!..» — А с небес
Пахнуло стужей вдруг. И страшной силы
Ударил гром. И зашатался лес.

Сломалась гневно молния над бором.
И вспыхнул темный бор, и задымил...

* * *

...Я еду в ту деревню, из которой
Был родом незадачливый Ермил.
На юг бы мне... Чего б, казалось, проще...
Но я, чудак, опять туда, к дружку,
На зов его, в Березовку, где рощи
Березовые смотрятся в реку.

Глава II. ДОРОГА

...И вновь пред глазами осинник
Да ельник... Ах, как ты грустна,
Дорога по краю России,
И в наши еще времена!
Мелькают то слева, то справа
Ряды покосившихся изб,
Хлеба перезревшие, травы,
Проселки, разбитые вдрызг
И лесом заросшие пашни,
И дурью болотной луга,
Погосты, часовенки, башни,
Встречавшие грудью врага.
И храмы с осанкою древней
(Кирпичная кладка вразлет),
И, к речке фасадом, деревня,
В которой никто не живет.
И двор, и вокруг его хлябн,
Хотя он стоит на бугре.
И с вилами, с ведрами бабы
И бабки на этом дворе.
С забитыми окнами школа —
Задутая кем-то свеча...
И чуть не напротив — контора
Колхоза «Завет Ильича»...
Знакомые, в общем, картины.
Но сердце сжимает тоска...
Да, крепко мы все же скрутили
За семьдесят лет мужика.
И диво ль, что в этой недоле
Все стало ему неродным.
От радостей, связанных с полем,
Остался лишь пепел да дым.
На взрытой кой-как, без раденья,
По сути, ничьей полосе
Высокой травою забвенья
Взошел он, жестокий посев.

Глава III. ПАМЯТЬ

1. Красная роса

...И взорвалась, и вздыбилась Россия!
Ликуя, с трона сбросила царя.
И Бога — тоже. И на силу — силой
Пошла, войною — проще говоря.
И с плеч летели головы, как клевер
В июле облетает под косой.
И запад, и восток, и юг, и север
Пять лет дымились красною росой.
Неслось: «За долю лучшую! За волю!
Земля — крестьянам!» — Грохало в виски.
И прикипали всей душою к полю,
Покончив с беляками, мужики.

Хмелея от свободы, как от браги,
Пахали (наконец-то вышел срок!)
И жали...

...А из города — бумаги,
Приказы: «Продразверстка». «Продналог».
Умри — отдай, «кулацкое отродье»,
Зерно! («Не за понюшку табака»).
Родная власть с винтовкою на взводе
Ломилась в дом и в душу мужика.

Терпел (хотя душа рвалась на части),
Сдавал (грузил зерном за возом воз)...
И вдруг — еще подарочек от власти:
Как гром средь неба ясного — к о л х о з!

Колхоз! Вот было диво — так уж диво!
Похоже, что беда вела беду...
До головокружения ретиво
Взялись трясти деревню в том году.

В усердии слепом скрипели перья,
Горланили приезжие «вожди»,
Что кулакам не может быть доверья,
А их по деревням — хоть пруд пруди.

Что, мол, теперь у власти вся надёжа
На голытьбу... Взорлила голытьба!
И меч раздора шевельнулся в ножнах,
И классовая вспыхнула борьба.

И всюду, с позволения комбедов,
Без тени милосердья, гогоча,
Пошел крушить и рвать сосед соседа
И шубу примерять с его плеча.
Мол, поносил — и хватит. Мол, теперя
Я поношу. Теперя мой черед!
Так тешил он проснувшегося зверя
В себе, хлебнувший вольности, народ.

И потянулись, торопя друг друга
(Был жребий раскулаченных жесток),
На север поезда, на север с юга,
А с запада — на север и восток.

Стонала степь, о пахарях тоскуя...
И был тот стон проклятием тому,
Кто выдумал народу казнь такую,
Народу не чужому — с в о е м у.

2. *Страда и страданье*

...И было так: оставшиеся все
Вошли в колхоз — от мала до велика.
И грянул первый коллективный сев
В Березовке. Что ругани! Что крика!

От дома к дому — утром — бригадир.
Повелевает, в раму барабаня:
«Ондрюха, хватит дрыхнуть! Выходи!» —
«Да рожу-то умыть мне дай хоть, Саня!
А окромя — у бабы вон блины
Растворены...»
А с верхнего посада
Доносится: «Да встал уже! Штаны
Ищу надеть!» — «Давно надеть бы надо!».
И т а к — почти у каждого окна.
А Журавлев — случайно ль, не случайно —
Павлуха — растревожила весна! —
Нарядчика на улице встречает:

«А я тебя заждался, бригадир.
Поднялся — вижу: дело-то к рассвету.
Чайку попил. Цигарку искурил.

Ну, а тебя все нету, брат, и нету.
Когда б я сам... Когда бы надо мной
Не ты... Да разве ждал бы я рассвета!
Не зря ведь говорится: день весной
В сто раз дороже дня в средине лета».

«Да, верно: день весенний кормит год!» —
«Ну вот... А я сижу и жду наряда!
Сижу и жду... А время-то идет!
Какой же это, к лешему, порядок!
Не дай Бог — будет так и впереди.
Тогда — кому страда, а мне страданье.
Нет, ты меня уж, Саня, пощади,
Давай мне, Саня, с вечера заданье. —
Чуть помолчал — и зло: — В кошмарном сне
Такое вот не снилось даже мне!

Чтоб я, в постель свою валясь с устатку,
Не знал, что буду делать поутру?!.
Нет, бригадир, я к новому порядку
Не приспособлюсь, видно... Я умру».
«А мне — что? — легче?!. Под одною крышей,
Считай, без мала семьдесят дворов...
Ну, а насчет *порядка*... Ты потише...
Поосторожней, Павел Журавлев!»

3. *...Тридцать седьмой*

«Областная прокуратура и управление КГБ СССР по Вологодской области сообщают: в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 яиваря 1989 года об отмеие решений, вынесеиных несудебными органами, действовавшими в период 30—40-х — иачала 50-х годов реабнлитированы:

Столяров Кирилл Андреевич, 1870 г. рождеиия, прожнвал в дер. Средняя, колхозник, осуждеи 10 августа 1937 года тройкой УНКВД Леиинградской области к высшей мере наказаиия.

Круглова Клавдия Михайловна, 1883 года рождения, пчеловод колхоза «Москвино», осуждеиа 27 октября 1937 года тройкой УНКВД Ленинградской области к высшей мере наказания...»

Далее — имена еще 22 человек. Каждый приговорен к расстрелу.

Газета «Новый путь» от 24 октября 1989 года. Город Белозерск Вологодской областн.

Не днем — в глухую полночь прилетел
В Березовку впервые «черный ворон».
Но и во тьме кромешной хищным взором
Нашел свою добычу, разглядел.

То детский вскрик, то жуткий бабий вой
Взмывали в обвалившееся небо:
— Павлуша-а! — И о стену головой. —
За что? За что?! — И в сумку — корку хлеба.

А ворон каркал: «Пр-рекратите р-рев! —
И кованым прикладом в пол стучал он.

И приговором карканье звучало:
— Он враг народа — Павел Журавлев!

— Народа? Враг?!. Да он же сам — народ!
— А ну, в стор-ронку! — Распалялся ворон.
Он не терпел заумных разговоров.
Он жаждал крови...
Шел *двадцатый* год.
Двадцатый, *красный*, после Октября.
Европа изумленная внимала
Его шагам. Давно отполыхала
Та, небывало долгая, заря.

Давно уже взошло почти в зенит
Светило новой жизни, новой власти.
Светило веры в будущее счастье —
Взошло — и хоть сквозь тучи, но горит!

Горит... Но вот, затмив его, крыла
Раскинул над страною ворон, кыча.
Минувших лет несметная добыча
Ему вдруг показалася мала.

И снова стал летать он по ночам
В деревни, села, скованные страхом,
Уже не перья — красная рубаха
На нем была — рубаха палача.

А утром, в закутках, из-под платков,
Ко рту прижатых, бабы голосили:
— А глаз-то, глаз-то у нечистой силы!
Хватает самолучших мужиков...

Да, это было так — не утаю:
Тех мужиков когтила прежде «птичка»,
Кто цену знал себе, и по привычке
Держал высо́ко голову свою.

Тех, на кого деревня испокон
Ревнивое равнение держала,
За кем — и это было как закон —
В поля весной и летом поспешала.

...А ворон ширил крылья вновь и вновь.
И был ему главней — свидетель небо! —
В тот злой, тот черный год не план по хлебу,
А план по крови... И лилася кровь.
Зачем? К чему? Ответа зря искать
В «Истории», особенно в той, «краткой»...
И все же эту страшную загадку —
Час пробил! — нам придется разгадать!
До сокровенной сути, до конца
Понять, разрушить лжи всесветной крепи.
Невинных жертв еще горячий пепел
Стучится нам, стучится нам в сердца!

...Шло к вечеру. Над крышами дворов,
Бледнея, опускалось ниже небо.
И вышли бабы — с корочками хлеба
Загнать домой вернувшихся коров.

Устинья Журавлева, впереди
Свою Красулю пропустив в ворота,
Двоюродной сестре — вполоборота —
Шепнула: — Как стемнеет — приходи.

— Зачем? — Узнаешь... — И опять спиной
К сестре. Обда́ло жаром Катерину.
Скорее обиходила скотину
И в темноте — не улкой, стороной,

Тропинкою, знакомою давно,
Лужком сначала, а потом вдоль речки,
Направилась к Устиньину крылечку...
Привстав, в окошко глянула: темно.
Дрожа, скобу нашарила в сенях...
И — ах! Через порог переступая,
Не крикнула, а выдохнула:
— Павел!
Вернулся... Боже мой! Худой-то! Страх...
— Худой-то что... — ответил, отложив

В сторонку старый валенок и шило. —
Дивись: живой...
— Ну что там, как там было?
Как наш-то там, скажи скорее, жив?

— Все расскажу... За этим и позвал.
Но, чур, чтобы никто о том в деревне
Не знал... Я, Катя, в огненной геенне,
Считай, в аду кромешном побывал.

Подписку взяли, что не разглашу..
Но ты ж молчать умеешь, Катерина...
Кроме жены, тебе одной-единой
И что, и как там было расскажу.

Ну, значит, нас доставил «воронок»
В ту ночь в тюрьму... Открылись, значит, двери...
А там — втугую, Катя... Не поверишь!
Переступили, значит, за порог —
И стоп... И ни на шаг вперед: стена!
Иные стоя спят мертвецки, либо
Хватают воздух ртами, словно рыбы...
Лицо к лицу — в упор, к спине — спина.

И смрад, и клочья слипшихся волос,
Стон чей-то, бред, обрывки разговоров...
И выкрики — под лязганье запоров:
«Смирнов, с котомкой», «Громов, на-допрос!»

И вот — прошло, наверно, пять ночей —
Мою фамиль пролаял надзиратель.
Обрадовался я — поверь мне, Катя:
Сейчас в лицо увижу палачей.

Сейчас я все им выплесну, до дна,
Все, что в душе вскипало в эти ночи,
С чего огнем горит и кровото́чит,
На части разрывается она.

Вхожу — по обе стороны конвой.
Напротив — стол. На стульях — рядом — трое.
Один под черным чубом сдвинул брови:
«Ты все еще живой?» — спросил.
«Живой».

«Тогда прочти... И вот тебе перо...»
Прочел. И чую: лопнула пружина
Во мне.
«Не подпишу!» —
«Ты что, вражина?» —
И встал. И револьвер мне под ребро.
«Р-раз... два... Подпишешь, сволочь? Пристрелю!» —
«Стреляй!»

Но он отпрянул — и с размаху
Мне в зубы — раз! А я, рванув рубаху,
Опять: «Стреляй, собака! — говорю. —
Стреляй, бандит, трудягу-мужика,
За то, что с малых лет к земле причастен,
За то, что он тебя поставил к власти
И эта власть в твоих руках пока!»

Пощады я не ждал. Решил: умру,
Но с музыкой, как на Руси ведется.
И пусть хоть лопнет, гад, — не прикоснется
Рука моя к трусливому перу.
«Ах, вот как ты запел, собачья кость! —
Губу кусая, выдавил чубатый. —
Возьмите-ка в «санчасть» его, ребята...»
Те — под руки меня... И началось...

«Лечили», засучивши рукава,
Спокойно, ловко, как дрова кололи.
Я потерял сознание... и боли
Не ощущал уже... едва-едва
Живой, очнулся... камера пуста
(Сон или явь?) почти наполовину,
Сообразил: для новых жертв невинных
Освободили, видимо, места.

— А наш-то — видел? — наш-то как там дед?
— Ваш дед... он подписал бумагу, старый...
Очнувшись, я глазами долго шарил
По камере... И понял: деда нет.

Не надо, Катя... не терплю я слез...
И там слезой я не потрафил гаду
Ни разу! Хоть еще две ночи кряду
Они меня таскали на «допрос».
И снова били... Во, гляди, рубец...

И снова... Видишь, там остались зубы.
Но вот пошли-таки они на убыль
И кончились «допросы» наконец.

Устали, знать: три ночи и три дня
Как будто сноп цепами молотили...
«И сам подохнет», — слышу, рассудили
И за ворота вывели меня.

Ну вот и все, Катюша, о тюрьме...
Вздохнул. И дратву снова взял. И шило.
И пододвинул лампу: надо было
Подшить Устинье валенки к зиме.

Стегал подошву, душу горяча.
Работал в удовольствие, в охоту.
И не успел... В тесовые ворота
Вновь «черный ворон» в полночь постучал...

Глава IV. БЕРЕЗОВКА: XX ВЕК

...И вот они, родимые места —
Отрада для любого человека.
Березовка — всего лишь в трех верстах
От большака. И в целых ста — от века.
Он, Век, ушел стремительно вперед.
Березовка замешкалась, отстала.
(Дорога-то, посмотришь, — дрожь берет!
Ну, а теперь она и вовсе пала.)
А Век нетерпелив!
И молоко,
И мясо дай ему, и жито с рожью...
И знать не хочет он, что далеко
Возить все это, да по бездорожью!
Слететь в кювет иль грохнуться с моста́
Тут запросто... И множатся потери.
А Век, увы, не ведает поста
И впредь поститься тоже не намерен.

Он очень занят: не веревки вьет...
Проник он в глубь обоих океанов.
И ест, и пьет он ночи напролет
Под крышами роскошных ресторанов.

И стыд, и грех он гнет в бараний рог,
Он совести забвение пророчит.
И песней, и любовью в стиле «рок»
Березовке он голову морочит.

И строит рожи ей... А что она?
Хлебнувши бражки или самогона,
То слушает рок-музыку, пьяна,
То хохмы в исполненьи пустозвона
(Перевелись в России смехачи
И вымерли, как видно, скоморохи).
Век подобрать старается ключи
К Березовке на уровне эпохи.

На крыши взгромоздив телекресты
И выдернув, как луковки из грядок,
Иные, —
век навел-таки мосты
К Березовке, и в ней теперь порядок!
В домах, порой в полуночном часу,

Гнездятся у экранов человеки,
Усилием последним на весу
Тяжелые удерживая веки.

Дивуются, как, лохмы распустив,
То ль молодцы — пойми! — то ли молодки
Поют-орут — все на один мотив, —
До хрипоты надсаживая глотки.

Поют, включи хоть сорок раз на дню,
Березовке... Порою до упаду...
Ну, а она за близкую родню
Не признает — хоть лопни! — эту банду!

И слава Богу, что не признает.
Чем смысла ей искать, где нету смысла,
Уж лучше пусть «Семеновну» поет
Она под переборы гармониста.

Глава V. ПОСЛЕДНИЕ КИЛОМЕТРЫ

Скажем прямо: пророчески мыслил народ,
На дорогах проселочных мучаясь:
«Для России нужна пятилетка дорог,
А иначе — беда неминучая».
...Пятилетка дорог, пятилетка дорог —
Всем другим пятилеткам — заглавная!
До сих пор губит нас — только мы за порог —
Бездорожица наша державная.

Век машинный, космический век на дворе,
А дороги... Дороги по-прежнему
На Руси, как при славном царе-Косаре,
Гужевые, кривые, тележные.

Ждал машинной дороги (хотя бы в свой «рай»)
Здешний люд, ждал с упрямою верою.
Не дождался. И бросил, и проклял свой край,
Непочтенья хлебнув полной мерою.

Уезжая, он землю обрек на беду
И на смерть деревеньку убогую...

...Размышляя об этом, я еле бреду
Колеей, что зовется дорогою.

Час назад я на эту свернул колею
(Мой попутчик подумал, что спятил я),
Час назад — и теперь приближаюсь к жилью,
К дому давнего друга-приятеля.

«Где ж ты, — глаз тороплю я, — тот дом-теремок
С палисадом, с ухоженным двориком?»
Знаю, друг его строил, как выдумать мог,
Неразлучно с пилой да топориком.

«Как же можно, — не раз он говаривал мне, —
Направляясь с топориком к терему, —

Как же можно, скажи,
жить в лесной стороне
Без любви, без доверия к дереву?»

Он стругал, он пилил, позабыв про покой,
Даже в праздники что-нибудь делая.
И поднялся — один на посаде такой —
Дом, как в стае ворон лебедь белая.

Он поднялся, бетонным коробкам в укор,
Корневое подмявшим и вечное.
А всего-то и ведал — пилу да топор,
Да любовь, да горенье сердечное.

...Сапожищами грязь продолжая месить,
Я бреду сквозь чащобу угрюмую.
«Хорошо, что не все на Руси караси!» —
О дружке с восхищением думаю.

Нынче имя его — Валентин Горячов —
На устах у районных ораторов.
Чуть не первым (за это ему и почет)
Он решил, что в конторе теперь не расчет
Отираться — и стал арендатором.

Райгазета, ликуя, срываясь на крик,
Подняла трескотню колокольную...
А всего и случилось-то: русский мужик
Повернул на дорогу окольную.

Получив письмецо от него, я не мог
Промолчать, отсидеться за печкою...
...И открылся глазам моим дом-теремок —
Белый лебедь над синею речкою.

Глава VI. НАУКА О СЕЛЕ

Монолог героя поэмы

Издали, почти от самой бани,
Увидав дружка возле крыльца,
Я кричу: «Привет, хозяин-барин!»
Руку жму, стирая пот с лица.
И красо́ты местности окольной
Оглядев, вздыхаю глубоко:
«Славно у тебя тут, брат, привольно...
Попадать вот только нелегко.

Разменял в дороге третий день я,
Прежде чем уткнулся в твой забор...
Ну, давай, показывай владенья,
Хвастайся, веди меня на двор!»
«Сразу и на двор, — взглянул с обидой, —
Может быть, сначала все же в дом?..
Потолкуем... Год тебя не видел...
Ну, а двор...»
«Согласен: двор — потом!»

«Ты меня прости, — продолжил дома, —
Столько лет — одно и то же: д в о р...
Кто бы ни приехал — из обкома,
из РАПО — все тот же разговор.

И никто — о доме, о здоровье...
В результате, — он понизил тон, —
Вон в каких домах живут коровы...
Видел?.. Шифер, железобетон!

Ну, а люди... — указал он взглядом
За окно. — Да знаешь сам, видал...
Коль с умом, то на жилье бы надо
Тратить первым делом капитал!

И тогда б колхозные коровы,
Стоя у кормушек у пустых,
Не вздымали крыш голодным ревом,
Было б вдоволь сена и у них...»

«Но ведь не сказать, чтоб никакого
И нигде не строилось жилья...
Домики из бруса у Петрова
И сегодня ставят, видел я».
«У Петрова? Это из «Победы»?
Знаю... Но такие ли дома,
Вспомни-ка, умели ставить деды?!
Глянешь — не дома, а терема!
Пятистенки грохали! Резьбою
Украшали, помнишь? Красота!
Было: дом такой назвать избою
Стыдно, категория не та!

Дом! Домина! Девять светлых окон!
Крытое крылечко... А подвал —
Теплый и, как правило, высокий,
Чтобы головой не доставал.

На зиму — соленья и варенья,
Овощи, картошку — все туда.
В общем, знала в этом толк деревня
Даже в те, далекие года.

Лютовали ярые над Русью
Январи — подвал не выдавал...

Ну а эти домики из бруса?
Ты бывал, скажи мне, в них? Бывал?!
Разве, черт возьми, они похожи
На дома на те, на терема?
Всем, кто в них, я слышал, зиму прожил,
Показалась вечностью зима.
Замерзали. Через стены дуло.
Дуло из-под пóла, наконец...
Эх, узнать бы, кто его придумал,
Этот, для колхозников, «дворец»?!
Разыскать бы где-нибудь в Союзе
Мудреца того и привезти
В сей «дворец» и хоть разок на пузе
Пóд полом заставить проползти.

Именно на пузе, потому как
Пол лежит едва не на земле...

Вот, брат, дó чего дошла наука,
Новая наука о селе!
А дошла она —
наукe древней
Вопреки — сама собой дошла
До едва прикрытого презренья
К «сиволапым» жителям села.
Вспомни: не по этой ли науке,
Снарядив приказчиков орду,
Им, селянам, связывали руки,
Надевали крепкую узду;

Приучали, карой угрожая,
Год от года крепче забывать,
Что такое радость урожая,
А забыв, безропотно сдавать
Мясо, если даже нету мяса,
Яйца, шерсть, зерно — вплоть до семян.
В результате на зиму запасов —
Никаких запасов у селян.

«Палочки» да «галочки» в трудкнижке,
Да обсевков, может, с решето.
А детишки... Просят есть детишки,
Ведь они не ведают про то.

Диво ль, что, униженный, все больше
От земли крестьянин отставал.
А уехать — только по вербовке:
В шахты или на лесоповал.
Или на Магнитку... А подростков —
В ФЗО, в большие города.
Убеждали? Да нисколько!.. Просто:
В ФЗО — и больше никуда!

В Ленинград везли иных, в столицу...
Душу запродав вербовщику,
Покидали пахари землицу,
Многие впервые на веку.

В общем, все по той родной науке
Делалось... Индустрии нужны
Были — без запросов лишних — руки,
Руки мужиков за полцены.

Всем к а з а л о с ь, думаю теперь я,
Что неистощим в селе запас
И р а б о ч е й с и л ы,
И т е р п е н ь я,
Как неистощимо все у нас.

Но, увы, иссякла и рабсила,
И терпенье, судя по всему...
То, что у Америки Россия
Нынче снова хлеба попросила —
Подтвержденье веское тому.

(Окончание в следующем номере)

ПРОЗА

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

ИСКУШЕНИЕ

РОМАН

Глава первая

Машина с плеском ливня по ветровому стеклу неслась на Юго-Запад, задерживалась в заторах на рокочущих перекрестках, то и дело заполняясь в полуопущенное стекло теплой вонью влажного асфальта. И эти наплывы уличной нечистоты перебивал мертвенно-терпкий запах крепа, исходивший от намокшего на похоронах траурного платья Нонны Кирилловны. Она, не проронив на панихиде ни слова, вся будто каменная, только прошептала в машине белыми губами: «Мне тяжко», — и Дроздов в успокоительном сострадании погладил ее ледяную руку, ничего не отвечая ей, ибо всякие утешения были теперь бессмысленны, пошлы («надо держаться», «надо как-то пережить горе», «здесь мы все бессильны»), фразы, всегда звучащие, как заученное соучастие, которое никому из смертных не давало облегчения, а обманывало видимостью общего единения в неминуемом каждого исходе.

Последние минуты на кладбище были до крайности тяжелы затянувшейся панихидой, траурными речами, звуками оркестра, парной духотой перед дождем, скопившейся в липах и между могилами, по которым темно ходили грозовые тени от заслонявших солнце туч. В душном воздухе окатывало запахом обильно наложенных в гроб цветов, сытым запахом увядания, смешанным с земляной сыростью свежевырытой могилы вблизи дорогих памятников этого ухоженного города мертвых, забытых и полузабытых знаменитостей, города покоя с опрятными аллеями, со стерильной чистотой дорожек, вроде бы предназначенных для бесшумных детских колясок, для безмолвного гуляния.

И невыносимо длинны и мучительны были речи сотрудников института и коллег покойного, их неумеренные в горестном упоении слова («талантливый», «выдающийся академик», «прославленный Федор Алексеевич Григорьев»), и Дроздову неприятно было видеть, как дождь гвоздеобразно стал бить по railsединам, по лысинам, по листкам машинописного текста размывая чернильную правду, а ораторы дрожащими пальцами разглаживали намокшие листки заготовленных речей, и голоса вибрировали в безысходном сладострастии беды, постигшей современную науку. Дроздов томился в отдельной толпе сослуживцев, ученых и близких семье Григорьева, окружавших в нерушимом объединении микрофон, и как бы не узнавал многих, кто стоял рядом и кто подходил с листком бумаги к изголовью гроба. Он не узнавал доктора наук Чернышова, толстенького, неуклонно приветливого, розовое лицо которого среди других лиц выделялось здоровьем, даже когда испуганно застывало оно в недоуменном страдании при взгляде на Нонну Кирилловну, точно в эти минуты он боялся расплатиться за свою удачливую судьбу, за прошлую зависимость от ушедшего своего учителя, долгие годы безоговорочно преданный ему ученик. Поминутно покорно склоняясь, готовый упасть на колени, разрыдаться, он в порыве бессильного утешения целовал ей руку, после чего долго перхал, хлюпал, втягивая воздух широким носом. И особо неловко было видеть, как он обреченным жестом обессиленного горем человека показывал на сердце, без слов умоляя не давать ему прощального слова над гробом, так как не выдержит, не вынесет перенапряжения, при этом он робко съеживался, мелькая ловящим взглядом в направлении вице-президента Академии наук Козина, давнего оппонента и соперника Григорьева, костистого рослого старика, желтощекого, с узкой бородкой. В его антрацитно-черных глазах время от времени отражался притушенный веками высокомерный блеск в ответ на это искательное внимание Чернышова, тогда академик снисходительно приподымал бровь и снова устремлял строгое внимание на покойного.

Быть может, от усталости и долгой преддождевой духоты, траурных речей, гробового запаха цветов в неподвижном воздухе это замеченное (или воображаемое им) неуловимое заискивающее общение Чернышова с Козиным, это скользящее соприкосновение зрачками представилось вдруг Дроздову таким диким, противоестественным, что он придвинулся в толпе к Чернышову, сказал шепотом, едва сдерживаясь: «Ведите себя хотя бы пристойно, дьявол вас возьми, не будьте смешны в неподобающие моменты». И Чернышов, дрогнув толстыми щеками, беззвучно заплакал, замирая потупленным взором: «Оставьте меня в покое».

Противоестественным было и то, что из-за затянувшихся речей, стал собираться со стороны незнакомый народ, чужая распаренная толпа, дети и тучные женщины с обвисшими сумками в руках; не без завистливого любопытства они оглядывали дорогой гроб, пышные венки, гирлянды, серебряные надписи разных скорбящих организаций — и Дроздов внезапно вспомнил похороны своей жены, ее неузнаваемо тонкое, чудилось, очень юное, с бледным румянцем лицо, и, как во сне, за спиной чей-то доползший до слуха шепот, в котором он уловил одну лишь фразу: «Такие женщины бывают только любовницами». Вспомнил, как с затуманенной головой он повернулся, будто перед падением в обрыв, четко сознавая, что ударит сейчас этого человека,

прошептавшего за спиной неуместное скользкое слово, что здесь, на кладбище, произойдет неслыханный скандал. Но, повернувшись, увидел фальшиво поникшего Чернышова, его потупленные глаза и рядом — светлые бесстрашные глаза своего друга Тарутина, вызывающие его на самое отчаянное, и все же сдержал себя, мысленно оставляя на будущее право мужского разговора.

И тогда на похоронах Юлии, и теперь на похоронах бывшего тестя он ждал облегчения. Ему хотелось освободиться от тесноты в горле, от этих бессмысленных речей, от скопившейся вокруг гроба праздной толпы с ее извечно пещерным интересом к чужой смерти, от притворного потрясения нелюбимого им Чернышова, украдкой косящего влажными глазами в направлении крючковатой бородки академика Козина.

Главное было в ином. У него уже не было сил долго глядеть в сторону гроба, где еле видное из навала цветов белым гипсом недвижно проступало пугающее властными строгими чертами и надменным величием лицо покойного, и Дроздову казалось, что это лежит не отец Юлии, не академик Федор Алексеевич Григорьев, а кто-то другой, тоже мучительно знакомый, чье имя ускользающе-смутно вертелось в голове, но не мог вспомнить, кто это. И постепенно нарастало чувство, что произошла страшная и коварная подмена, что лежащему в гробу дано лицо человека, не умершего, а еще живущего на земле.

«Да что за чертовщина! Мне кажется — я вижу себя... Какая-то галлюцинация! Не может этого быть, — холодком проходила и вздрагивала в нем мысль. — Я возвращаюсь назад, к похоронам Юлии? Да это какое-то ужасающее стечение обстоятельств — хоронить разведенную жену, потом ее отца. Да, да, безумие, что-то противоестественное. Что ж, может быть, это и есть наказание?»

И в этот миг ему почему-то захотелось увидеть Валерию. Он взглядом нашел ее в толпе возле гроба — несоответственно кокетливая косынка черного цвета, по-деревенски завязанная снизу подбородка, и модно, и траурно затеняла молодое наклоненное лицо, по-южному загорелое, напоминавшее о вчерашнем солнце, о вчерашнем море — но в ее лице, в этой косынке, в ее тонкой сильной фигуре было печальное смирение. Она медленно подняла голову, ощутив его внимание, ее глаза, ответно сказавшие что-то ему, были туманны от невылитых слез. И он подумал с завистью к ее, должно быть, однозначному состоянию: «Она не чувствует того, что чувствую я. Она как будто о чем-то спрашивает и успокаивает меня»,— и ответил ей почти незаметным движением головы, что могло означать: «Я вас понимаю. Но здесь каждый — в своем».

Когда вместе с Нонной Кирилловной он сел в машину, опахнувшую изнутри после сытного запаха цветов синтетической духотой будничного мира, Дроздов не мог избавиться от сознания чего-то нелогичного, случившегося с ним на кладбище, чего-то незаслуженно обманного, неопределенного, а когда ехали по ливневой Москве, был рад этой августовской грозе, обвальному грохоту дождя по капоту, зигзагам потоков, скользящих по стеклам.

Нонна Кирилловна молчала в полумраке машины, он же трезво отдавал себе отчет, что в силу не разорванных им до конца условностей роль бывшего зятя ставила его в положение неестественное. Порой это было просто невыносимо. Никогда между ним и семьей Юлии не загорались и не привились истинно родственные отношения. Нонна Кирилловна, вдохнувшая клейкий воздух подмостков и славы, коротко испытанной ею в молодости и незабытой, обладая твердыми убеждениями, противилась их сближению. Она считала, что дочь, воспитанная ею в семейных традициях, если уж не пошла по ее стопам, то все же достойна более высокой партии в жизни, и не один год была

оскорблена ее выбором жалкого «геолога», «инженеришки», ее неразборчивым вкусом. Довольно-таки молодой режиссер знаменитого Малого театра, обаятельный красавец, талант, два года ухаживал за Юлией, упоенный надеждой жениха, приходил в дом, неотразимый, искрящийся, как сама очаровательная его улыбка, как его приветственная фраза, произнесенная хорошо поставленным голосом: «Вы сегодня особенным образом прелестны, Юлечка, а вы просто чудесно выглядите, драгоценная Нонна Кирилловна!»

По рассказам Юлии, фраза эта беззастенчиво высмеивалась ею, с невинным видом заявлявшей матери, что льстивое приветствие, пожалуй, заимствовано из дореволюционной пьесы, где герой в клетчатых штанах и с тростью вальяжно входит в купеческий дом, раскланивается с заспанной растопыркой дочерью и дородной матерью-купчихой, симпатизирующей угодливому жениху. В тот еще безветренный период их любви Юлия была искренна с ним, он же иногда думал, что она и замуж-то вышла за него из сопротивления матери, наперекор ей и артистической самоуверенности жениха. Но много лет спустя все в Юлии встало наперекор, как и смерть ее...

«Самое тяжкое — поминки,— думал с тоской Дроздов, чувствуя рядом каменную неподвижность Нонны Кирилловны, горчичный запах ее намокшего крепа.— Сначала поминальная, неумеренная хвала, сожаление, скорбь, потом возбуждение, кое-где даже несдержанный смех, потом вселенская глупость взвинченных разговоров, чья-то обида, чья-то злая память... Нет уж, на поминках я не буду,— решил он бесповоротно.— Провожу Нонну Кирилловну и уеду немедленно, что бы ни говорили обо мне, как бы ни судили!»

Глава вторая

Молча Нонна Кирилловна провела его в кабинет по знакомому коридору большой квартиры, где незнакомые женщины с блюдами, обдавая запахом теплого мяса, сновали из кухни в столовую, вкрадчиво звенели там посудой, приготавливая стол для поминок. Но в кабинет, пасмурный от дождя, тихий от забитых книгами стеллажей, не проникало ни звука из коридора, не доходил сюда плотоядный запах вареного мяса.

Как только вошли в кабинет, Нонна Кирилловна вдруг покачнулась, мученически исказила лицо и, сдавливая рыдания, уткнулась лбом в плечо Дроздова, беззащитно зашептала:

— Как тяжко, боже, как тяжко! Сначала дочь, потом муж... Как тяжко мне, Игорь Мстиславович... За что меня так покарал Бог?..

Ее траурная накидка жестко карябала ему щеку, ее крупное тело вздрагивало, и он, неудобно обняв ее, успокаивающе гладил по спине, растерянный ее искренностью прорвавшегося горя, скрытого на кладбище за каменной непроницаемостью, и говорил с неловкостью:

— Я понимаю, понимаю...

Нонна Кирилловна, пошатываясь, мелкими шагами отошла к письменному столу, сверх меры заваленному папками и письмами, словно тут в суматошном поиске выложили на свет все содержимое ящиков, и, вяло стянув черные перчатки, уронила их на папки. Села в кресло перед столом, жестом жалкого бессилия загородила плачущее лицо ладонями.

— Вы... не знаете всего, Игорь Мстиславович...— проговорила она клокочущим голосом.— Я не могу вам передать, как все было ужасно, несправедливо, мерзко... Его просто убили...

— Успокойтесь, Нонна Кирилловна,— нахмурился Дроздов и заходил по толстому ковру, трясиной втягивающему ноги.— Я прошу вас...

Прижимая ладони к щекам, она повторила вскрикивающим шепотом:

— Все было отвратительно, бесчеловечно!.. Он умирал вот на этой тахте... Вы наш единственный родственник, и вы должны выяснить обстоятельства его убийства!.. И наказать их, наказать, хотя вы отошли от нашей семьи!

Вот в этом кабинете Григорьев работал, читал, писал, спал (тахта вместе с ночным столиком и огромной лампой стояла справа под стеллажами); здесь, в этой пропахшей сухой книжной пылью комнате, не так часто бывал Дроздов, даже в те годы, когда жизнь его и Юлии была во всех смыслах благополучной. Федор Алексеевич, сколько знал его Дроздов, никого из знакомых и сослуживцев в это свое населенное книгами и рукописями прибежище не приглашал, воздерживался подпускать к стеллажам, запрещал усердно прибирать в кабинете, не любил оставлять дверь открытой, опасаясь утери важных бумаг, подчас секретных документов. Эту болезненную осторожность, близкую к страху, Дроздов объяснял себе политическими особенностями биографии Григорьева, связанными с теми годами, когда ему не разрешалось проживать в Москве.

— Почему вы сказали «его убили»? Как умер Федор Алексеевич? — спросил Дроздов с попыткой удержать равновесие в разговоре, начатом Нонной Кирилловной.— Только, ради бога, не считайте за мной обязанности родственника. Вы сами знаете, что это не так. Я был плохим родственником всегда. Я с уважением относился к Федору Алексеевичу, хотя во многом мы с ним...

Он умолк, не переступая границу дозволенного. Однако Нонна Кирилловна вмиг поймала его интонацию и испуганно отдернула ладони от лица. Ее сразу запухшие от слез, когда-то гордо непреклонные глаза, фиолетовый ночной холод которых так пронзительно помнил Дроздов, смотрели обезоруженно, готовые в бессилии униженно обидеться — будто несгибаемый стержень, державший ее на похоронах, выдернули из нее.

— Вы и сейчас так говорите? — прошептала она задавленным голосом.— Вы... вы были в конфликте с Федором Алексеевичем, я знаю, я все знаю от Георгия Евгеньевича («Да, только Чернышов был вхож сюда»). Но Федор Алексеевич ценил, уважал вас и перед смертью мне... и вам оставил... оставил. А я не могла выполнить его волю. Скажите, что мне делать? Что делать?..

Она, как слепая, притронулась к желтой папке, лежащей поверх других папок на столе, трясущимися пальцами развязала тесемки и протянула Дроздову на одну треть исписанный лист бумаги:

— Вы должны это прочитать... Здесь и о вас, он и вам...

Он замедленно прочитал отчетливо написанный мелким бегущим почерком текст:

«Нонна, родная, со мной все происходит естественно. Жизненные силы израсходованы. Каждый вечер хочу заснуть и утром не проснуться. Надо уходить.

Там жду встречи с нашей незабвенной дочерью.

После моей смерти прошу меня отпеть в церкви Святая Троица, которую я тебе прошлым летом показывал, и похоронить рядом с Юлией на Кунцевском кладбище.

Письмо это только для тебя. Если найдешь нужным попросить содействия, обратись к Игорю Мстиславовичу или на худой случай — к Чернышову.

Конверт с надписью «лично Дроздову» в верхнем правом ящике, отдай немедленно. Прощай. Федор».

— Так. Понимаю,— выговорил глухо Дроздов и повторил вслух поразившую его завещательную фразу Федора Алексеевича: «Прошу, меня отпеть в церкви... и похоронить рядом с Юлией...» — Нонна Кирилловна,— проговорил он, через силу смягчая упрек,— почему же вы не выполнили просьбу покойного? Как же так?

Не вытирая слез, текущих по еще не дряблым щекам, она в ужасе, будто горячим ветром опахнувшем ее, моргала веками, неопрятно черными от размытой краски и жалкими в этой неопрятности («Для чего, для чего она подкрашивала ресницы?»), а обескровленные до синевы губы ее дрожали.

— Георгий Евгеньевич... Я ему сообщила о письме... Он сказал: «Ни в коем случае. Отпевание уничтожит память о Федоре Алексеевиче. Что касается кладбища, то Академия наук позаботится сама. Место для академика Григорьева обеспечено.

— Чернышова могу понять,— сказал сухо Дроздов.— Вас — нет.

— Федя не был религиозен, но он верил, верил во что-то,— говорила с торопливым оправданием Нонна Кирилловна.— Он не посвящал меня в свою веру. Только я обратила внимание вот на что. Вы посмотрите там, над тахтой, он повесил это год назад. Он часами тут простаивал...

Она обтерла слезы под веками и показала рукой на большую поставленную на стеллаж фотографию под стеклом. Там в траурных провалах галактик, в сиянии Млечного Пути горели дивными белыми кострами, алмазно пылали, расходились лучами, подобно щупальцам, неисчислимые созвездия, выстроенные в геометрические фигуры, в таинственные треугольники, квадраты, зигзаги неистово яркого, сплошь заполненного звездами неба, непостижимого, сплошь живого, пугающего глубиной каких-то страшных внеземных закономерностей, неподвластных пониманию смертных. Тайна вечности дышала из черноты неизмеримой жутью гибельной бездны, вселенского бессмертия за пределами земного муравьиного ничтожества, существование которого или не замечено, или снисходительно разрешено этой наивысшей всепобеждающей силой.

«Как в детстве, небо всегда меня тянуло смертельной высотой. Перед этим колдовством можно стоять часами... А перед смертью молиться. В общем, я не знал Григорьева»,— подумал Дроздов, испытывая щекочущий ледок в груди от неизъяснимо притягивающей власти звездного неба над тахтой.

Он молчал. Нонна Кирилловна всхлипывала, прикладывая платок к покрасневшему носу. Дождь перестал, в кабинет по-летнему тепло пробились сквозь вершины лип за окном стрелы солнца, вспыхнули на обмытых стеклах, осветили зеленый ковер, нижние этажи стеллажей, янтарно засветившиеся тиснениями старых книг, к которым не раз любовно и небезнадежно прикасался Григорьев и которые он предал своей смертью, как негласно предали и самого покойного его близкие, не исполнив его воли ухода, и, может быть, предадут и еще: рано или поздно книги эти, возможно, попадут в чужие руки букиниста.

«Что это пришло мне в голову? Нелепость! — нахмурился Дроздов.— Неужели вся наша жизнь от рождения до смерти предательство? Старея, предаем молодость? Умирая, предаем жизнь? И я тоже предал себя, когда нарушил свое слово больше не бывать в этом доме после смерти Юлии».

— Вы мой единственный родственник («Вот эту фальшь уже нельзя вынести!»), и вы, именно вы, должны знать, как все было гадко, бесчеловечно...

Она осторожно высморкалась, глубоко дыша ртом.

— Я слушаю, Нонна Кирилловна.

— Простите, я сейчас соберусь с силами. Вы уехали в отпуск... Ведь это было месяц назад, а мне кажется — тысячелетие прошло. Но как только вы уехали, буквально назавтра Федора Алексеевича

вызвали в какие-то инстанции, и он вернулся оттуда совсем не свой, как будто на двадцать лет постарел. Только вечером второго дня Георгий Евгеньевич Чернышов мне сказал, что Феде... предложили уйти из института... на вольные хлеба, как сейчас говорят, в связи с состоянием здоровья. Но ведь и после инфаркта у Феди была светлая голова, он был еще энергичен, он ездил за границу... Да, он проработал много лет... и вдруг в Академии и в Цека перестали с ним считаться, а в институте все сразу отвернулись, как будто он живой мертвец. Все, почти все, кому он помогал, кому квартиры доставал, кому столько сделал добра, отплатили ему жестокой неблагодарностью. За что? Неужели он это заслужил всей своей жизнью?

— Глупцы и ничтожества,— сказал Дроздов.— Заискивают и лебезят перед силой и добивают слабого.

— Что?

— Благодарность беспамятна.

— Федя очень страдал,— продолжала Нонна Кирилловна, плохо слыша Дроздова.— Он ходил в институт каждый день, сидел в кабинете и ждал телефонных звонков. Он думал, что там, наверху,— Нонна Кирилловна возвела влажные глаза к потолку,— опомнятся... что он, авторитетный ученый с мировым именем, кому-то нужен. И страшно, что никто не звонил, ни одна живая душа, и никто в его кабинет не заходил, даже секретарша... Эта... как ее... Лизочка... Любочка... Мне рассказывали, что она смеялась: «Он еще ждет, что я ему принесу чаю с сухариками!» А Федя ей добился увеличения зарплаты, помог получить квартиру... И хоть бы кто руку протянул, посочувствовал. Теперь я знаю: это жестокость убила его. Он умер от тоски. За две недели он похудел неузнаваемо, стал как тростинка. Он сказал мне как-то: «Нонна, прости, я устал от борьбы с собой. Я надоел всем. Я зажился». Вы не можете представить, как страшно он умер. Федя отказался от еды, от разговоров со мной, он все время молчал, лежал вот здесь, на тахте, лицом к стеллажам, а в пятницу утром не проснулся. Остановилось сердце. Просто он не захотел жить. Только умоляю вас, не надо об этом никому, это может повредить памяти Федора Алексеевича... Я вас умоляю!..

— Уже ничто, Нонна Кирилловна, ему не повредит.

Расстегнув пиджак (стало жарко), Дроздов ходил по кабинету от стеллажа к стеллажу, то и дело наталкиваясь взглядом на фотографию ночного неба, и на минуту приостанавливался возле тахты, не в силах оторваться от огнедышащих провалов галактики.

— Ну, а что Чернышов? Что он? — спросил Дроздов.

— Георгий Евгеньевич был во время болезни два раза. Больше его Федор Алексеевич не принимал.

— Почему?

— Федя за что-то рассерчал на него.

Дроздов вспомнил яблочно круглые щеки Чернышова, раздвинутые виноватой полугримаской, направленной в сторону академика Козина, с надменной строгостью не замечающего ученика своего многолетнего оппонента, — и, вспомнив это, опять задержался перед фотографией звездного неба, глядя на пылающий в бездонности Млечный Путь.

«Проще всего в наше время совершаются предательства. Страшно и дико. В сущности, Юлия тоже предала меня. Нет, вечность не поможет нам сейчас»,— со злой иронией над собой, без надежды на счастливое успокоение подумал он о возможной молитве перед этой колдовской россыпью созвездий и, повернувшись к Нонне Кирилловне, сказал решенно:

— Я не останусь на поминки. Не обижайтесь. Мне будет трудно кое-что преодолевать. Упаси боже, устрою скандал, на что в данных обстоятельствах не имею права.

— Что вы делаете со мной, Игорь Мстиславович? — вскрикнула Нонна Кирилловна, покачиваясь в кресле, закрыв лицо руками.— Как я без вас? Без вашей родственной поддержки?

Он подошел к ней, погладил по плотно обтянутому шершавым крепом плечу, этим прося прощения с той мерой соучастия, на которую сейчас был способен.

— Нонна Кирилловна, я не хочу, чтобы между нами сейчас лежала ложь. Я знаю, вы не любите меня. Но я благодарю вас за то, что вы были со мной сегодня искренни, а я хотел быть с вами искренним всегда. Не получалось. Но предать я вас никогда не предам и всегда помогать буду по мере сил.

Она застонала, мотая головой.

— Вы ненавидите меня! За Юлию, за Юлию!..

— Это не так, Нонна Кирилловна. Не стоит выяснять, что было. Уже ничего не поправить.

В кабинет приглушенно проникали из коридора невнятные шаги, голоса; со двора доносился шум подъезжающих машин, отрывистое щелканье дверцами — уже было время сбора приглашенных на поминки, и Дроздов заторопился, не вполне ловко взял жесткую руку Нонны Кирилловны, несильно ее пожал.

— Где мой Митя?

— Ваш сын на даче. Ему не надо все это видеть.

— Я прощаюсь с вами.

— Вы уходите?

Она величественно встала, выгнула стан, упираясь костяшками кулачка с зажатым в нем носовым платком в край стола, лицо ее с очерненными краской веками приняло неприступное, даже отталкивающее выражение (которое так знакомо было ему в прошлые годы), а слезы между тем быстрыми каплями выкатывались из ее оледенелых тусклых глаз, текли по щекам на стиснутые в синюю полоску губы, и это смешение величественной, гордой неприступности ее крупной фигуры и неудержимых слез горя тронули Дроздова своей незащищенностью старости.

— Простите,— повторил он.— Я позвоню вам завтра. Я всегда буду помогать вам, сколько хватит сил. Тем более — у вас Митя...

— Не звоните! — прошептала Нонна Кирилловна, и губы ее затряслись.— Никогда, ни за что не прощу вам Юлию... и Федю не прощу! Вы постоянно мешали ему, вы его ненавидели так же, как и меня! Вы мечтали занять его место, я знаю, я в курсе всех ваших темных дел! Георгий Евгеньевич честный, умный человек, рассказал мне все... Вы загубили жизнь моей дочери и вы подталкивали моего мужа к гробу! Вы — враг нашей семьи! — перехваченным слезами голосом крикнула она, некрасиво оскаливая зубы. — Вы разрушитель нашего дома! Вы — чудовище!..

«Объяснение с Тарутиным в Крыму и вот еще Нонна Кирилловна в Москве,— не слишком ли для меня много в последние дни?»

Он с вежливым терпением, переждав взрыв ее гнева, спросил негромко:

— Я могу взять свою папку?

— За что мне такое мученье?.. Возьмите ее скорее! — рыдающе крикнула она.— И уходите прочь! Я не желаю от вас никакой помощи! И для Мити ничего не надо! Вы были и остались врагом нашей семьи!..

Он молча взял желтую папку со стола, молча кивнул Нонне Кирилловне и вышел в коридор, в запах разваренного мяса, в мерзкое тепло еды, текшее из кухни, бегло увидел в раскрытую дверь столовой накрытый стол, закуски, бутылки, большое блюдо с винегретом, бессмысленно сумрачные знакомые лица, сниженно тихие голоса приглашенных на поминки, еще не севших за стол, еще стоявших группками

по углам, и, торопясь мимо зонтиков, сложенных в передней, пошел к выходу, с отвращением к еде, к этим фальшиво сбавленным голосам коллег, к их заготовленным поминальным речам, не имеющим никакого значения ни для еще живущих, ни для покойного, который теперь уже никому не нужен и никому не опасен.

«Этого можно не выдержать»,— подумал Дроздов, выходя из полутемного парадного в ослепительный свет солнца особенно жгучего после короткого ливня, сверкающего в зелени мокрых тополей во дворе, с голубым блеском луж на асфальте, где, растопыривая перья, шумно купались воробьи.

Прошлой осенью, поздним ненастным вечером, изучая документы экспертизы, Дроздов задержался в институте допоздна и уже перед уходом, гася в кабинете свет, был остановлен телефонным звонком и не без удивления узнал в трубке голос Григорьева, который просил спуститься к нему на второй этаж, если, разумеется, еще остались силы для небольшого разговора. Когда Дроздов вошел в кабинет директора, просторный, с великолепно расписанным золотистым потолком в стиле классицизма XVIII века, с солидными корешками старых и новых справочников в массивных шкафах, Григорьев сидел за громоздким столом, совершенно чистым, без единой бумаги, и, сняв очки, узколицый, седой, прозрачно-бледный, слабым жестом указывал очками на кожаное кресло против стола.

— Мы с вами... бывшие родственники... и ни разу по душам не поговорили,— сказал Григорьев и виновато сморщил губы,— а все в спорах, в несогласиях... А когда была жива Юлия, вы тоже не любили меня. Вы считали меня за ретроградa, за архаизм.

— Наверно, есть что-то выше наших бывших родственных чувств.

— Юлии уже нет на белом свете, а мы с вами живем. Бедная, невезучая... Где теперь витает ее ангельская душа? И слышит ли она нас? Нет, мертвым не надо слышать живых...

Он молитвенно повел скорбными глазами по потолку. Дроздов нахмурился.

— Я не хотел бы сейчас говорить о моей покойной жене.

— Я о другом, голубчик. Я давно хотел о другом... Сегодня какой-то нехороший, печальный вечер... Как-то жутко, знаете, слушать вой ветра и дождь,— заговорил Григорьев и опять сложил губы подобием виноватой улыбки.— Вы, Игорь Мстиславович, гораздо моложе меня, поэтому, понятно, смотрите на жизнь, как на бесконечность в пространстве и времени. Так было и со мной в ваши годы. Старость для вас — за семью печатями. Да и будет ли она? Приблизительно так, Игорь Мстиславович?

— Боюсь ответить однозначно, не хочу быть неискренним,— сказал Дроздов, еще не вполне чувствуя причину этого разговора.— Я уже давно не воспринимаю жизнь как бесконечность.

— Так вот, что я хотел вам сказать. Старость — это одиночество пустых осенних ночей. И страх...

— Страх? — усомнился Дроздов. — Простите, Федор Алексеевич, не понимаю.

— Да. Страх,— подтвердил Григорьев, с усталым отвращением откладывая в сторону очки, как будто невыносимо надоевшие ему.— Ожидание скорого наказания. И Судного дня. Помните, у Белого? «Меня несут на Страшный суд...»

— Наказания?

Григорьев молчал, отсутствующе и грустно глядя на незашторенное окно. А там по-ноябрьски свистал, наваливался, ревел в голых верхушках бульвара ветер, по черному стеклу колотил дождь, звонко бил по карнизу, огни улицы расплывались, текли световыми извивами;

изредка внизу отсырело шелестели шины в мокрой асфальтовой бездне. С выражением тихой вины Григорьев прислушивался к гудению ветра, к плеску дождя, и впервые отчетливо увидел Дроздов что-то вялое, старческое в складках его шеи, сжатой накрахмаленной белизной воротничка с аккуратным старомодным узлом галстука, и слабый очень белый подбородок, и отливающие опрятной сединой волосы, уже редкие, тщательно зачесанные.

— Наказание кого? — повторил Дроздов, нарушая молчание.

— Всех нас. Почти по Откровению от Иоанна. Апокалипсис ждет нас. И казнь.

— Но... почему и за что?

Григорьев оторвал взгляд от окна, утомленно заговорил скрипучим голосом:

— Я часто думаю в старческую бессонницу: кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Где кончится наш человеческий путь? Во имя чего мы так нагрешили? Ради чего испакостили, изнасиловали землю? Во имя чего?

Дроздов иронически сказал:

— Во имя человека, как мы утверждаем, Федор Алексеевич. Во имя человека мы надругались над родимой...

— Не смейтесь, Игорь Мстиславович. Мы не пришли в науке туда, куда шли в начале века. Не заблудились ли мы? Дико то, что от древних времен и до наших дней все преступные... все зловещие дела делались под знаком блага человека и даже народа. Какой обман! Да, обман. Но это уже политика — внебрачное дитя истории. Кто ее отец и кто мать? Узнавать небезопасно.

— По-видимому — власть и желудок,— сказал Дроздов.— Впрочем, уверен: плохой или хорошей политики нет. Есть просто политика. Где много грязи. И лжи. И есть наука, где отсутствует научность.

— Наука? Политика?.. Порой мне кажется — мы в тупике, мы жалкие... Жалкие...

Григорьев облокотился на стол, прижал узкие ладони к вискам, и долго сидел так, опрятный, сухонький, вглядываясь в Дроздова с горьким вниманием крайне переутомленного человека, то ли серьезно больного, то ли измученного длительным внутренним страданием, и эта не скрытая сейчас душевная боль не то чтобы удивила Дроздова, а вызвала настороженное любопытство. Помимо совещаний, их ни разу вот так в кабинете не соединял ни поздний вечер, ни дождь, шумевший в бульваре, ни яркий свет настольной лампы, обнажающий нездоровую серизну старых морщин на висках Федора Алексеевича, нежданно заговорившего о том, о чем он избегал один на один говорить со своим заместителем.

— Что-то мы с вами не так, Игорь Мстиславович,— еле слышно продолжал Григорьев, устало смыкая веки.— Мы с вами месяц назад разрешили вырубить пятнадцать тысяч гектаров заповедного уральского леса под Бирском. Погубили реликтовые породы деревьев. А мы хорошо знали, что построенное здесь водохранилище войдет в строй только через пять лет и вряд ли обеспечит город водой. Средняя глубина четыре метра. Эта же вода негодна для питья. А денежные затраты — тридцать восемь миллионов. Преступление, преступление...

— Месяц назад вы были другого мнения, Федор Алексеевич,— сказал Дроздов, силясь сдержать досадливый упрек.— Этот проект отстаивали вы.

Григорьев, стискивая виски, заговорил с торопливым сопротивлением:

— А вы думаете, я и сейчас уверен в абсолютной истине? Я в отчаянии! Людям нужна вода. Ее требуют. Но — какой ценой? Где «быть»? Где «не быть»? Где гибель? Где спасение? Демагогия слова стала мерзкой! Погрязли в обещаниях и лжи! Нас обманывают, водят за

нос, шантажируют, а мы — не наука, а политика умиротворения хищника! Знаете, кто хищник? Чиновники из Совета министров! Проектировщики от ведомств! Лживые администраторы! Политика Мюнхена. Сегодня мы, ученые, разрешаем губить Байкал, Волгу и Днепр, завтра — поворачивать вспять северные реки, послезавтра — вырубить весь кедр, всю тайгу для выполнения мифического плана. А потом? Тьма, конец. Не земля, а лысая круглая пустыня. Но что делать? Как противостоять? Я не знаю, голубчик, не знаю. Я потерял ориентиры... Как жить?..

Григорьев отнял руки от висков и с жалким бунтом интеллигентного человека, доведенного до исступления, ударил бессильными кулачками по краю стола, отчего седые волосы разрушенной прически упали на лоб беспомощным завитком, своей снежной чистотой покорно и обидно показывая слабость Федора Алексеевича перед вседержительным напором административной власти. Он, Григорьев, был довольно-таки славен в научном мире, но периодическая податливость могучим инстанциям в Академии наук, нестойкость его и вместе тактическая глухота к сверхактивным доводам безудержных сил, неукоснительно озабоченных стратегическими государственными интересами,— всю эту неоднородность Дроздов связывал с осложненной биографией старика, принужденного в сороковых годах несколько лет прожить ссыльным в казахстанских степях, вдали от науки. Связывал он с этим и его непоследовательную порывистость — от сопротивления к безразличию, и запоздалое возвращение в академики, и «голубую кровь», а в сущности разрушительную его нетвердость, которая особенно раздражала Дроздова, и Дроздов сказал:

— Вы спрашиваете, что делать? Я уверен, Федор Алексеевич, что к гибели человечества ведет не зло, а доброта и беззубость.

— То е-есть? — напевно проговорил Григорьев и отшатнулся в кресле.— Бога — на свалку, сатану — в кресло. Да здравствуют саблевидные зубы и костистые кулаки? Утверждать истину дроблением носов и челюстей? Аргументировать скуловоротами? Я растерян от ваших слов... Как это должно понимать, Игорь Мстиславович?

— Так точно,— ответил по-армейски Дроздов с опьяняющей решительностью.— Только так. Если мы хотим немного уважать науку. И чуть-чуть себя. Посылать всех хищников, прожектеров и дуроломов из министерств и управлений подальше!

Григорьев со страдальческой гримасой расстегнул пуговичку на жестком воротнике под старомодным узлом галстука, бескровные губы его собрали морщинки боли.

— Знаете, иные слова в мирное время подобны выстрелам... Вы стреляете в меня. Не смею отрицать. Вы смелее меня, современнее, героичнее.

— Вот уж, простите, чепуха! — не согласился Дроздов.— Если бы мне хватило героичности, я бы упразднил наш институт как сборище аплодисментщиков и дилетантов! Потому что многим улицы подметать надо, а не экологией заниматься!

— Игорь Мстиславович, вы все же экстремист — Григорьев огорченно свел худые руки под подбородком.— Стало быть, вы за крутые повороты? Но разве вы всегда видите непогрешимую правду?

— К великому сожалению, я не экстремист! — возразил Дроздов.— Конформист, скорее всего. Иначе я с вами давно бы не работал, Федор Алексеевич. Мы — исполняющие чужую волю рабы...

Григорьев задержал затосковавшие глаза на черном стекле огромного окна с брызгами уличных огней, по которому непрерывно скатывались струи, скользили тенями намокшие листья, срываемые ветром с бульвара, и проговорил вполголоса:

— На старости лет я понял, что есть две правды. Между ними — биологическая яма. Между отцами и детьми. Правда отцов и правда детей. Страдания отцов приводят к истине...

— Федор Алексеевич, я ценю ваш ум и ваш опыт. А не ваши две правды.

Григорьев закрыл глаза, как бы печально вспоминая что-то забытое.

— Вы не чувствуете одиночества вот в такие осенние вечера? Как будто надолго надо отправляться в дальнее путешествие. Одинаково трагическое для всех. А я, знаете, жду этого путешествия. Каждому из нас рано или поздно предстоит... долгий вояж и покой. Я устал от людей. От бумаг. От лицемерия. А вы? Как вы себя чувствуете, Игорь Мстиславович? Вы бодры? Полны сил?

— Я устал от болтовни и глупцов,— сказал Дроздов, хотя ему надо было сказать другое: «Я устал от вашей бесхарактерности, от вашей унизительной робости». Но ему не по себе было чувствовать старческую тоску Григорьева, терзаемого одиночеством, сомнениями, каким-то душевным или физическим недугом, ищущего у него сочувствия в поздний осенний вечер с гудящим под дождем и ветром бульваром, с размокшими листьями на стекле.

— Нет, есть две правды: жизнь и смерть. И я боюсь экстремистов, которые ускоряют и то и другое,— повторил Григорьев погасшим голосом.— Вы также не правы.

— Я могу хоть завтра подать заявление, так сказать, об отставке,— проговорил Дроздов и встал.— Так вам станет яснее.

— Нет, нет, не завтра! — вскричал Григорьев протестующе.— Никогда!

Только теперь, припоминая этот полуоткровенный и невеселый разговор, Дроздов ясно понял, что имел в виду Григорьев в тот ненастный вечер.

Глава третья

А два дня назад еще была безоблачная пора крымского августа...

— Сегодня мы шикуем, друзья мои. И поступаем, конечно, неблагоразумно. С точки зрения коммунистической морали. Тем не менее смею надеяться, что никто не ущемляет нашу волю, поэтому предадимся питию и чревоугодию. Я предлагаю Валерии распоряжаться за этим столом, колдовать над меню и забыть о своей женской сущности, которая не изменяет родному девизу: экономия должна быть экономной. Сегодня, пожалуй, необходимо и напозволять себе...

Дроздов положил перед Валерией меню и, с удовольствием закуривая сигарету, подмигнул Тарутину, который мгновенно изобразил глубокомысленное раздумье.

— Истина — это то, что делает человека человеком,— сказал Тарутин, то повышая, то понижая голос.— Чья цитата? Твоя? Моя? Или Нодара? Однако должен сказать: меня сбивают с панталыку твои широкие жесты. Валерия, вас не смущает этот гений мотовства?

— О да,— отозвалась Валерия насмешливо, передавая меню Гогоберидзе. — Но оба вы — гении празднословия. За исключением Нодара, который помалкивает, да знает свое дело.

— Пренаивные, длинноухие вокалисты, поющие утром и вечером без нот,— засопел Нодар Гогоберидзе, сурово сдвигая брови.— Буду кормить из своих рук. А вы изучайте эту грамоту, если не жаль времени.— И он небрежно отшвырнул меню в сторону Тарутина.

— Разоблаченные пошляки,— добавил Дроздов и, наслаждаясь этим жарким крымским днем, затянулся сигаретой, поглядывая в синее небо над пыльными тополями.— Не кажется ли вам, что мы уже не один день ведем порочный образ жизни? Едим, пьем, лежим под безоблачным небом на пляже, гуляем, глупим!

Дроздов, пожалуй, не мог бы точно объяснить, почему с самого утра он был в хорошем настроении духа, чувствовал бедовое желание шутить, ерничать, произносить ничего не значащие фразы — бездумное желание легковесного шутовства появлялось у него в Москве не так уж часто, и он сейчас не пытался гасить эти независимые от его воли вспышки в беспредельно свободном состоянии ничегонеделания.

Эта легкость настроения началась, вероятно, со вчерашнего теплого вечера, когда он заплыл далеко в море, погружаясь в закат, в багровое свечение воды, окунаясь в брызжущую радугами благостную влагу, приятной солью щекочущую лицо. Он плыл и видел сквозь розовое сияние раскаленный шар солнца над краем моря. Потом шар этот стал вытягиваться к воде гигантской дрожащей каплей, постепенно расползаясь в дыню, зыбко легшую на черте горизонта, после чего дыня превратилась в стог горящего сена, затем в малиновый диск, медленно сползавший за горизонт, и, наконец, осталась узкая рубиновая полоса отблеска, небо же зеленело, становилось прозрачно-пустым, потусторонним, а вода неподвижной, темной. И сразу возникло чувство глубины, таинственной пучины, неизмеримого провала внизу, вызвавшего озноб на спине. «Как непонятно и удивительно это изменение»,— подумал Дроздов с мальчишеским восторгом, упиваясь и постепенным превращением заката в вечер, и веселым страхом перед глубиной. «Все тайна, все человеками не познано!» — крикнул он Валерии в порыве удовольствия и, встретив ее вопросительный взгляд, подплыл к ней, тихонько погладил в шелковистой воде ее загорелое до шоколадной смуглости плечо, командуя грубовато: «Поплыли к берегу, что ли! А то я начну целовать вас здесь, и потонем к черту оба!» — «Какие безумные нежности! Что случилось?» — засмеялась Валерия, переворачиваясь на спину, и поплыла к берегу, не спеша взмахивая руками. Ее лицо, сжатое резиновой шапочкой, показалось ему тогда юным, озорным и вместе притворно безучастным, лицом коварной целомудренницы. Он видел рядом движения ее длинного тела в воде, движения ее ног и наслаждался в избытке ощущений — от дуновения пахучего воздуха с нагретого за день берега и от этого непостижимо чудодейственного превращения заката в южный бархатный вечер.

Когда доплыли до берега, было совсем темно, пляж смутно белел, усеянный пятнами неубранных лежаков, и здесь запахло холодеющим песком, древесным теплом уже опустевших кабинок, пропеченных за долгий день солнцем, и Дроздову почудилось, что мятной сладкой прохладой пахнуло от Валерии, как по жердочке шедшей впереди него к топчану, где они разделись перед купанием. Он тихо и шутливо окликнул ее: «Ева»,— она остановилась, замедленно повернулась к нему, сказала: «Я слушаю, Адам», — и подняла обе руки к затылку, как бы готовая снять купальную шапочку. Он обнял ее, влажную, теплую, чувствуя гибкую силу ее тонкого нагого тела, ее нежное сопротивление солоноватых после моря губ, уклоняющихся с полуудивленной улыбкой. «Нет,— сказала она,— нет, мы не будем «трепетно целоваться». Это так устарело». «Что же мне делать?» — спросил он с глупейшим неунывающим вызовом. «Терпи, Адам, как господь бог велел,— ответила она, смеясь.— Это пройдет, Игорь Мстиславович».

Потом они сидели на топчане, в сплошной черноте ночи; из ее звездных глубин, из сгущенной тьмы моря широко дуло свежестью. Млечный Путь сверкающими рукавами спускался к воде, к непроглядному горизонту; далеко слева, в бухте, воспаленным зраком мигал маяк, покачивались белые топовые огни на яхтах; бледнело за хребтом продолговатой горы зарево города, а тут перед пляжем, в потемках, изредка синевато искрилось и пропадало фосфорическое мелькание блесен — там, на молу, ловили на самодур ставриду.

Дроздов, не выпуская из памяти скользнувшие по его губам губы Валерии, в том же приподнятом состоянии духа начал говорить какую-то фантастическую чепуху о внеземном разуме, который мог бы, пожалуй, появиться сейчас над морем из этого скопища звезд, из тайн галактики, пора бы в конце концов встретиться с ним для дружеского рукопожатия, только неизвестно, что это даст человечеству — радость или великое несчастье, и принялся шутя утверждать, что человек с назойливым и давно надоевшим милой цивилизации упорством открывает в природе самого себя, как только выходит один на один с ней. Поэтому девиз — сомневаться и верить, сомневаться и желать, сомневаться и действовать — помогает познать не объективный мир, а собственную персону в земном мире, что он попытался сделать сегодня, правда, безуспешно для науки.

«Ты думаешь тогда, когда не думает никто»,— продекламировала Валерия с напускной торжественностью и одним пальцем погладила его по мокрым волосам на затылке. «Чье это, позвольте спросить?» — поинтересовался Дроздов. «Пушкин».— «Ах, Александр Сергеевич, все у него прекрасно и все в общем-то грустно».

Они вернулись в санаторий поздно; в вестибюле был притушен свет, горела настольная лампа за барьером конторки дежурной сестры, заспанной, с недовольным ворчанием подавшей их ключи.

Они поднялись по лестнице на второй этаж, и здесь Дроздов шутливо сказал Валерии, что их, вероятно, напропалую подозревают в безнравственно-ресторанном образе жизни, что они без вины виноваты, а это досаднее всего. И, сказав это, посмотрел в ее полуулыбнувшиеся глаза («Бог с ними»,— ответила она), а возле двери ее палаты он поцеловал Валерию в подставленную щеку («Спокойной ночи»), затем услышал, как за дверью щелкнул выключатель, в глубину комнаты простучали вьетнамки, скрипнули створки раскрываемого окна.

«Непонятный вечер,— подумал он, потирая лоб.— На меня накатило нечто сентиментальное. Ошалел, милый...»

В своей палате, жарковатой, душной, пахнущей сухой пылью штор, он не зажег света, увидев в окне низкую накаленную докрасна луну, рассекающую световым конусом середину моря и, оглушенный непрерывным звоном цикад из парка, исполосованного синими тенями, сел на подоконник, закуривая, долго смотрел на далекие дуги огней по изгибам бухты, на бессонные фонари теплоходов у причалов.

«Да, все идет, как надо, все по-курортному,— подумал он.— Но почему-то незавершенность в душе, что-то недоделанное, что-то ускользающее... Впрочем, чепуха, наваждение и рефлексия. Все хорошо».

Он задвинул штору, загораживая номер от беспокоящего лунного света, спрыгнул с подоконника, босиком пошел к постели по теплому полу, сопровождаемый металлическим стоном цикад, с чувством неопределенной радости и неясной, как дальний костерок, тревоги. Потом уже в постели он слышал сквозь сон незатихающий звон цикад, и одномерный шум ночного моря мнился ему медленными вздохами таинственной и счастливой Вселенной. «Какая это благодать — жизнь... Но что же такое наша жизнь?» — попытался он думать во сне, но, так и не найдя ответа, крепко уснул, с ощущением данной ему благодати жизни.

...Еще не открывая глаз, он почувствовал, как с шорохом кто-то раздвигает шторы и в комнату входит солнечный свет. «Кто же это командует у меня?»

И, улыбаясь в дреме, он открыл глаза и увидел у распахнутого окна Валерию.

Сиреневый прохладный отблеск дрожал на потолке. В комнате стоял свежий запах моря.

— Доброе утро, Игорь Мстиславович, петушок давно пропел...

И Дроздов, потягиваясь, ответил растроганно:

— И в самом деле — великолепное утро. Как я понял, вы уже выкупались. У вас мокрые волосы у висков и вид черноморской сирены, уже поплававшей за бонами.

— Вы угадали.

Аккуратно раздернув шторы, Валерия с влажным мохнатым полотенцем на плече присела на подоконник, из-под полы халатика были видны ее отполированные ровным загаром колени. А за ее спиной — верхушки тополей, залитый ранним солнцем парк, прозрачные тени на дорожках, теплое спокойное море в лиловатой дымке, а вода у берега как увеличительное стекло, сквозь которое четко проступала донная галька, водоросли, — и он даже почувствовал еще не ушедший ночной холодок камней на утреннем пляже, по которому она прошлась босиком.

— Вы как старомодный оптимист, не закрываете на ключ дверь,— проговорила Валерия.— Я постучала, и дверь открылась. Но пришла я вас будить не из-за любви к ближнему. А из любви к хорошему утру. Пойдемте на пляж. До завтрака. Одевайтесь. Я вас подожду в парке.

Состояние приятного легкомыслия и вместе неясного беспокойства не покидало Дроздова, и целый день на пляже, когда с Валерией они заплывали к бонам, когда лежали на песке, дурачась, вслух читали обожаемый ими «Крокодил», купленный в киоске по дороге через парк, оба смеялись, шутили, наблюдая за пляжем, где к полдню все стало бело, прокалено, горячая галька обжигала пятки, под навесами скопилась духота, и они устроили игру в отгадывание характеров и судеб вот этих загорающих часами людей, в изнеможении распростертых на знойном песке, на лежаках, сидящих на полотенцах вблизи слепящего моря с белыми запятыми парусов; всюду блеск, жара, визг детей, южное давящее солнце; всюду почти обнаженные коричневые тела «молодых праздных прелестниц» (по определенню Дроздова), и как бы ненужно скрывающие их стыд черные очки под кокетливыми цветными платочками; и белые дряблые тела пожилых мужчин и увядающих женщин, вселявших ироническую энергию в Дроздова оттого, что он в своем уже немолодом возрасте сейчас относительно здоров, бодр, подтянут по-спортивному, благодаря, вероятно, сорокаминутной утренней разминке, гантелям, воскресному бегу и умеренной еде, к которой был не жаден.

Ему было почему-то приятно говорить Валерии пустое, несуразную чепуху, подмывало острить в безгрешной и бездумной отрешенности. И он говорил, посмеиваясь, указывая глазами на проходящий катер, весь в блеске солнца:

— Гляньте-ка на этот дредноут, Валери́...

— Почему вы меня называете Валери́? По-моему, Валери́ — чуть пошловато.

— А не все ли равно,— продолжал он с беспечностью повесы.— Взгляните-ка на катер, ничего не замечаете? Экая удивительная терминология чиновных хозяйственников на его бортах! Государственное великолепие, непобедимое самодовольное достоинство: «пассажировместимость», «плавсредства»! Не правда ли, это словотворчество вселяет надежду, что все в мире идет, как надо. А знаете, на днях вышел к железной дороге и радостно опешил от плаката минпутсообщения возле переезда: «Оберегайте детей от несчастных случаев. И случаев наложения имн на рельсы посторонних предметов». Чудо! Вот вам поэзия! Выучил как стихи на все случаи жизни. «Оберегайте детей...» Молодцы ребята из министерства, величайшие умницы и человеколюбы!

Она смотрела на него серыми смеющимися в тени панамы глазами, смотрела на полосы седины в его влажных волосах, словно бы понимая и не понимая ребяческое настроение своего шефа, что редко замечалось у непостижимого для многих Дроздова в институте, а он сейчас не сдерживал подхватившую его игривую волну и несся, блаженствовал на ее гребне, радуясь этому весело-шутливому настроению со вчерашнего вечера.

— Не прокатиться ли нам с ветерком на глиссере? — спросил он дурашливо.

— Нет, — ответила она. — Не имеет смысла.

— Представьте очень страшную историю, слышанную мною три дня назад на молу,— продолжал он безмятежным тоном.— В прошлом году двое — он и она — заказывают глиссер на прогулку. Что называется, честь честью купили билеты, сели, поехали. Ветер, море, солнце. Вполне приличные с виду люди. Муж и жена, ничего зверского, подозрительного. Она в джинсах и белой шляпке, он в джинсах и, ясно же, в каскетке. А в море угробили злодейским образом моториста и двинули на всех парах в Турцию. Да горючего не хватило голубчикам. Поймал, конечно, наш сторожевой катер. Шпионы, разумеется, одной иностранной державы. Купюры, валюта, яд, планы заводов, колхозов, совхозов и лабораторий, похищена пластинка с записью песен Пугачевой. Вот вам глиссерные прогулки! Кстати, дельфины...

— Что дельфины?

— Как что? Гуманисты. Когда совершилось убийство и кончилось горючее, вокруг глиссера появились бдительные дельфины и с горящими глазами стали проявлять неслыханный патриотизм. То есть — толкать спинами глиссер к родной сторонушке. Тут субчиков и поймали на берегу. Гуманисты, гуманисты, их девиз: надо уважать человека, человек — это звучит гордо! Вы не согласны?

— О, силы небесные,— вздохнула Валерия.— Подозреваю, что вы любите читать детективы, Игорь Мстиславович. Но я их не люблю.

— Невинная искренность! — Он загадочно взглянул на ее улыбающиеся губы.— Слушайте, Валери́, а что если здесь, на юге, мы с вами вдруг обвенчаемся в церкви? Хоть сегодня. Как вам эта мысль? Я плохо верующий, но обращаюсь к Богу за помощью...

— А зачем? — Она насмешливо подняла брови.— Мальчишеские дерзости?

— А черт его знает! Вы мне, пожалуй, нравитесь, Валери́.

— А если вы мне не очень? Что же тогда?

— Ну, вы говорите ерунду. Я не могу вам не нравиться. Я не такой уж плохой парень.

— Святые угодники! Какая самонадеянность у нонешних ученых.

— Да, да! Во-первых, я не такой уж безобразный. Во-вторых, я заместитель директора научно-исследовательского института, в котором вы работаете старшим научным сотрудником и, стало быть, подчиняетесь мне. Не принуждайте меня использовать служебное положение.

— Уголовное дело. А сколько вам лет?

— Много. А вам?

— Мне тоже. Шестнадцать уже миновало.

— Не имеет значения! Три властителя в мире: то, что было, то, что есть, и то, что будет. Ваше «то» еще будет.

— Я за то, что есть.

Они засмеялись, и он, лежа рядом с ней на жарком песке, под полосатым зонтом, чуть-чуть придвинулся и невинно поцеловал ее в щеку, как это можно было сделать по праву приятельской дружбы мужчины с женщиной. Она в ответ с ласковой настороженностью качнула полями панамы, спросила:

— Вы хотели бы быть молодым? Предположим, в возрасте двадцати шести лет? Или двадцати восьми, тридцати?..

— Никогда. И ни за что.

— Почему?

— То, что я, грешный, понимаю теперь, я не понимал раньше. Даже в мизерной доле. Я говорю об отношении к жизни. И даже не

о жизненном, а о душевном опыте. В то же время, если мы с вами сорвем покрывало с истины, то погибнем, не в силах вынести тяжести познания. Вас это убеждает, милая тридцатилетняя женщина?

Она снова качнула полями панамы.

— Ни в малейшей степени. Вы говорите это легкомысленно, но я знаю, как часто у вас бывает плохое настроение, и вижу, какие бывают глаза.

— Да вы что, Валерий? — не согласился Дроздов преувеличенно удивленно.— Вы это напрасно! Сейчас я — почти древнегреческий киренаик, исповедую удовольствия и отрицаю чувство боли. Вот видите! И если уж не хотите обвенчаться со мной, то предлагаю вам сегодня бездумную жизнь — обед в ресторане где-нибудь за городом — пригласим с собой Тарутина и Гогоберидзе. Как дружков несостоявшейся свадьбы. Как вы?

— Я рада, что вы себя хорошо чувствуете, Игорь Мстиславович.

— Чувствую я себя прекрасно, пульс в норме, никакого дискомфорта, помолодел на десять лет, даже не прочь выпить, встряхнуться и серьезно поухаживать за вами.

— Вы опять? Я ведь вам не верю.

— Я опять. Верьте мне.

— У нас ничего не получится. Вы вдовец и у вас сын. Я разведенка и монашенка. Куда уж нам!..

За двадцать дней пребывания в санатории Дроздов в самом деле почувствовал себя отдохнувшим, посвежевшим, бесследно прошли головные боли и изнурявшая его бессонница, появилась здоровая легкость, некое вольномысленное расположение духа, что радовало его, как выздоровление, как освобождение от угнетенного и нервно-беспокойного состояния, порой необоримо подавлявшего его в Москве при периодических головных болях, которые стали мучить его три года назад, после смерти жены, надолго (и до сих пор) выбившей его из привычного равновесия жизни. Как это ни странно было для сослуживцев, по-современному ядовито настроенных к разным чудачествам и «выпендриванию», он не любил академических домов отдыха и санаториев с их режимом, ездил в отпуск «дикарем», на своей машине, однако в этот раз выбрал именно санаторий, где была возможность общаться с коллегами, — он сознательно не хотел одиночества...

Заехали в маленький загородный ресторан, примостившийся в тени под грецкими орехами на берегу моря, ресторан уютный, вполне семейный, куда привез их на такси Нодар Гогоберидзе, заняли столик у каменной, увитой плющом стены, от которой тянуло плесенной прохладой, и, пока озабоченный Гогоберидзе долго и страстно объяснялся с официантом возле буфета, заказывая шашлык, лоби, соусы, всяческие травки, грузинское вино, Дроздов, ослепленный бесконечностью солнечной морской пустыни далеко внизу, за развалинами стены, напоминавшей руины средневекового замка, посматривал с веселой нежностью на Валерию и Тарутина, склонившихся над меню, роскошно украшенным вязью кавказских вензелей, и размышлял легковесно: «Много ли человеку надо? Душевный покой, трое приятелей, море, загородный ресторанчик, вот это разукрашенное вензелями меню...»

Тарутин в распахнутой на мускулистой груди безрукавке, с патрицианской светлой челкой на лбу, похожий на седеющего юношу, вслух с трагическим выражением читал названия блюд и жадно взглядывал на загорелые плечи Валерии.

— Сациви! Пах-пах-пах! Суп харчо! Вах-вах! Вино — мукузани! Ай-вай! Не желаю! Совсем наоборот. Желаю — водка а-ля флот. Щи преображенские. Каша семеновская. Суп маршальский. Запомнили, Валерия? И десерт — царская забава.

— Господи, нич-чего не понимаю.— Валерия отклонилась от меню, охватила колено руками.— Где вы нашли подобные блюда? Их в меню нет. И что такое — царская забава?

— Этого меню здесь и быть не может! — укоряюще сказал Тарутин.— Я вспоминал азовское меню Петра Первого. Особенно его любимый десерт — царская забава.

— Да что же такое, в конце концов, за забава?

— Прелестные девицы, прошу простить, чему великий Петр, осмелюсь заметить, придавал государственное значение.

— Николай, вы не изменяете своему жанру. Не опасаетесь быть однообразным?

— Злоустая женщина — не всегда дитя истины,— отозвался Тарутин и с безобидным озорством побежденно сник под взглядом Валерии. — Валерия Павловна, заранее согласен, я — медведь с Нижней Тунгуски. Можете убить сразу. Вашей туфелькой. Улыбнитесь еще раз, умоляю. Ну... и глазки у нашего стола! Улыбнитесь. Покажите зубки. Я вас впервые вижу в этом ресторане такой герцогиней. Кто вы? Что вы? Откуда? Как ваше имя?

«Кажется, у него тоже бездумное настроение, как и у меня уже не первый день»,— подумал Дроздов.

— Не ослите, герцог. Изучайте меню.

— Я готов хоть на коленях. Только улыбнитесь. Где ваше герцогство?

— Сидите по-человечески, медведь с Нижней Тунгуски.

Тарутин закряхтел над меню, покорно и театрально проклиная свою недотепистость:

— Где-х мне-х трех бутылках «Мукузани»?.. Глазки, зубки. Герцогиня. Суп харчо. Где я нахожусь? В каком социальном обществе живу?

— Не ерничайте, Коля.

— Я прекращаю...

— Замолчите. Или я упаду в обморок от вашей глупости. Игорь Мстиславович, остановите своего сотрудника, которому пора бы уже не мальчиком, а мужчиной стать.

«Да, конечно, беспечная жизнь на берегу моря. Москва за тридевять земель, и действительно — загорелая герцогиня, изнеженная морем и солнцем»,— подумал Дроздов, не без удовольствия наблюдая в этом богом созданном на берегу моря безлюдном ресторанчике обычно резко-острословного Тарутина, но сейчас благодушно занятого ничего не значащей болтовнёй с неподдающейся Валерией, в тонкой прозрачной кофточке, в белых брюках. Он одновременно поглядывал и на солидного Гогоберидзе, внушительным верчением пальцев объясняющего что-то официанту около буфета.

— Друзья,— сказал Дроздов, обращаясь к Тарутину и Валерии.— Что вы можете обнаружить в этой летописи кулинарии, если сам Гогоберидзе взялся за наши желудки?

— Начали князья про малое говорить как про великое,— произнесла Валерия, певуче окая, как, видимо, окали на древней Руси, и медлительно улыбнулась, обдавая светом затененных панамой глаз.— По-моему, на всех нас действует юг как-то оглупляюще. Возникают какие-то миражи. Такая тонкая грань между воздушными замками и реальностью...

— К бесу миражи и воздушные замки! Слушайте меня! Это я вам говорю, Нодар Гогоберидзе! Я командую сегодня! Я презираю всякое дилетантство! Я вас привез в грузинский ресторан, а не в забегаловку!

Гогоберидзе, грузный, обремененный брюшком, выпирающим над тесными джинсами, с волосатыми руками, подошел к столу, отодвинул соломенное кресло, после чего, отдуваясь, сел, обвел всех загадочно тоскующими глазами, фыркнул крупным носом и бесцеремонно отобрал меню у Тарутина.

— Подкованы мы. Изучаем блюда? Хохот. Очень подкованы,— заговорил он презрительно.— А подковы тяжелые. Тянут. От земли не оторвешь. А ходить надо...

— Правильно, Нодар,— оживился Тарутин.— Сплошь в идеологических подковах!

— Нич-чего не правильно. Вношу существенную поправку на твое «правильно»! — возразил Гогоберидзе, и выпуклые его глаза остановили Тарутина в излишней поддержке.— Один инспектор ГАИ на Комсомольском проспекте стоял и меня все время задерживал — берет документы, смотрит, как баран, и молчит. Однажды спрашивает: «Нодар Иосифович, сколько мне лет?» «Сорок два»,— говорю. «Как узнал? Молодец!» — «А у нас общий знакомый».— «Кто?» «Начальник ГАИ». Находчивый я, а? Проезжаю сейчас, под козырек берет. Так вот, Коля, ты в этот документ не смотри, а ищи сразу начальника, ответственное лицо. Без этого жалкого документа, — Гогоберидзе небрежно бросил на стол меню и сделал замыкающий жест рукой.— Все будет на высоком уровне. Надо только немного подействовать на национальное чувство, на кавказскую гордость. Здесь повар — грузин. Я не имею права сгорать со стыда за своих сородичей.

— Нодар, это — национализм,— упрекнул Тарутин.— Стыдись, старик.

— Я гражданин мира! — воздел волосатые руки Гогоберидзе.— Но я должен был сказать свое слово.

Глава четвертая

Все было на высоком уровне, обещанном Гогоберидзе, он «сказал свое слово» — шашлык, изготовленный из молодого барашка, распространял жгучие чесночные запахи истекающего соком поджаренного мяса, свежего лука; сухое вино (специально для московских гостей) было ледяным, пригашивало во рту огонь перца, теплый лаваш, разрываемый руками, был вкусно упругим, и Дроздов, с молодым аппетитом впиваясь зубами в сочное мясо, запивая его вином (как в студенческие годы, когда появлялись деньги), все так же испытывал или некая воля заставляла его испытывать безмятежное настроение ничем не скованного человека, свободного от каких-либо обязательств и забот в кругу своих коллег. Все суетное, московское осталось в другой жизни, и ни единой мыслью не хотелось из этого состояния возвращаться туда, в растопленный асфальт улиц, в духоту ночей далекой столицы, где царствовали телефонные звонки в пустой квартире, неистовствовали в его институтском кабинете, — там оставалась многомесячная бессонница, нервное напряжение.

«Вот и не очень разговорчивый в институте Нодар — чудесный малый,— думал он, видя, как со смачным причмокиваньем Гогоберидзе хватает шашлык белыми зубами с шампура, как берет двумя обмасленными пальцами травку с металлического блюда.— Я как-то не замечал его болезненное товарищество, а это сейчас — редкость».

— Потрясающий новый анекдот,— говорил Гогоберидзе, делая страшные глаза и облизывая пальцы.— Одному знаменитому профессору медицины задали вопрос. Когда спит, куда кладет бороду — под одеяло или сверху одеяла? Вот такой коварный вопрос. Задумался. Потускнел. Голова пошла кругом от мыслей. Бессонница. И так положит бороду и эдак. Кошмары. Глаза на лоб лезут. По ночам из его комнаты слышался дикий хохот. Не выдержал. Обратился к врачам. Консилиум. Посоветовали: сбрить. Сбрил, рыдал. Едва не сошел с ума. Звери! Как теперь решать проблему?

— Очень смешно,— сказала Валерия.

— Ха-ха,— произнес Тарутин и подлил себе вина.— Поразительно — анекдот без бороды. Повтори еще раз. Хочу насладиться пиршеством остроумия. Заявляю тебе, что я смеюсь: ха-ха-ха!

— Не ха-ха, а хо-хо,— возразил невозмутимо Гогоберидзе, чокаясь с Тарутиным.— Этот анекдот рассказываю сто первый раз. Сто второй при свидетелях не могу рассказать. Краснею. Нехорошо. Не разрешается повторяться. Ваше здоровье, друзья, я вас всех очень уважаю и приветствую за этим столом! Сейчас я крикну «ура...».

Он поднял бокал, держа его двумя скользкими от жира пальцами, волооко и влюбленно повел глазами по лицам друзей, но Тарутин перебил его:

— Не кричи «ура», Нодар, успеем. В светлых далях пятилетки. И недалекого коммунизма. Отпиваем по глотку и — аллаверды. Мой тост банален, но все-таки полагалось бы мужчинам тяпнуть за всех прекрасных дам, за редкость сопричастности...

— За что? За что? — спросила Валерия недоуменно.

— Меня не перебьют даже эмансипированные женщины... Я хочу тяпнуть за то, что сатанинское зло есть отсутствие любви, а любовь к слабому полу в конце концов — единственный заповедник на земле. Иначе оборвется род человеческий. Но в наше время человечество придумало, дьявол ее дери, эмансипацию!.. И началась необъявленная война полов!

— Ай, какой тост ты испортил, Коля! — воскликнул Гогоберидзе сокрушенно.— Хотел философию сделать тостом, а тост философией, и — обидел женщин! У меня с Полиной четверо детей. Рожаем. Испортил тост!

— Родимый Нодар, цивилизация вырвалась из-под власти разума и исказила в первую очередь природу женщины. — Тарутин повертел в руке бокал с красным вином, ловя им солнце, горячим веером пробивающееся в ресторанный дворик. — Прелестный пол имеет свойство. Слабость обращает в преимущество. Но я, Нодар, не отдам ни пяди своей души за чужое мирочувствование. Миро-чувствование,— повторил он значимо и откинул седеющую челку на лбу,— что тебе, неисправимому счастливчику и фаталистическому оптимисту, вряд ли понять.

— Оптимизмом унижаешь? — Гогоберидзе щелкнул пальцами и заерзал в кресле, ворчливо говоря: — Где содержание тоста? Безыдейщина какая-то. Ненаучно.

— Нодик, великий оптимист нашего института! Каждое общество имеет такую науку, какую оно заслуживает,— повысил голос Тарутин и развел грудь в знак удивления.— Содержание принадлежит всем. Форма — достояние талантов.

— Черт знает что! Вы просто говорите стихами. — Валерия пожала плечом, закинула ногу за ногу. — Смыкание кругов, боже, боже... Мистическое созерцание равнин души и скорби. И что, как? Не пора ли избавляться от глупости, Коля?

— Я хочу избавиться не от глупости и даже не от скорби, а в первую очередь от слабости,— произнес Тарутин с наигранной грустью.— Я хочу выпить за освобождение от современных представительниц слабого пола, который дискредитировал себя, желая быть полом сильным. Я пью за освобождение.

«Не очень понимаю полускрытую язвительность Николая,— подумал Дроздов.— Иногда кажется, что между ним и Валерией как будто есть что-то тайное. Но почему сейчас он так, в сущности, безжалостно заговорил с ней, дважды женатый и дважды разведенный сердцеед? Почему-то от него уходили жены. Два развода по инициативе жен. Что ж и Юлия ушла от меня без слез и печали, как это кажется со стороны».

— Занятно, Коля,— проговорила Валерия, касаясь губами края бокала.— Вы сказали правду и не уклонились.

— То есть — мужскую правду?

— Только ли? А женская?

— Женская правда — это радость ошалевших от слюнтяйства дураков, простите тысячу раз,— с усмешливой непреклонностью ответил Тарутин.— Что-то в этом роде.

— Николай, в чем дело? Почему так грубо? — взмахнул над столом руками Гогоберидзе. — Мы все мужчины — дураки? О чем речь? Не щадишь!

— Речь о том, что слабый пол хотел бы весь пол мужской окунуть в эротическую купель. И подчинить его. Стало быть, произошло бы оскудение душ. Но, к счастью, мир оказался гораздо шире кровати,— сказал Тарутин и, встретив удивленно-вопросительный взгляд Валерии, добавил неуязвимо: — Когда мы покоряемся чьей-либо воле, мы предаем самих себя. Если мы с трудом подчиняемся воле гения или пророка, то что говорить о послушании женщине?.. Смешно!

— Кто же ваш главный враг? — спросила небрежно Валерия, тихонько покачивая закинутой на ногу ногой и через стол разглядывая овлажненное лицо Тарутина, его по-юношески круглую столбообразную шею, его развитую грудь с мистическим «куриным богом» на тоненькой цепочке.

— Какой? Унутренний али унешний? — преувеличенно удивился Тарутин.— Хотите познать мою душу от А до Я? Ясно. Враг унутренний — многоликое существо в юбке. Враг унешний — гнилой империализм.— Он нарочно исковеркал слово.— Этот сегодняшний унутренний и унешний враг остается врагом и завтрашним.

— Плакать надобно одному,— неприязненно скривила губы Валерия.— Или одной, а не на людях. Тихонечко.

— Как это следует понимать?

— Как угодно, но главное — вы боитесь... вы чего-то трусите.

— Одиночество, Валерия, это все время быть рядом с самим собой — лучшее состояние. Вот тогда я счастлив.

Он глотнул из бокала, втягивая тонкими ноздрями запах вина, спокойно повторил: «Вот тогда я счастлив!» — словно бы подтверждая свою непоколебимость в познанной им тайне личной жизни, где происходит и послушание женщине, и предательство женщиной.

Нет, он не был груб или резок, он был с Валерией то непреклонно ироничен, то серьезен, то снисходителен, и это, по-видимому, злило ее. И Дроздову казалось: они некстати и не вовремя с милой колкостью мстили за что-то друг другу в этом райском уголке на берегу моря, где царствовала древняя лень августовского дня, пронизанного с самого утра знойным блеском, вызывающего желание жить доверчиво, просто без лишних раздумий над тем, что есть сама жизнь. Однако Дроздов почувствовал, что утреннее настроение курортного бытия чуточку заколебалось, но все же не хотелось утрачивать в этом тенистом уюте грузинского ресторанчика прежнее душевное равновесие.

— С некоторых пор я не сомневаюсь, что нет нужды форсировать жизнь,— полусерьезно проговорил Дроздов.— И вот почему. Если в асинхронном двигателе увеличивать нагрузку, то он, конечно, увеличивает момент вращения. Но у двигателя есть критическая точка, после которой даже пылинка может его остановить. Кто из нас, Коля, не асинхронный двигатель?

— Прошу прощения, Игорь! — упрямо сказал Тарутин.— Твоя пылинка просвещенными мещанами называется несовместимостью. Чушь и ересь! Любовь сегодня — это выхлопы отработанной тысячелетиями страсти. Экологическое неудобство. Умирают от окиси углерода, а не от пылинки любви.

Валерия, улыбаясь, проговорила речитативом:

— И только наука и глупость одинаково бессмертны, правда? Но... не антиморальная ли это мораль, Коля? Или ловко организованная провокация с вашей стороны?

— Пессимист! — возмутился Гогоберидзе и, шевеля бровями, переглянулся с Валерией. — Не корректно! Зверская натяжка! Не щадишь, Коля!

— Мораль, наука, любовь — что за дичь!

Тарутин расправил плечи и отвалился на спинку соломенного кресла, заскрипевшего под тяжестью его сильного тела, сумрачное упорство проходило по его освещенному солнцем лицу.

— Наука! Какая наука, Валерия? — продолжал Тарутин с сердцем.— Наука прогрессивна, и потому она в конце концов пожирает себя! Насилие над талантом — вот состояние нашей науки!

— Ну, вот у слов вырастают зубы! — рассмеялся Дроздов.— Науку — на лопатки, ученых — к стенке. Что теперь делать? Непочтительность к науке — проявление дремучего духа,— добавил он примирительно.— Ты оглоблей лупишь всех подряд, дружище. Стоит ли без разбора?

— Стоит! — выговорил Тарутин и поморщился. — А впрочем... Не все ли равно муравью, что думает тот, кто насмерть раздавливает его страшной подошвой? Какая, к дьяволу, сейчас наука! Это расчетливый мафиозный заговор против природы, а мы — наемные убийцы! Раздавливающая жизнь подошва...

— И мы с тобой, Николай?

— И мы с тобой! — подтвердил Тарутин нехотя, отпил из бокала и до пояса расстегнул промокшую пóтом рубашку. — А четыре пятых нашего родного института — объединение бездарных лукавцев, прикрытых учеными званиями. Смешно!

— Поэтому ты не веришь в наш институт? — спросил серьезно Дроздов.

— Нет, Игорь, не верю. Япония сегодня — это наша наука через двадцать лет.

— И четырем пятым не веришь абсолютно?

— Если даже можно верить лично тебе, то только до определенных границ,— ответил сухо Тарутин.— Власть развращает и таких либералов, как ты...

— И что же за этой определенной границей?

С некоторой заминкой Тарутин потер влажную переносицу, прорезанную поперечной морщинкой, проговорил, будто трезвея:

— Не хочу с тобой ссориться. Не помиримся ведь.

— Валяй, договаривай, если уж взялся крушить правдой-маткой,— разрешил Дроздов не без нарочитого простодушия, однако не представляя возможную противоестественность непримирения в их взаимоотношениях.— Хочешь, я напомню для твоего облегчения, что обо мне говорят мои тайные оппоненты типа академика Козина? За определенными границами — пустыня некомпетентности и честолюбие. Или что-нибудь в этом роде.

— Плевать мне на Козина. Но есть понятие — согласие с изменой,— выговорил сумрачно Тарутин, опять налил себе вина, отпил несколько глотков, не закусывая.— Ты помогаешь предательству...

— Куда мы идем, несусветные люди? Во имя чего говорим такие убивающие слова? — подал голос Гогоберидзе и перестал жевать, вытер замасленные пальцы салфеткой.— Это не дискуссия! Это — ссора!

— Подожди напиваться, Николай,— сказал Дроздов и дружески положил руку на темное от загара запястье Тарутина.— Какую измену ты имеешь в виду?

— Вся твоя история с семейством Григорьевых. Начиная с твоей женитьбы, Игорь.

— А ты знаешь, где в жизни граница справедливости и измены?
— Не испытывал.
— Тогда не трогай прошлое.

Тарутин, сжимая бокал в пальцах, помолчал, обметанные капельками пота скулы его отвердели, видно было, что ему тяжело перебороть сейчас что-то в себе, и он наконец сказал решительно:

— Знаю, что раз в жизни мы все выходим на единственную дорогу.
— Какую?
— Осознания своей вины, громко говоря.
— Всякий перед всеми и за всех виноват. Это Достоевский, кажется. Продолжай, Коля.
— Я знаю, Игорь, что наша многопочтенная наука летит вверх тормашками, сверкая голой попой, а ты еще ищешь ничтожные точки соприкосновения с академиком Григорьевым и обреченному хочешь дать глоток воды перед смертью. А это не спасение. Твой конформизм — бессмыслица и измена.
— Кому?
— В том числе и самому себе. Не имеет ли это подтекст, Игорь?
— Какой?
— Поссоримся ведь. И не помиримся.
— Валяй, говори. Что за подтекст?
— Соглашательский! Ты знаешь, о чем я говорю! — отрезал Тарутин, и вроде бы холодной колючей пылью обдало Дроздова. — Ты прав. Это прошлое.

В давней дружбе с Тарутиным всегда вызывали у Дроздова любопытство и уважение его прямая непростота, несогласие, грубоватая не подготовленная заранее формула, то есть недремлющее напряжение неуправляемого расчетом ума, порой уходившего от неразрешимых проблем жизни в горькие оголенные слова отчаяния и цинизма. Но то, что именно сегодня, вот здесь, в этом богоданном ресторанчике, Тарутин, кому он доверял полностью, с нежданной неприязнью обвинил его в некой измене, — это, вероятно, можно было попытаться объяснить рабочими перегрузками Николая в последний год, бесконечными поездками на Чилим, боями в Госэкспертизе, накопленной усталостью до предела, вследствие чего нередким снятием стрессов был «зеленый змий», обманчиво помогающий выйти из переутомления.

— Я не хочу, Николай, вступать с тобой в состояние войны, — сказал Дроздов.— Подымаю белый флаг. Хочу мира и братства. Завтра, если ты окажешься прав... я сам вынесу себе приговор с утонченным мучительством. Согласен? Как во времена Достоевского. Ты согласен хотя бы на перемирие или отсрочку?

Он проговорил это с вынужденным миролюбием, понимая неискренность своего великодушия, которое почасту спасало его от срывов, от обижающей больше, чем резкость, яростной иронии, этого выверенного средства самозащиты. Товарищеская благость безоблачного времяпрепровождения погасла, он пожалел, что утрачивает утренний огонек в душе — и, как бывало иногда, почему-то мелькнула мысль о возможности еще не случившегося несчастья. Чтобы поддержать давешний жарок умиротворения, он с веселой загадочностью взглянул на Валерию, намеренный сказать: «Что-то вы примолкли, Валерий, и сразу стало грустно»,— но не сказал. А она, внешне безразличная к их разговору, подперев пальцем висок, рассеянно смотрела на море, где в солнечной неизмеримости ползли низкие облака, а внизу золотые пятна скользили, двигались по затененной воде. «Мое отношение к ней должно быть ровным. Но что так задевает меня в ней? Неужели ревную?» — подумал, он и вдруг испугался, что потеряет равновесие, не выдержит сейчас недоброты Тарутина, о чем будет потом сожалеть, и, умом призывая на помощь терпение, подавил в себе толчок бунта.

— Знаешь, я устал от наших неразборчивых объяснений,— тихо сказал Дроздов.

Тарутин молчал, не отирая пот, бегущий по вискам. Его белый лоб с прилипшей русой челкой был наклонен, глаза упорно опущены, губы сдавлены в дерзкий изгиб, в его облике проступило что-то упрямое, отталкивающее, и Дроздов подумал: «Жаль, что Николай много пьет и звереет. На лице обвал, господи прости... Но дело не в этом. Какое же добро без зла? Какая дружба без ненависти?»

— Тогда привет,— мертвым голосом выговорил Тарутин, с жадностью осушил бокал и поморщился, как от изжоги.— Очень благодарен. Извини за сенсацию безумия. Впрочем, вся наука безумна, а наша — импотентна.

— Кто импотент? Кого имеешь в виду? Оскорбляешь всех! — вмешался Гогоберидзе, бросил в блюдо лимон, сок которого выжимал на мясо, и замотал рукой. — Нет, ты сошел с ума! Прямо зла на тебя не хватает!

Тарутин встал с неимоверной, непьяной легкостью, несоразмерной его атлетически сильному телу, расправил грудь.

— Успокойся, Нодарчик, я имею в виду почти всех! Всех мужей науки с их формулами, атомами, электронами и позитронами, с их дурацкими теориями относительности! Даже с поисками единой теории поля! — Он хрипло захохотал, поднес два пальца к виску, вроде бы взял под козырек.— Изрекаю нелепые колкости. Задушил общими местами. Чтобы познать устройство материи, надо задавать вопросы природе, а не смотреть в рот начальства. Агусиньки! Я вас всех ненавижу, всех ученых! Всех разрушителей материи поголовно! И себя не исключаю из вашего числа! Честь имею, мужи науки! Честь имею! — и, изображая приторно-клоунскую изысканность, шаркнул ногой, глядя на Дроздова светлым взором с холодком вьюги. И Дроздов, едва справляясь с разгибающейся пружинкой бешенства, сказал вспыльчиво:

— Морж ты огородный, Николай, со всеми твоими формулами! Я что — враг твой?

— Нет. Ты меня еще не предал. Хотя предавали другие.

Он держался на ногах твердо, речь была ясной, как всегда, только обильный пот обливал его развитые бицепсы, способные гнуть железные прутья, его мощную грудь, видную в распах влажной безрукавки, а лицо, тоже потное, стало отчужденно дерзким.

— Я ценю твое терпение. Благодарю,— со злым вызовом добавил Тарутин.— Что день грядущий нам готовит?

Они знали друг друга так давно, что сама эта давность была неудобством в последние годы, несколько отдалившие их в силу разных обстоятельств, между тем, как все уходило в зимние стужи Сибири, к той бессонной, после возвращения из Братска, ночи, о которой позднее оба не хотели вспоминать. Тогда за пьяным разговором в комнатке Дроздова близ Павелецкого вокзала порхнуло между ними слово «карьера», но сейчас же замялось, ибо опасно было обоим ожесточаться в пору своей отчаянной молодой решительности, связанной с бесшабашной женитьбой Дроздова, женитьбой, по мнению Тарутина, ошибочной и расчетливой. И это воспоминание мучило порой Дроздова, как болезнь.

— Знаешь, Коля,— сказал он.— Стреляться на дуэли нам давно надо было, только люблю я тебя, медведя из тайги, по-прежнему.

Он говорил это шутливо, но в душе нарастало ощущение мутной тревоги, как если бы началось случайное скольжение на краю обрыва, а прекратить скольжение и остановиться уже просто нельзя было.

— Вас действительно обоих можно сейчас возненавидеть! — послышался ровно-насмешливый голос Валерии, и Дроздов, удивленный, увидел, как ее серо-синие глаза заискрились жестким смехом. И он спросил только:

— За что возненавидеть?

— За ваше спокойствие и ангельскую кротость. Какая эйфория! — И неожиданно вставая, она через силу озарила Дроздова фальшиво-прельстительной улыбкой.— Какая все-таки сила воли! Какое умение владеть простотой жизни,— прибавила она с прежней насмешкой в голосе.— Вы сегодня хотели со мной обвенчаться — не раздумали?

— Был готов,— ответил он, пробуя удержаться на границе шутливого спокойствия.— Как я помню, вы мне отказали.

— К счастью для вас,— сказала она и, выпрямляясь, сделала шаг к Тарутину, глядевшему на нее неподвижными глазами.

Она ладонью осторожно повернула в сторону его голову, чтобы он не смотрел на нее, стала застегивать пуговички на его распахнутой до пояса рубашке, говоря протяжно:

— Что ж, пойдемте, правдолюбец. Я иду с вами, наивный женоненавистник. Дурак вы, ей-богу!

И она с неотразимой смелостью поцеловала его в потную щеку.

Гогоберидзе, в молчаливом недоумении слушая весь этот странный за столом разговор, нарушивший ритуал приятельского шашлыка, пробования разнообразных кавказских закусок, дегустацию коньяка и сухих вин, хозяйственный и гостеприимный Гогоберидзе с некоторого момента перестал понимать смысл этого обеда, обещавшего красивые тосты, уважительное внимание друг к другу, но перешедшего из товарищеского согласия в несогласие, возможное в Москве, но немыслимое здесь, в этом южном благолепии на берегу моря, прогретых солнцем пляжей, зеленой воды, запаха мокрых камней, где не должно было быть даже намека на раздражение между коллегами.

— Куда, безумцы? — вскричал Гогоберидзе.— Мы приехали на машине и уедем на машине! Зачем я вас сюда привозил? Я вызову такси!

— Привет,— ответил Тарутин с небрежительной пьяной учтивостью.— Пошли, Валерия, на шоссе, ловить машину. До встречи в Судный день.

Дроздов откинулся в соломенном кресле и долго с задумчивым вниманием смотрел, как по древнему камню ресторанчика шли к выходу Тарутин и Валерия, удаляясь меж столиков, мимо обвитой плющом полуразрушенной стены римской крепости. Полдневные лучи падали сквозь листву над двориком жарким веером сверху, мягко плыли по белой панаме Валерии, полосами двигались по широким плечам Тарутина, облепленным рубашкой,— и это несочетание стройности в ее выработанной, мнилось ему, походке и грубоватой силы в шевелящихся лопатках Николая неизъяснимо задело его.

Что ж, ему не хватило воли растопить корку льда, намороженного незастенчивым в своей прямоте Тарутиным. Однако то, что произошло между ними, могло случиться, пожалуй, с недругами, но недругами они не были никогда, наоборот — между ними была потребность общения в московской обстановке современного хаоса, несогласия и горечи противоречий.

— Ай, как нехорошо на нас смотрят! — сказал смущенно Гогоберидзе.

— Кто смотрит, Нодар?

— Люди.

В раздумье Дроздов взглянул на единственный занятый столик, за которым недавно шумели молодые грузины, увидел их сочувственно повернутые лица и кивнул им с приветливой любезностью, в то же время думая о Тарутине:

«А может быть, вся эта наша суета вместе с искренностью, дружбой и взаимопониманием — трагикомедия, дурной сон, приснившийся чудаку».

Да, ими обоими не была найдена чистая правда, ничем не подпорченная необходимость и целесообразность всего того, что произошло

и происходило за последние годы, изменив жизнь Дроздова и насыщая жизнь обоих разочарованием и горькой болью. И мучительно было подчас сознавать безоглядную открытость Тарутина, его цинично-наплевательское отношение к собственной судьбе, измерявшего срок существования земли и рода человеческого в пределах десятилетия.

— Что с ним? Умный человек, а что творит! — заговорил Гогоберидзе, с досадой озирая блюда на столе.— Шашлык не доели, вино не допили! Наговорили друг другу целый воз обид! Я очень огорчен!

Весь жаркий, всклокоченный, как после тревожного сна, Гогоберидзе говорил и вздымал непонимающе широкие брови, и Дроздов сказал:

— Простить — значит понять, Нодар. Это известно.

— Я его принципиально не понимаю! — воскликнул Гогоберидзе.— Вас не понимаю!

— Куда ни крутите, Нодар, но Тарутин — это Тарутин.

— Личность, которая носит в «дипломате» веревку. Для чего! Чтобы повеситься в свободное время? — вскинулся Гогоберидзе.— Он — пессимист! Не смейтесь, он веревку носит, большой чудак!..

— Веревку? Серьезно?

— Я его уважаю как инженера... Но он пессимист и актер! Крикун! Не говорю уже о том, что сексуально необузданный! Два раза был женат! Страшный бред!

— Нам не дано право его осуждать,— остановил Дроздов и иронией постарался выровнять качнувшиеся весы: — Ну что же, будем продолжать пить «Мукузани», есть шашлык и наслаждаться жизнью или покинем этот экзотический шалман?

— Будем продолжать назло врагам,— с хмурой серьезностью ответил Гогоберидзе, разлил в бокалы вино, чокнулся с Дроздовым, выпил, махнул рукой и, подымаясь, договорил озабоченно: — Пойду скажу, чтобы свежий шашлык приготовили. Остыл, к сожалению.

— Да, пожалуй, Нодар, пожалуй...

Дроздов рассеянно посмотрел ему вслед и вдруг передернулся, озябнув в горячем воздухе нагретых камней ресторанчика, оттого что все московское опять точно бы возвращалось по тем же набившим оскомину городским законам, где с некоторых пор утратился правдивый и естественный смысл необходимости и остались лишь условность времени, суета духа, вражда честолюбий.

Глава пятая

Телеграмму передали ему в сокровенный час заката, когда угасающий день соприкасается с вечностью, с бессмертной благостью надежды на нерушимый мировой круговорот,— и Дроздов, выкупавшийся, освеженный морем после дневного сна, сначала легкомысленно подумал, отвыкнув за месяц от сношений с Москвой, что телеграмма заблудшая, в адресе произошла ошибка, но тут же прочитав краткий текст, больно ударивший его словно бы неожиданной ложью, нелепостью сообщения, он хрипло сказал притихшей за столиком дежурной сестре: «Благодарю» — и с желанием глотнуть воздуха вышел в парк, не поднявшись к себе в палату.

Был предвечерний час, тишина, покой, беззвучность в пространстве моря, где чайки на стеклянной воде против еще светящегося неба выделялись застывшими черными силуэтами, а одинокие вдали фигуры гуляющих по пляжу двигались без единого звука, как в тихом мираже, и не слышно было ни шелеста волны, ни шороха песка, ни человеческого голоса.

Он развернул телеграмму и снова прочитал короткий текст:

«Федор Алексеевич умер, умоляю приехать. У меня нет сил. Нонна Кирилловна».

И Дроздов босиком, в шортах, с сырым полотенцем через плечо ходил по дорожке парка, ознобно ощущая грудью мокрый холодок полотенца, и в замешательстве повторял вслух:

— Неужели Григорьев?..

Через десять минут он поднялся к себе в палату, оделся, затем узнал у дежурной расписание автобусов и засветло поехал в городскую кассу Аэрофлота, доставать билет на первый утренний рейс в Москву.

Что ж, не один год между ними складывались непростые отношения: их позиции и выводы не совпадали во многом. Как говорили с некоторых пор в институте, за Дроздовым, бывшим зятем академика Григорьева, была относительная молодость, спасительное умение держать себя в руках, за Григорьевым — и многоопытная жизнь, и физическая немощь, но духом, поражая всех, он не увядал и не сдавался, и фанфары побед в институте и Академии наук неизменно звучали под его знаменами, и лишь отзвуками мерещились на оборонительных позициях Дроздова, рождая слухи об их нетерпимости друг к другу, об изживании Дроздова из института и о его уходе на вольные преподавательские хлеба.

Он, Дроздов, один из заместителей Григорьева, не сопротивлялся коридорным слухам («Да, да, мечтаю о свободе с прошлого воскресенья»), он знал, что всякое оправдание поспособствует для еще более увеличенного распространения словесного яда вперемежку с кулуарным перемигиваньем. Но это непротивление, принимаемое иными за характер, иными за равнодушие, было той принятой им формой поведения, которое стоило ему нелегких душевных затрат. И он не мог никому объяснить, что с тех пор, как в последние четыре года обострились его отношения с семьей Григорьева, внешне ровное настроение было единственным спасением. Он боялся сорваться, как однажды случилось с ним в год смерти жены, и, боясь этого, принимал тайные уколы оппонентов с ироничным простодушием человека, не желающего отстаивать свою непогрешимость.

«Мы жили с ним по воле двух правд,— думал Дроздов о Григорьеве, спускаясь на следующее утро по дорожке парка к пляжу.— Я был настроен против него. Как он относился ко мне? Скрывал свою недоброжелательность и боялся? Нет, думаю, он ненавидеть не мог...»

Он спустился к пляжу, и здесь перед нескончаемым сверканьем воды, перед знойной желтизной песка, приостановился на каменных ступенях, уже пышущих в этот час после завтрака солнечным жаром, беспричинно раздраженный обилием полунагих тел на песке, на лежаках, в лиловой тени под зонтиками, оглушенный визгом детей, бьющих ногами по воде возле берега, возбужденными криками молодых людей в плавках, со сладострастием хвастливой силы бросающих по кругу волейбольный мяч, который, упруго звеня, взлетал над синевой. И Дроздов, почему-то сомневаясь, что встретит здесь Валерию и Тарутина, и тщетно пытаясь найти их в пестроте купальников и зонтов, выругался про себя: «Содом и Гоморра»,— но тут, раскачивая бедрами, мощными, как танк, к нему приблизилась девушка, кокетливо заиграла из-под громадной панамы коварными глазами, пропела томным голосом:

— Ваша знакомая... ваша Афродита находится около зеленых зонтиков. С каким-то невежливым молодым человеком. Я вам сочувствую. У нее плохой вкус. Идите туда, вы ее найдете.

— Благодарю вас за донос,— проговорил он с мрачной галантностью и пошел по пляжу, приготавливая невысказанные вечером первые слова о кончине академика Григорьева, о вызове телеграммой в Москву, о необходимости своего отъезда.

— Почти не рассчитывал найти вас в муравейнике,— сказал Дроздов, подходя к зеленым зонтикам в конце пляжа.

Валерия, лежа на песке, повернула к нему голову, сняла противосолнечные очки и несколько секунд, щурясь от солнца, внимательно разглядывала его сдержанно-серьезное лицо. Тарутина рядом не было: на топчане небрежно валялось мохнатое полотенце, «История античной эстетики» Лосева, из песка торчали полузасыпанные мужские вьетнамки, поодаль в теневом полусвете зонтика висели его брюки; сам он, видимо, был в море, он заплывал, по обыкновению, далеко за буи.

— Ну, что? — с ласковой ленью спросила Валерия.— Я вас не видела невероятно долго, со вчерашнего вечера — и вы вроде даже изменились как-то. Почему насупились? Неужели на вас так подействовал Тарутин?

— Не в этом дело. Не в этом, — ответил Дроздов, невольно думая, что вот это тонкое, кофейное, с плечами гимнастки тело Валерии тоже подвержено двум измерениям, двум правдам — жизни и смерти,— о чем когда-то в ноябрьский вечер говорил Григорьев, теперь уже принадлежавший правде одной.

Валерия села на песке, обняла руками ноги, положила подбородок на колени.

— Я не знаю, что с Николаем... Боюсь — он разрушит себя. Его не убили женщины, его погубит вино. Жаль.

— Жаль, очень жаль,— повторил Дроздов и, смутно следуя за словами Валерии, договорил: — Гогоберидзе сказал мне, что он демонстративно носит в «дипломате» веревку. Не верю в эту дикость.

Она сбоку только взглянула на него и не ответила.

Помолчав, он начертил на песке резкий зигзаг, подобный молнии, сказал негромко:

— Я получил печальную весть из Москвы. Умер Григорьев. Я должен лететь сегодня.

В ее глазах мелькнул испуг, она прошептала:

— Беда какая...

— Телеграмму я получил от Нонны Кирилловны.

— Таких, как он, в нашем институте уже, наверное, не будет,— тихонько сказала Валерия, потираясь подбородком о колени. — Такими я представляла старых интеллигентов. Человек из девятнадцатого века. Когда вы летите в Москву? Когда похороны? А вот и Николай... «на брег из вод выходит ясных», — добавила с видимой неудовлетворенностью оттого, что им помешали договорить, и надела противосолнечные очки, затеняя лицо. — Господи, как все неожиданно!..

Тарутин вышел из моря, сияющего расплавленной ртутью за его спиной, очень узкий в бедрах, весь вылитый из гладкой бронзы, стряхнул ладонями капли с бугристых бицепсов, с груди, затем, на миг расслабив тело, тряхнул руками, как если бы закончил физические упражнения, и двинулся неспешащей походкой к зеленым зонтикам, еще издали увидев Дроздова.

— Привет,— хмуро бросил он Дроздову и, обдав свежестью влаги, йодистой влажностью моря, повалился животом на горячий песок, вкапываясь пальцами в его глубинную прохладу, с преизбыточным удовольствием застонал, показывая этим свою эпикурейскую независимость от целого мира, от всех его треволнений.— Вода сказочная, только появились медузы. Пожалуй, к похолоданию.

— Я улечу сегодня,— проговорил Дроздов, бегло глянув на Тарутина, и обратился к Валерии: — Когда похороны — не знаю: В телеграмме ни слова. Билетов в кассе тоже нет. Посоветовали приехать в аэропорт за два часа. Рейс в пятнадцать тридцать.

Тарутин поднял глаза; после воды, после долгого плавания был особенно ясен его светлый, холодноватый взор.

— В чем дело, Игорь?

«Он воспримет это известие по-своему»,— подумал Дроздов и не успел ответить — Валерия опередила его:

— Умер Федор Алексеевич Григорьев. Я тоже хочу улететь с вами, Игорь Мстиславович, если возьмете,— сказала она, уже выключая из внимания Тарутина.— Я должна быть на похоронах. Я обязана ему...

— Не знаю, успеем ли мы на похороны,— проговорил Дроздов.— Так или иначе, выезжать в аэропорт надо заранее, если вы решили лететь со мной. Собирайтесь. Такси я вызову.

— Ясно! — И Тарутин, выдернув пальцы из песка, оттолкнулся от земли и сел, опустил руки между колен, с силой сжимая и разжимая пальцы, точно искал для них работу.— Ясно! Ясно! — выговорил он отрывисто.

— Что вам ясно, Николай? — спросила строго Валерия.— А вы как? Поедете?

— Не поеду.

— Почему? — настороженно вскинула подбородок Валерия.

Тарутин подхватил с лежака полотенце, перекинул через шею.

— Я не хочу видеть фальшивую скорбь друзей и врагов покойного,— сказал он.— Вам этого достаточно, Валерия?

— Кого вы имеете в виду? Не сошли ли вы с ума, на самом деле?

— Имею в виду тех, кто теперь счастливо займет его место,— проговорил Тарутин со злым нажимом.— Вы хорошо знаете тех, кто укорачивал ему жизнь в последние годы. Это были близкие ему люди и наши общие знакомые.

«Я, наверное, тоже не все понимаю, что с Николаем,— подумал Дроздов, не без усилия гася раздражение против Тарутина.— Не понимаю, почему наши долгие, разные и трудные отношения он за один день превратил из мирного состояния в подозрение ко мне? Неужели он сейчас намекает на мой разрыв с Юлией? Или в нем желание разорвать наши отношения — что это, психоз? Он, вероятно, не простил мне ничего. Да, то не прошло и у меня...»

— Кстати, не исключено,— произнес спокойно Дроздов,— что место Федора Алексеевича будет предложено тебе. Знай, что я поддержу с радостью.

— Тех, кто предложит, я пошлю подальше! — отрезал Тарутин грубо.— Но я помешаю и тем, кто мечтает взобраться в освободившееся кресло. Агусиньки, Валерия, вы смотрите на меня очень уж сердито,— добавил он с притворным участием.— Ну, сколько можно выставлять свою фигурку и жариться на солнце, вы превратитесь в шашлык, вас съедят. Но я вас покидаю. Иду в душ, смывать морскую соль. Билеты советую взять не в разные салоны.

— Я попрошу об этом Игоря Мстиславовича,— злоязычно сказала Валерия.— В одном салоне...

— Желаю вам!

Тарутин сильным рывком сдернул рубашку и брюки из-под зонтика, с ловкостью спортсмена сунул ноги во вьетнамки и направился к кабинкам душа, напрягая крепкие икры, отлично вылепленные природой, слегка покачивая атлетической спиной.

— Если бы вы знали, как мне жаль его. С ним происходит что-то неладное,— проговорила Валерия.— Вы все-таки должны его понять... простить. И меня... за передачу чужих слов.— Она в раздумье помолчала.— Простите?

— Постараюсь, коли смогу.

— Он как-то сказал в пьяном виде, что Юлия Федоровна перевернула его жизнь. Вы же были друзьями... Он сказал, что когда она заболела и умерла, то и он умер... Признался, что после этого стал пить.

— Юлия Федоровна перевернула его жизнь? — переспросил, отделяя слова, Дроздов, глядя в спину Тарутина.— Только ли его? Но было бы очень хорошо, если б в свое невротическое состояние Николай не впутывал имя моей покойной жены. Может быть, со стороны кому-то казалось, что она была грешница. Но это не так.

— Я знаю, вы и сейчас любите ее,— проговорила Валерия и посмотрела ему в глаза.— Это знает и Тарутин. Да что такое грешница, в конце концов?

— Пожалуй, сейчас неуместно говорить о Юлии Федоровне,— перебил он.— Что ж, пойдемте к телефону, позвоним в справочную аэропорта. Хотя нет, оставайтесь на пляже, я все сделаю сам.

— Подождите, я с вами.

В последние годы, когда случайно или непроизвольно заходил разговор о покойной жене Дроздова, которая ушла от него перед самой своей смертью, он чувствовал, как увеличивается «зона холода» в душе (пытаясь справиться со своей тоской, он так в отчаянии называл это накатывающее состояние безмерной пустоты) и не проходит то, что должно было уже пройти, что излечивает лишь время.

Глава шестая

Он помнил, как в те студеные зимние вечера ее каблучки торопливо, весело скрипели, бежали под окном, потом хлопала дверь парадного, и все стихало в морозном безмолвии двора, на Новокузнецкой, где он по-студенчески снимал комнатку. И, охваченный радостной му́кой, он бросался к двери на ее дерзкий звонок. Она быстро и смело входила, высокая, в длинном пальто, с трудом сдерживаясь, приближалась к нему, подставляя ласково улыбающиеся губы; пар от дыхания на морозе инеем белел на ее бровях, вишневые глаза блестели после холода. И он, целуя ее губы, зачем-то все пытавшиеся улыбаться, поспешно расстегивал на ней пахнущее снегом пальто, улавливая, как молитву, ее опутывающий шепот:

— Здравствуй. Я шла к тебе и повторяла какую-то странную фразу, не то стихи, не то что-то греческое. Знаешь, какая фраза? Спасибо судьбе за то, что она еще отпустила мне срок увидеть тебя. Откуда пришли эти слова — я не знаю...

Из-под мокрых от растаявшего инея ресниц она смотрела на него зеркальными глазами обрадованной девочки, а он, чувствуя покорность ее, чудилось, озябших губ, шепчущих между поцелуями головокружительные слова, нетерпеливо кидал ее пальто на стул в передней и, обнимая, тянул к дивану, каждый раз оглушенный и металлическим запахом мороза, и холодком ее юбки, ее колен, и теплом маленькой, трогательно торчащей груди, и ее робкой в те дни улыбкой — нежные пухлые уголки губ коромыслицем стеснительно изгибались. И уже оставаясь один, в пустоте комнаты, он, словно бы обманутый скоротечностью времени, весь следующий день не мог думать ни о чем, кроме тех изнурительных минут их близости, вспоминая ее губы, в забытьи терщиеся о его губы, когда она со своей стеснительной улыбкой откидывала голову на подушке, шепча в изнеможении:

— Пожалей меня, пожалуйста. У меня нет сил.

Его мучили и этот ее беззащитный шепот, и изменчивое выражение ее лица, которое, казалось ему, он знал и любил много лет назад или видел во сне, хотя порой его мимолетно удивляла некоторая даже театральность в ее подставленных для поцелуя губах, в пристальном спрашивающем взгляде, в неожиданном вопросе, задаваемом ею в те минуты блаженной полудремы, когда все слова теряли значение. Поглаживая его грудь, она спросила однажды таинственно:

— Ты знаешь, о чем я думала сейчас? Я подумала о своей молитве. Ты не удивляешься?

— Нет,— ответил он серьезно.— Я знаю, что ты святая.

Она помолчала.

— Ты смеешься?

— Разве смеются над этим?

— Да, я святая. Я вчера и сегодня молилась,— ответила она без улыбки.— Знаешь, какая у меня была молитва?

— Я хочу знать...

— Пусть он любит меня, пусть он любит...

— Кто же, интересно — бог или я?

— Ты опять смеешься?

— Я не смеюсь.

— Конечно, ты. Моя любовь к тебе — это беда какая-то.

— Почему, Юлия?

— Я не верю тебе. Это особое женское чувство, тебе не свойственное. Ты стал меньше меня любить. Ты уже не так меня целуешь. Ты рад, когда я ухожу.

Влюбленный до неистового беспамятства, возбужденный постоянной нежностью к ней, даже к звуку ее голоса, к шороху ее одежды, он сначала принимал эту негаданную ревность за игру, которую ей почему-то нравилось вести с ним, успокаивал ее поцелуями, но она отстранялась, поворачивалась на спину и так с закрытыми глазами лежала, как мертвая, думая о чем-то своем, потом торопливые слезинки начинали скатываться по ее щекам. А кончив плакать, она осторожно шмыгала носом, после чего говорила обиженным голосом:

— Так и знай: никто из нас не переживет один другого, если обманет. А что сделаешь ты, если разлюбишь?

— Если я тебя разлюблю, то настанет конец мира,— говорил он, смеясь.— При нашей жизни этого не будет.

Они еще не были мужем и женой, и он еще не познал, что семейная ссора, размолвка или ревность почти всегда дают преимущество не мужчине, а женщине, как бы незащищенной, униженной и этой слабостью, в конце концов одерживающей победу.

Но что-то мгновенно весело изменялось в ее лице, фигуре, походке, когда они прощались утром. Он стоял в раскрытых дверях, провожая ее. Она спускалась по лестнице, скользяще хватаясь за перила рукой. А внизу она кивала с гордой сдержанностью, словно они были еле знакомы, и хлопала дверь крыльца, выпуская ее, и вваливался в парадное морозный пар со двора.

Только раз он решился посмотреть в окно, чтобы увидеть на улице выражение ее лица. Она шла быстро по расчищенному от снега тротуару и быстро удалялась, он видел виляющее ее пальто и белые сапожки на острых каблуках (так твердо, радостно умеющих стучать в асфальт), но не увидел ее лица — она до глаз укуталась в мех воротника.

Быть может, поэтому после ее смерти стук женских каблуков постоянно напоминал ему те зимние замоскворецкие вечера, дымящиеся в холоде огни и ее, уже не живущую на белом свете, и все чистое, молодое, что было в далеких, невозвратимых, московских декабрях их первой близости.

Много лет спустя Дроздову снился один и тот же гибельный сон — будто он шел по талому льду реки, и вдруг лед начинал шататься, расходиться, проваливаться под ногами, и он спиной медленно падал, заваливался назад, погружаясь в черную пучину, захлебываясь, с забитым водой горлом, прощаясь с ней, единственной, которой уже не было...

Он пробуждался от липкого безнадежного одиночества, переживаемого им по ночам после ее смерти, и не сразу заставлял себя успокоиться, зная, что повторился навязчивый кошмар, от которого нет спасения. И тогда в полуяви он представлял молодую, сильную Юлию, стучащую каблучками по тротуару, и мечтал о повторении в памяти далекой их общей молодости, и в эти бессонные часы любовь его к ней становилась почти отчаянной. Как будто из солнечного летнего дня она подходила к нему, подняв лицо, словно бы случайно касаясь маленькой грудью его груди, и обнимала его тихо, преданно, и какая была у нее беззащитная ребяческая улыбка, какими беззащитными были ее детские слова: «Не обижай меня. Люби хоть чуточку». И он не мог забыть, как порой, подложив ладонь под щеку, она лежала на диване, пристально слушала его с грустным лицом и из полутемноты чуть поблескивали ее задумавшиеся глаза («Если ты только меня разлюбишь — значит это конец моих дней на земле»).

Он хорошо помнил и то, как однажды в нетерпеливом порыве приехал за ней на дачу в Мамонтовку, как она сбежала по скользким ступеням террасы и, озорно хлопнув набухшей калиткой, выскочила в сентябрьскую сырость неприютного вечера. Он приехал из Москвы на электричке и, как условились, ждал ее в дачном переулке, неподалеку от дома. Ветер хлестал по лицу холодными каплями, приносил из глубины темных двориков запах мокрых тополей. Вокруг шуршал в садах дождь, а весь переулок был наполнен его бегучим плеском, они же, целуясь, стояли под скрипящим на ветру фонарем, свет его раскачивался, то гас, то зажигался; дождь усиливался, из тьмы через заборы сыпались листья, липли к рукаву ее плаща, скользили, плыли в лужах на дороге.

— Я промокла до нитки,— прошептала она.

— И я, кажется, тоже.

— Что у тебя за странная геологическая борода? Ты ее отрастил на практике среди медведей?

— В Сибири борода у многих работяг. Побриться — не всегда удается.

— Что теперь нам делать? Мы не можем быть на даче. Я боюсь матери. Она нас не поймет. А я так к тебе торопилась, что в чулане не нашла зонтик, к несчастью...

— Да какое это имеет значение! — сказал он с отрешенным мужеством, видя ее мокрые от дождя, дрожащие в озорном полусмехе губы, свеже-влажный вкус которых он позднее никогда не чувствовал так жадно, так радостно.

Он расстегнул плащ, прикрыл полой ее плечи и, обняв, повел по переулку вниз, где размытыми пятнами просвечивали сквозь дождь и ветер огни платформы. Они шли, часто останавливаясь, и он опять с ненасытной жадностью искал влажно-яблоневый вкус ее омываемых дождем губ, а она, пошатываясь на подгибающихся ногах, уже все теснее, все молчаливее прижималась к нему — и порой он боялся, что они оба упадут сейчас в траву на косогоре, не разжимая объятий, в счастливой неутоленной тяге друг к другу. Плохо соображая, как пьяные, они дошли наконец до железнодорожной платформы, совершенно безлюдной, с вонью мазута в сыром воздухе, с гудевшим от дождя навесом, сотрясаемым ударами ветра, бессознательно сели в подошедшую электричку с заплывшими окнами. В вагоне, тоже холодном, пустом, плохо освещенном, где только двое неопрятного вида парней играли в карты, переругиваясь ленивыми голосами, они сели в самом дальнем от них углу, и здесь его снова окунуло в головокружительную сладость ее губ, ее послушно подавшейся к нему груди, и лишь изредка появлялось сбоку несущееся мимо тьмы залитое извилистыми струями окно с мутными точками мелькающих огней.

Потом он очнулся от близких голосов. Электричка гремела, мчалась в непроницаемой ночи, но сбавляла ход, свистком пронзая нахлесты дождя; под полом визжали, стучали колеса, а человеческие голоса внезапно возникли над головой, выделяясь из вагонного грохота.

Он резко поднял голову. Двое парней в кепочках, стояли перед ними, распространяя кислый запах табачного перегара, разглядывая их с оценивающим интересом; один грузный телом, морща серое, плоское, как блин, лицо, держал правую руку в кармане, выговаривал низким душным шепотом:

— Пощекочем их, что ль? Сейчас Софрино... Хмырь — плевое дело. Его на рельсы, ее на пол. Синичка, кажись, ничего, худая только, кадра, навроде тебя. До Загорска — наша будет.

— Ангелочки чистенькие ску-усные. ровно масло шаколатное, прямо съел бы я их,— с фальшивым умилением пропел другой парень, узкоплечий, играя шальными, перламутровыми глазами, и выпрямленной ладошкой погладил Юлию по щеке, где слиплись не высохшие волосы.— Ай, какая цыпочка сахарная! Так бы хрящиками и похрустел!

И Дроздов, словно пронзенный током, вскочил, мигом понимая, что может произойти сейчас в этой пустой электричке, среди непроглядной ночи, откуда никто на помощь не придет, и, вскочив с той мстительной вспыльчивой готовностью, которая рождала в нем совсем другого, опасного для самого себя, разом как бы лишенного страха и благоразумия человека, проговорил злым выдохом:

— Шавки! — Он перевел дыхание.— Слушай сюда, что скажу! — прибавил он пересохшими губами, быстро сунув руку в карман, где лежал стопорный нож, купленный им во время практики на иркутском рынке.— Первое — мотайте отсюда к чертовой матери, чтоб духу вашего не было! Пришью обоих,— выговорил он сквозь зубы не раз слышанные в строительных бараках слова при общении с рабочими из заключенных, и растопыренной пятерней левой руки, как это делали ссорившиеся урки, толкнул в грудь парня с блинообразным лицом. — Ну? Исчезай отсюда, черепаха! Брысь, сволочь!

— Ах ты, фраер, падла! — просипел парень, отступив на шаг, угловато вскинул одно плечо, а рука его задергалась в кармане, силясь выхватить из глубины его нечто неудобное, массивное, застрявшее, что не успел увидеть Дроздов.

В этот момент сухощавенький парень вскрикнул пронзительно:

— Стой, Петь! Шухер! — и потащил блинообразного парня за рукав в проход, оглядываясь. Тот рванулся, стряхнул его руку, выругался шепотом:

— Отзынь на три вершка, сука!

Электричка, свистя, подходила к станции, замелькали осыпаемые дождем фонари, под ними все медленнее заскользила платформа, затем послышались за окном, ворвались звуки гармони, поющие мужские и женские голоса; наползла и застыла тускло освещенная станционная постройка, из-под навеса с пьяным визгом, криком бросилась к вагону толпа людей во главе с рослым гармонистом, на бегу прикрывшим полами белого плаща гармонь на груди. Загремели двери. Толпа шумно ввалилась в вагон, со смехом, с подталкиваньем расселась возбужденно вокруг парня в белом плаще, сейчас же кто-то крикнул томным девичьим голосом: «Сережа, давай нежную!» — и гармонист, в пьяном согласии склонив голову к мехам, сонно ухмыльнулся: «Цветочки, что ль? А?»

— Свечку поставь колхозной свадьбе, фраер,— выговорил с ласкающей угрозой блинноличий парень, кивая в сторону запевших людей.— Еще б момент, я б тебе красивую дырочку в черепушке нарисовал, а твою... — Он сплюнул на пол, перевел водянистые глаза на прикусившую губу Юлию,— вот тут на полу красиво распяли б, навроде Исуса Христа. Мешают вахлаки сельские, поют, вишь ты, хорошо... Но мы подождем. Я люблю, когда косточки бабьи хрустят, люблю это дело!..

Он нарочито хохотнул, вынул правую руку из кармана, двигая пухлыми пальцами, как если бы замлели они, и Дроздов воспользовался этим мгновением.

— Ставь себе свечку! — хрипло проговорил он, захлестнутый безумием ненависти к этому серому ночному лицу парня, водянистым глазам, к этой ласковенькой похабной угрозе, уже весь подчиненный одному бешеному действию, как бывало с ним не раз в секунды крайнего гнева, уже не осознанного, не остававшегося потом в памяти, тоже выхватил правую руку из кармана и со всей силы, точно перерубал что-то, молниеносно ударил ребром ладони по предплечью парня, а левой рукой резко толкнул его в грудь, зная, что парень не удержится на ногах.

Екнув горлом, хватаясь за предплечье, парень откачнулся в проходе, шатко переступая, и не удержался бы на ногах, если бы сзади проворно не поддержал его, заключив в объятия, сухощавый его друг, нежданно разгульно запевший ребяческим фальцетом клоуна:

— Петь, сходить. Петь, сходить! Шухер мой, шухер мой, шухер шибко золотой! Петь, сходить! Петь, сходить!

И кривляясь, пятясь, потянул парня, по проходу к тамбуру вагона, будто изображая шутливую игру, и заискивающе предлагая ее принять Дроздову, который шел на них, в ослеплении бешенства потеряв чувство опасности, а блиннолицый парень, со стоном ощеривая зубы, пытался суматошно втиснуть непослушную правую руку в карман и вышептывал с выдохами:

— Убью, падла! Уничтож-жу!.. Бритвой вырежу...

Ему не удавалось втиснуть руку в карман, рука шарила по куртке, повисала в бессилии, парень хрипел от боли, а сухощавый тянул его назад все дальше к тамбуру, мимо гармониста, мимо поющей компании, не обращавшей внимания на трех парней, нетрезвыми толчками продвигавшихся к выходу.

А электричка тронулась, сдвинулись фонари, смутно побежала за окнами мокрая платформа. Это Дроздов заметил краем глаза, и в ту же минуту мелькнула мысль, что самое страшное произойдет сейчас, вот здесь, в тамбуре, если эти двое останутся в вагоне.

— А ну, прыгай! — не разжимая зубов, глухо приказал он, надвигаясь на парней в тамбуре, готовый к яростной драке, и тем угрожающим движением, которым командовал инстинкт, выдернул из кармана трофейный немецкий нож, нажал на стопор. И, услышав, как с щелчком выскочило отточенное, как бритва, лезвие, повторил непререкаемо и яростно: — А ну, соскакивай, жабы, или я вам устрою легкую панихиду! Быстро! Исчезай с глаз! Мигом! Линяй!

Тогда уже он знал, что только риск и неудержимый обезумелый натиск — единственное внушающее оружие в таких обстоятельствах, в слепых столкновениях с грубой силой, но, пожалуй, он не мог предположить, что хромированное как скальпель острие немецкого ножа, плотно влившегося рукояткой в судорожно сжатые пальцы, так быстро окажет действие на парней, вероятно, принявших его за тертого малого своей породы. Сухощавый, гримасничая, замотал головой на тонкой шее, вроде бы не соглашаясь, но рванулся к раскрытой двери, продолжая тянуть за собой пьяного парня, и здесь, в дверях, выпустил его и приостановился в позе изготовленной к прыжку кошки, крикнул с пронзительным визгом:

— Где мои коготочки? Рву! Петь, давай!

Они оба упали на платформе, исчезли в мутно-желтой пелене ушедших назад фонарей, а Дроздов, выглянув наружу, в режущую по

лицу мокрую мглу, не увидел их сквозь дождь и, машинально закрыв дверь, стоя один в качающемся, гремящем тамбуре, почувствовал не облегчение, а злой стыд и сожаление, какого не испытывал никогда раньше.

Его била дрожь, испарина выступила на лбу.

Он взглянул на лезвие ножа, нажал на стопор и убрал эту хромированную опасность, и в этот миг оголенно ощутил себя во всем противоестественном, нелепом, грубом, что произошло с ним сейчас, с чем сталкивался и прежде, но особо отвратительном теперь в присутствии Юлии, видевшей, конечно, его лицо и слышавшей его мерзкие слова.

Долго спустя, уже прощая Юлии все, он иногда думал о том своем неудержимом состоянии, не подвластном ему, о моментальном переходе от нежности к гневу и злому действию и относил это к унизительно пещерному, непознанному в человеческой душе, как к темному «лживому» в науке, призывая здравомыслие к снисхождению.

Но тогда он подождал немного в тамбуре, со сцепленными зубами, переживая бешеную решимость, — и до боли потер лицо, чтобы успокоиться.

Когда же он вошел в вагон, еще издали успокаивая ее улыбкой, там заливалась гармонь, упоенно сталкивались в песне женские голоса, единодушно по-бабьи жалея удалого Хаз-булата; электричку качало, под ногами грохотало, тьма мчалась за окнами, залитыми дождем, Юлия с сумкой на ремешочке через плечо шла навстречу по шатающемуся полу, на ходу цепляясь за спинки сидений, ноги в ботах заплетались, как если бы мешал плащ или она была пьяна. Он испугался, что она упадет, и кинулся к ней. Она обняла его, так отрешенно и страстно прижалась к его груди щекой, так горько и неутешно заплакала, вздрагивая в его руках, что он, не выпуская ее из объятий, повел в тамбур и здесь, спиной прижавшись к дребезжащей стене, целуя ее облитые слезами щеки и губы, говорил ей что-то несвязное, успокоительное, плохо слыша ее шепот:

— Спасибо тебе, спасибо, ты... ты, оказывается, меня любишь. Но какое у тебя было страшное лицо — дикое, какое-то бандитское, как у них.

— Забудь, пожалуйста. Мало ли что бывает...

— Если бы не ты, они замучили бы меня. У них лица садистов и убийц. А этот маленький кривляка...

— Обыкновенная вооруженная шпана.

— Я боялась за тебя, Игорь. Я дрожала, как мышь...

— Знаешь, твои губы почему-то имеют вкус вина,— перебил он шепотом.

Она высвободилась из его объятий, смеясь, расстегнула сумку.

— Когда ты пошел за ними, я думала, что умру от страха. Я выпила несколько глотков. И мне стало легче. Попробуй, пожалуйста. Я взяла из дома папину командировочную фляжку. На тот случай, если мы с тобой промокнем окончательно. Здесь коньяк.

Она вынула из сумки плоскую никелированную фляжку и протянула ему с радостной доверчивостью.

— Ты знаешь, это помогло. Попробуй. У меня немножко голова кружится. И даже стало весело как-то.— Она опять прижалась щекой к его груди.— Мы с тобой как двое бродяг. Едем куда-то на край света, а вокруг — дождь, ветер. Жуть... Вот что: давай доедем до Загорска, найдем гостиницу и поживем дня два. Ты за или против?

— Почему вот эту штуку ты назвала «командировочная»? — спросил он, отвинтил крышечку маленькой фляжки и сделал глоток пахучей жидкости.— Правда, коньяк.

— Эту фляжку папа каждый раз берет за границу на случай простуды.— ответила она.— Очень помогла ему в Лондоне. Он там чуть

не заболел воспалением легких. Лежал в отеле один и согревался... Так ты согласен в Загорск? Или раздумал?

— Нет, не раздумал. Я готов хоть и в Лондон.

— И хоть на Енисей?

— Пожалуйста, на Енисей! С тобой!

Лондон, фляжка, два парня, желающих «чтоб хрящики похрустели», папа-академик, дочь — студентка института иностранных языков, убежавшая в ненастный вечер с дачи родителей, бедный «рыцарь», влюбленный студент геологического факультета, вернувшийся с практики на Енисее, холодный вагон электрички весь в стрекоте осеннего дождя, поющая компания, видимо, возбужденная чьей-то свадьбой, стопорный немецкий нож, смертельный блеск хромированного лезвия, в защите готового к преступлению, — все это в его сознании тогда выстраивалось в какую-то логическую необходимость, а все непредвиденное, что могло с ним и ею той ночью произойти, не воспринималось им со всей возможной непоправимостью положения, и настоящее казалось неизменчивой обещающей радостное везение надеждой.

— Вот какой у меня план, послушай внимательно,— сказала она ласковым голосом, взглядывая на него кротко.— В Загорске мы найдем маленькую гостиницу, снимем номер, такой, знаешь, тихий, уютный, очень провинциальный, как в рассказах Бунина, а дождь будет идти и идти за окнами... А утром пойдем в Троице-Сергиеву лавру, помолимся о своих грехах. Мы ведь с тобой очень грешные.— Она быстро перекрестилась.— Правда, я с тобой стала грешницей. Вот смотри, что я надела. Это мама мне купила в какой-то церкви. Хоть мама и не верит. Но знаешь, я думаю, что есть что-то вне нас...

Она отстранилась, размотала легкий шарф на горле, забелевшем в полутемноте тамбура, отогнула воротник водолазки и вытянула крошечный крестик на цепочке, держа его двумя пальцами.

— Вот видишь?

— Ты его носишь?

— Поцелуй его, пожалуйста.

— Я лучше не крестик.

— Нет, нет, именно его. Это ты целуешь меня. И господа Бога.

Он поцеловал крестик, нагретый ее телом, пахнущий духами, представляя, как они проведут ночь и, конечно, весь день в гостинице в неутоляемой близости и усталом сне, спускаясь из номера только на час в буфет или ресторан, потом на следующий день она неутомимо потащит его по городу, который будет ему, пребывающему будто в колдовской паутине, не очень интересен, поведет в Троице-Сергиеву лавру, где якобы надо «молиться» о неких грехах, потом опять будет ночь почти без сна и раннее утро с лиловеющими окнами, с тишиной на всей земле, и она первая прервет их блаженное одиночество, с веселым озорством скажет, что в конце концов следует красной девице и добру молодцу быть благоразумными, вспомнить о насущных заботах, как часто говорила она на заре в комнатке на Новокузнецкой, после чего наскоро целовала, быстро одевалась и уходила от него, оставляя ощущение ничем не заполнимой пустоты до вечера.

В Загорске они пробыли два дня, как он и предполагал, но было одно исключение. Она сказала, что заболела некстати, не хотела оставаться в гостинице, все тянула его бродить по осеннему городу, сплошь заваленному листвой, под моросящим дождем, мимо потемневших сырых заборов, облетевших садов, чернеющих ветвями над тротуаром. Она была молчалива, задумчива, лицо клонилось под капюшоном плаща, и он тоже молчал, стараясь угадать и не угадывая причину ее изменившегося настроения. Они долго стояли в сумерках перед Троице-Сергиевой лаврой, утонувшей куполами в низком клубящемся небе, затем молча пошли вдоль каменных стен к воротам. Во влажном воз-

духе пахло от прочного камня древним запахом, обволакивая тихой и терпкой печалью давно ушедшего всевластного величия, напоминая о своей смиренной послушности времени, и этой осени, и этому дождю, и новому веку, едва сохранившему лишь в воспоминаниях былое влияние, скорбно утраченную надежду на жизнь благолепную.

В церкви совершалась служба, слышен был хор, в раскрытых дверях шевелились среди глубины храма свечи, на паперти же мокли под дождем две старухи-нищенки, они зашептали что-то, закланялись, протянули лодочкой сложенные ладошки, в которые Юлия щедро положила по рублю.

Все здесь ритуально светилось огнями, наплывами овеивало ладаном, растопленным воском, согретой в тепле, намокшей одеждой столпившихся перед иконостасом людей, откуда в тишине тек над головами толпы речитативно-напевный голос священника. Юлия украдкой перекрестилась, с робким лицом возвела глаза к блещущему золотом иконостасу, он же, не без неловкости отворачиваясь от икон, почему-то подумал, что ей, наверное, хотелось вступить в неизъяснимую загадочность, в таинство непонятной ей молитвы, а ему, мнилось, бесполезной, чуждой. Потом рядом послышался шепот, какое-то движение, он обернулся, увидел очень высокую монашку в черном, как представлялось всегда, гробовом одеянии, подошедшую со свечой в руке от боковой иконы. Монашка приблизила озаренное красным светом сухое лицо к расширившимся в страхе глазам Юлии и что-то сказала ей, и вновь отодвинулась к темной боковой иконе, мелко крестясь. Глаза Юлии, вобравшие сразу весь блеск огней в церкви, обратились к нему, крича о беде, прося о помощи (похожее выражение было тогда в вагоне электрички), и он бросился к ней, не зная, что произошло.

— Что, Юлия?

— Пошли, пошли,— зашептала она поспешно, направляясь к выходу и с изумлением глядя себе под ноги.— Ты знаешь, что она сказала мне? Ты, конечно, видел, что монашенка подошла? — растерянно заговорила она, когда они вышли из церкви.— Она сказала, что мне нельзя... Нельзя... Что я вошла в непотребном одеянии в храм господний...

— В непотребном одеянии?

— Брюки, ох, эти брюки,— воскликнула Юлия и расстегнула плащ, оглядела себя с сердитой досадой.— Невероятно! Уму непостижимо! Нет, не хочу, не хочу! Уедем отсюда немедленно, здесь все неудачно! Нас чуть-чуть не убили по дороге. Я заболела совсем некстати. Мы не замолили свои грехи. Вот сколько у нас неудач!

Похоже было, что ей надо было разозлиться или заплакать от этих неудач, но она засмеялась неожиданно, и в ее заискрившихся, что-то вспомнивших глазах появилась вызывающая непреклонность.

— Можешь запомнить,— сказала она.— Не хочу вешать нос, потому что знаю, почему меня невзлюбила эта монашенка!

— Почему же?

— Угадай! И посмотри на меня внимательней, дурачок ты!

Она откинула капюшон, вздернула голову, подставляя его взгляду радостно растянутые улыбкой мокрые под дождем губы, и он, вспомнив их вкус прохладных яблок, нежное их движение под его губами, нежную влажность ее зубов, сказал запнувшимся голосом:

— Пытаюсь догадаться.

— Правильно, отлично, замечательно объяснено,— поддержала она с лукавым согласием, довольная им. Нет, ерунда, нелепица страшная! — прервала она себя, задумываясь.— Я не имею права, не хочу на нее злиться, она слуга Бога, можно представить только, как часами она стоит на коленях во время молитв. Нет, я недобро и глупо о ней подумала!.. Когда-нибудь и я уйду в монастырь. Говорят, у нас есть один, женский, где-то на севере. Как, должно быть, там хорошо! Тишина, голубое небо, хруст снега, закат над куполами...

Он пошутил:

— В монастырь? Для этого надо много нагрешить, Юля.

— О, я чувствую, что много нагрешу,— заявила она.— Папа как-то изменил себе, разгневался и сказал, что я ни в мать, ни в отца, ни в проезжего молодца. Сказал, что я шаловливое дитя летнего ветра, который не поймаешь сачком для бабочек. Наговорил, конечно, хотя любит меня. Но я знаю, в кого я.

— В кого?

— В козу-дерезу или в Василису Прекрасную. В кого-нибудь из них.

— Не ясно. Хотя чуть-чуть брезжит.

— Только не в милую мою маму. Я не выношу ни театр, ни математику. Крокодильское сочетание. Расчет и драматические мизансцены. Это какой-то кошмар! Да нет, по-моему, ты ничего не понимаешь. Смотришь на меня, а думаешь о чем-то другом! Я знаю, о чем ты думаешь! Ну, перестанем об этом. Нас прогнали, а мы еще тут философствуем о геральдическом древе. Олл райт, вери мач, сэр. Знаешь что? Я промокла и замерзла! Завтра будет мокрый нос, начну чихать — отвечать будешь ты.

Она взяла его под руку и, притираясь бедром, быстро потянула его вперед, заставляя одновременно с собой перескакивать через лужи, а он, прижимая ее локоть к своему боку, изнемогая от ее близких порхающих движений (можно ли было ее поймать в сачок для бабочек?), от ее искренне-доверительного голоса, внезапно остановился, привлек ее к себе.

— Слушай, я тебя люблю... Черт знает как люблю...

Она выпрямилась с победным вниманием.

— Так. Произошло. Басня, сказка, легенда, миф, библейская притча... и как там еще по-английски? Сейчас вспомню. Ах, вот как! Фабл! Это значит: болтать вздор, бабьи небылицы.

— Да никакой там еще не «фабл»! Я тебя люблю,— повторил он и обнял ее теснее.— Я люблю тебя, и это не сказка, а правда... Это то, что ты со мной в каком-то Загорске...

— Не говори этого больше. Иначе я начну ревновать. Лучше скажи так: ты мой друг. Когда ты говоришь, что меня любишь, то я начинаю чувствовать себя властительницей над тобой. Тогда я не знаю, что могу сделать, если ты посмотришь на какую-нибудь другую женщину. Ты меня люби, но я твой друг, хорошо?

Он возразил:

— Я не хочу, чтобы ты была только моим другом.

Он наклонился к ней. Она почему-то зажмурилась.

— Ты меня очень люби, но не говори об этом.— И отрываясь от него, чуть изогнулась назад.— Ты, наверно, хочешь, чтобы мы пошли с тобой в гостиницу? Но мне нельзя, нельзя. Тогда вот что. Мы должны немедленно отсюда уехать. Хотя, подожди, у меня есть предложение. Давай зайдем в гостинице в ресторан и перед отъездом немножко кутнем. Денег на шампанское и кофе у нас хватит. Мы промокли, а я хочу посидеть с тобой в тепле. Только знаешь, я как-то не привыкла к твоей бороде.

А дождь не переставал, моросил в городке по-осеннему, быстро сгущая сумерки в ранний вечер, и уже зажглись огни в окнах; влажно засветились еще не опавшие листья в поникших палисадниках, в пустынных улочках выплыли из голых ветвей, распустили желтый свет редкие фонари в мелькающих водяных сетках, и по дороге не встретили ни одного прохожего, пока шли до гостиницы.

Да, это была безоглядная пора их молодой влюбленности.

Глава седьмая

Когда перед женитьбой он представил Юлию матери, по своему желанию приехавшей из Саратова для личного знакомства с невестой сына, мать переспросила испуганно: «Юля? Да что же это за имя такое заграничное, батюшки мои?» — и прикрыла рот ладонью в озадаченности.

— Я вам не понравилась, Анна Петровна? — спросила Юлия и опустилась на корточки перед ней, сидевшей на краешке дивана, и погладила ей руку. — Чем же я вам не понравилась? — опять спросила она, льстиво заглядывая ей в расстроенное лицо.

Мать покачала головой.

— Да имя у тебя какое-то особенное, девочка... И сама ты вроде елки наряженная... вроде игрушка какая... А ведь Игорь парень простой, не из профессорской семьи, как ты, девочка. Жизнью не балованный. У него все в детстве было — и голуби, и хулиганство, и драки с поножовщиной, а отец в мужской порядочности его воспитывал, к книгам и самостоятельности приучал, особо к книгам приучал, да, не балованный... На чистой бухгалтерской работе отец у нас был, библиотеку огромадную имел, а мозоли на руках считал благородством. Как же вы семью-то строить будете? Картошку жарить умеешь? Суп варить? Белье стирать? Пуговицу пришить? Какая же работа у тебя, девочка?

— Я преподаю английский язык на курсах, Анна Петровна,— сказала Юлия, не подымаясь с корточек, виновато блестя глазами, и все ласково поглаживала ей сухонькую руку.— Я ничего не умею,— призналась она и стеснительно добавила: — Но ничего. Я научусь.

— Кое-что умею я, мама,— вмешался Дроздов, зная, что мать не принимает шутки.— Варить суп, жарить картошку и яичницу, делать шашлык на веточках и прочее. Стирать и пуговицы пришивать тоже. За три года тайга научила меня, мама, даже спирт пить.

— А тайга тебя рожать детей не научила? — проговорила мать сурово.— И на кухне стоять не мужчинам надо. Мансипация, мансипация, а рожают не мужчины, а женщины. И грудью детишек кормят, и пеленки стирают, и горшки выносят. У меня их трое было. Один младшенький умер, а Игорь вот и сестра его Зина, слава богу, живы. Ты прости меня, Юла, но семейная-то жизнь — это не на диване лежать и конфеты мусолить. А тебе и семейное хозяйство вести будет неподручно. Сама тростиночка, пальчики беленькие, личико бледненькое, только глаза у тебя чудесные и есть. Ты уж, Юла, прости, коли обидела. С мужем жизнь прожить — не поле перейти. А Игорь тоже с характером. И очень он горячий бывает. Ежели обидят. Чисто разбойник. Пара ли он тебе?

— Меня зовут не Юла, а Юлия, и, пожалуйста, не обижайте меня, Анна Петровна, — сказала тихо Юлия и поднялась с корточек.— Мне жаль, что я вам не понравилась. Мне очень жаль...

— И Игорь тебя не знает. Это уж так. Нет, не пара вы, чует мое сердце...

— Мама, ты слишком строго судишь,— снова вмешался Дроздов и сел рядом с матерью, обнял за плечи.— Ну, если нарожаем детей, то как-нибудь справимся. В конце концов ты поможешь.

— На меня не надейся,— оборвала мать.— Я с Зиной живу. Ее детей няньчию.

— Я же тебе сказал, что в тайге всему научился,— повторил он убедительно.— Правда, ни жены, ни детей, ни пеленок там не было.

— Сынок, родной сынок, крепко подумайте! Понимаю: природа свое требует, а вы ее не обманите.

— Кстати, я не хочу иметь детей и не хочу стирать пеленки! Поэтому не гожусь в жены вашему сыну! — вдруг дерзко сказала

Юлия, недослушав Анну Петровну, и вскочила, остро застучала каблуками в переднюю, оттуда выглянула, надевая куртку, договорила с негодованием: — Если вы хотите, чтобы ваш сын женился на какой-нибудь толстенной бабище, которая нарожала бы ему двенадцать детей, то я прошу прощения за то, что не отвечаю вашему идеалу! Не провожай меня, Игорь, и не звони. Я позвоню сама, когда будет нужно. Если ты позвонишь первым, мы никогда не увидимся!

Она позвонила через неделю, когда уже уехала мать, и в тот вечер, измученный размолвкой, желанием примирения, он услышал ее голос в трубке, веселый, искрящийся, как если бы между ними ничего не произошло:

— Послушай, Игорь, я готова нарожать тебе двенадцать детей. Только возьми меня в жены, я буду хорошая. Я буду послушная.

— Я немедленно беру тебя в жены,— сказал он, стараясь говорить шутливо, чтобы не показать несдержанную радость оттого, что она позвонила наконец.— Приезжай, я жду, или скажи — где мы встретимся.

Она ответила с простодушием незадумывающейся ветреницы:

— Я буду послушной при одном условии. Больше не заставляй меня встречаться с твоей суровой мамой. Ты согласен? Что это за ветхозаветные смотрины? Я старалась изо всех сил, хотела ей понравиться, но не смогла. Что же теперь нам обоим остается?

— Мать уехала вчера, — сказал он. — Я, конечно, люблю ее...

— А меня? — не дала она договорить.— Если ты попросишь прощения, тогда я сейчас приеду к тебе. Если ты любишь только свою мать, то не увидишь меня никогда.

— В чем я виноват? И в чем я должен попросить у тебя прощения?

— Хорошо. Так и быть. Я приеду на пять минут.

Юлия приехала через час, и когда он, нетерпеливо ожидая ее, открыл дверь, она вошла в огромных противосолнечных очках, безмятежно и вскользь подставила ему сомкнутые губы, сразу же села в кресло, сказала чрезмерно веселым голосом:

— Теперь давай думать, в чем ты виноват и можем ли мы быть в счастливом браке. Отвечай, пожалуйста, честно, зачем ты показал меня ей? Хотел ее совета? Значит, не уверен, что любишь меня?

— Юля, ты вверх тормашками ставишь вопрос,— сказал он мирно.— Разве ты не чувствуешь этого сама?

— Чего я не чувствую?

— То, что я люблю тебя.

— Больше или меньше ее? Она захочет командовать мною, приедет к нам жить, воспитывать нас обоих, и все превратится в ад. Господь карает недобрые желания мудрецов. И ты согласен на это?

Не снимая противосолнечных очков, она положила сумочку на колени, достала оттуда сигарету и долго, неумело крутила в пальцах зажигалку, а когда прикурила и колечком, собрав нежные губы, выпустила дым, он заметил с удивленным упреком:

— Я никогда не видел, что ты куришь, Юля.

Она сняла очки, взглянула с невинной кротостью.

— А тебе не нравится? Что ж. Перед тем как идти к тебе, я даже выпила чуточку вина, чтобы не так злиться на тебя. Вот видишь...

— Вижу,— попробовал пошутить он.— Равноправие, так равноправие во всем.

— Во всем? Нет! — возразила она по-прежнему безгрешно. — Судя по твоей матери, ты хотел бы полноправного домостроя. Разве не так? Жена да убоится мужа своего. Бия детей в молодости, получишь утеху в старости. Свекор, свекровь, невестка, зять... и как там еще по домашней иерархии? Деверь, шурин, бог его знает... Мне ясно,

что ты был воспитан в жутком домострое. Поэтому я хочу спросить: кого же ты больше любишь?

— Юля, не задавай мне вопросы, на которые у тебя самой готовы ответы,— сказал он все так же миролюбиво.— Любовь к матери и любовь к жене — разные вещи. Ты, наверное, не поняла мою мать, а она не поняла тебя.

— Все равно ты ее любишь больше.

— Я же тебе сказал, Юля, что это разные вещи.

Он говорил это и был противен самому себе («не поняла мою мать», «разные вещи»,— что же это я, глупец, бормочу нелепость?») — и с отвращением к своему невразумительному объяснению он в то же время всеми усилиями хотел избежать взрывного и опасного состояния сложной душевной границы, что разъединило бы их, не подчиненных праву друг друга, и думал вместе с тем: «Я вроде бы оправдываюсь в том, что люблю мать,— что за скользкая мерзость происходит со мной?»

— Ты хочешь, чтобы я бесконечно объяснялся тебе в любви?

— Да, хочу, хочу, хочу...

Он смотрел на ее шею, на ее капризные губы, на ее слабые пальцы, неумело держащие сигарету, и, мучаясь своей раздвоенностью, неподвластной подчиненностью ей, готовый простить ей многое, чувствовал, что все, что произошло и происходило сейчас между ними, отдавало привкусом горечи отравленного меда, но было сильнее его.

Глава восьмая

Это чувство бессилия перед правом ее своевольной слабости было испытано им после женитьбы не однажды, и всякий раз в положении сильного он опять точно бы оправдывался, обезоруженный ее ревностью, ее подозрением, неопровержимым никакими словами. Последняя ссора, безобразная, постыдная, какая-то даже болезненная, запомнилась ему на всю жизнь. Тогда он пришел в двенадцатом часу ночи и в передней, расстегивая пальто, стряхивая снег с шапки (на улице метелило), встревоженно увидел ее неузнаваемо бледное лицо с сомкнутым ртом, с неподвижными, стоячими глазами, ставшими черными.

— Ты пришел так поздно? — прошептала она еле внятно.— Где же ты был, верный мой муж?

— Прости. Я не мог тебе дозвониться. Был у Тарутина. Два раза набрал, никто не подошел.

— Ах ты лжец, обманщик! — выговорила она рвущимся голосом и, исказив лицо, так царапнула его ногтями по щеке, что после мороза он почувствовал огненные ожоги.— Я целый вечер жду тебя, а ты где-то развлекаешься, в каком-то доме! С какими-то грязными женщинами! Грязь! Развратник! Ты был у Тарутина? Неужели? И ты еще смеешь врать!

— Я не понимаю тебя, Юля, зачем все это ты? — повторял он, потрогав щеку и разглядывая на пальцах кровь.— К кому ты меня ревнуешь? Что с тобой, в конце концов? — выговорил он и, сдерживаясь, сбросил пальто в передней, прошел в ванную, начал смывать кровь с лица.

— Обманщик! Убийца! Лжец! Ты изменяешь мне с порочными женщинами! — зло кричала она из комнаты.— Ты затоптал меня в грязь!

«Уму непостижимо,— подумал он, мельком взглянув в зеркале на поцарапанную ногтями щеку.— Ее ревность похожа на ненависть, на сумасшествие. Она уже не может сдержаться при семилетием сыне? Он все слышит в другой комнате. Но она не в силах остановиться, как в наваждении...»

И медля, удушаемый тоской, он вытер полотенцем лицо, промокнул ранки ватой, смоченной одеколоном, молча вышел из ванной в комнату. А она кинулась ничком на диван и судорожно зарыдала, уткнувшись в подушку, хрупкие плечи ее тряслись от всхлипываний, как у горько обиженного ребенка.

— Ненавижу, ненавижу! Господи, спаси, спаси же меня!..

— Мама, мамочка! — кошачьим писком послышалось из другой комнаты.

В эту минуту ему надо было, наверное, закричать на нее, встряхнуть, привести в чувство после этой ее несправедливой и злой несдержанности, а он стоял, погибая в жалости к ее трясущимся плечам, к испуганному голоску проснувшегося в другой комнате сына и, вконец растерянный, не узнавая себя, выговорил:

— Я не верю.

Она вскинулась на диване, слезы текли по ее щекам.

— Что? Что ты сказал?

— Я не верю, — повторил он и добавил с хрипотцой: — Не верю, что ты меня разлюбила.

— Почему в тебе нет гнева? Почему я не чувствую в тебе ничего прочного ко мне?! — закричала она и вновь упала головой на подушку, рыдая.

— Нет,— сказал он.— Я не верю.

Он сел на диван, взял ее за плечи, и она вся подалась к нему, порывисто прижалась, дрожа в его объятиях, смачивая его шею горячими слезами.

— Да что же это такое? За что ты меня мучаешь?..

— Мама, мамочка! Миленькая, не плачь, не надо!..

Как пытку он помнил этот защищающий вскрик Мити, бегущее топанье босых ног из раскрывшейся двери смежной комнаты, перепуганное личико сына, мотающиеся пшеничные волосы и его отталкивающий взгляд детской ненависти, когда он с плачем и тою же готовностью защиты бросился к матери, обнял ее, тормоша, целуя ее руку. А Дроздов лишь на секунду поймал выражение глаз сына, переполненных ожиданием беды, — и, облитый жаркой испариной, силясь ободряюще моргнуть ему, хорошо представляя ненужную фальшивость этой бодрости, подумал, как в бредовом сне: «Не выдержу, не выдержу».

Невыносимее всего было то, что вместе со вкусом ее слез он, в тот вечер не пивший ни рюмки, почувствовал запах вина от ее дыхания.

Всю ночь он проворочался на диване с непроходящим ощущением виноватых друг перед другом людей, зажигал свет, тщетно пробовал читать, вставал, открывал форточку в густую синеву ночи, вливавшейся морозной колючестью воздуха, курил, вспоминая ее отчаянные слова: «За что ты меня мучаешь?» — и ее рыдания, горячие детские слезы и поразивший его запах вина. В том, что она была нетрезва не только вчера, и в том, что она делала с собою и с ним, было неразумное, оскорблявшее обоих разрушение, а оно походило на вырывавшуюся боль, которую она не могла скрыть, преодолеть, не веря ему, страдая от немыслимых подозрений. И это была не понятая им, чужая, иная Юлия, отталкивающая его слепой и беспамятной грубостью в порывах ревности и гнева. Всю ночь он искал, строил предполагаемый утренний разговор с ней, уверенный, что все-таки в государстве домашнем настанет мир, необходимый на своей территории, в своем тылу.

Под утро он задремал, изнуренный бессонницей, но сквозь дрему услышал шаги за стеной, звон посуды на кухне и мигом поднялся, зажег свет — за окнами еще стояла темнота, на будильнике было половина седьмого.

«Я должен раз и навсегда поговорить с ней, иначе эта мука не кончится. Должна быть, наконец, ясность между нами».

— Можно к тебе?

Она, не ответив, сидела за кухонным столиком, умытая, тщательно причесанная, в застегнутом халате, задумчиво глядя перед собой, пила кофе, должно быть, с коньяком (рядом стояла маленькая рюмка янтарной прозрачности), дымящаяся сигарета лежала в пепельнице.

Ее лицо, помятое сном, но умело приведенное в порядок, показалось немолодым, усталым, тени под глазами, неуловимая слабость в губах, в тонкой шее, мнилось, открыли ему в это утро какое-то тайное нездоровье Юлии, и он, сразу прощая ей все, негромко проговорил голосом навсегда забывшего размолвку человека:

— Я хочу сказать, Юля, одно: если ты не будешь верить мне, то наша жизнь превратится в дьявольский кошмар. Зачем это?

Она взглянула на него почти со страхом, но сейчас же лицо приняло выражение напряженного безразличия, это стоило ей, вероятно, усилий. Она осторожно отпила глоток кофе (он услышал в тишине звук ее глотка) и заговорила отчужденно:

— У нас пока все должно быть по-прежнему. Я так же буду изображать твою жену. Только не будет одного... Как бы это сказать? Просто я не буду любить тебя. И это освободит нас от многого. Приходит же всему срок. Ты оскорблен вчерашним?

— Я не хотел бы говорить о вчерашнем. И не хотел бы, чтобы от тебя пахло вином.— Он посмотрел на рюмку.— Это уже стало...

Она перебила его с решительностью женщины, не способной шутить:

— А я хотела сказать то, что хотела сказать. Поверь, нам обоим будет легче. Все будет проще. Потом... позже мы можем развестись. Сейчас у меня нет сил. Потерпи... Я первая скажу об этом.

— Все это бессмысленно, Юля.

— Что поделаешь! Вся моя жизнь бессмысленна!

Он увидел морщины страдания на ее лице и, вновь погибая от несчастной жалости к ней, поцеловал ее в пахнущие сладковатым шампунем волосы и вышел.

Через неделю произошел разговор с Нонной Кирилловной. Разговор этот совсем не был «запрограммирован», ибо в эти дни жизнь его с Юлией текла в положении сознательного перемирия. Он делал вид, что ничего страшного не случилось, он надеялся не на здравый смысл, а на излечивающее время, что должно внести разумное успокоение в этот затянувшийся домашний разлад. Иногда в часы бессонницы, неотступной как наказание, он ворочался в поту и представлял встревоженную его женитьбой мать, какую видел в последний раз, знакомя ее с Юлией, и не мог простить себе, что не застал ее в живых, по срочной телеграмме прилетев в Саратов уже на похороны.

Он боролся с памятью, его томило раздражение против самого себя. Он безысходно сознавал, что все молодое, несбывшееся постепенно утонуло в горько-сладкой отраве так называемого семейного счастья, не отпускавшего его несколько лет, и теперь осталась одна блаженная боль. По-видимому, он не имел права судить Юлию, если бессилен был что-либо изменить в ней и в самом себе.

Нонна Кирилловна пришла вечером (Юлии и Мити не было дома), строгим взором осмотрела всю квартиру, распространяя по

комнатам запах стойких духов, колючий шелест платья, сшитого из какой-то звучной материи. Затем по-хозяйски удобно села в кресло под торшером в его кабинете, забарабанила крепкими мужскими пальцами по подлокотнику, царственно выпрямила полную шею.

— Семейная жизнь — сложнейшая школа, где нет учителей,— заговорила она внушительным грудным голосом.— Я вовсе не собираюсь вас учить, Игорь Мстиславович. И не вижу повода заранее сердиться на меня, коли немножечко коснусь интимных сторон вашей с Юлией жизни. Сядьте, пожалуйста, напротив меня, так лучше будет с вами разговаривать.

— Не вижу повода заранее сердиться на вас,— сказал не без натянутой вежливости Дроздов, садясь в кресло напротив. — Но я и не хотел бы, чтобы вы касались интимных сторон нашей жизни.

Нонна Кирилловна сделала упредительный жест.

— О, нет, я не нарушу никаких пределов деликатности, Игорь Мстиславович. Моя дочь в порыве ссоры с вами, как она мне призналась, допустила невоспитанность чувства. Она сказала, что ненавидит вас. Экая ангельская откровенность, экая грубость! Это не делает мне чести, я, по всей видимости, плохо ее воспитала. Но ее невоздержанность лишний раз говорит, что Юлия — наивный чистый ребенок, поступает необдуманно, импульсивно, а вы, неглупый, опытный человек, поступаете, как бы... как псевдопатриот своей семьи, простите, ради всего святого.

— Я готов слушать вас дальше,— проговорил Дроздов с превышенной заинтересованностью податливого собеседника.— Вы даете нашим отношениям захватывающие определения, Нонна Кирилловна. Только какова же цель ваших определений и вашего разговора?

Свет от торшера падал на ее маленькую голову, величественную, воронено черную, со старомодной ниточкой ровного пробора, на ее лицо, смуглое от наложенного тона, с темными усиками над властным ртом, оно было несколько даже печальным.

Ее полная грудь под тесным платьем дышала ровно, очень заметная гордой выправкой уверенной в своей неоспоримой силе светской женщины. Немного погодя она сказала снисходительно:

— Вы чудак, честное слово.

— Благодарю вас за своевременную информацию.

— Именно так, мой милый зять. Вы фавн, самец, неврастеник. Как все мужчины. И — дилетант. Всё вместе. Я, конечно, предупреждала об этом Юлию.— Она посмотрела на него с укоризной уставшей от человеческих глупостей провидицы.— Советы детям не дают им права не ошибаться. То есть — не дают абсолюта непогрешимости. Вы меня поняли?

— Ни слова. По-моему, вы погружаете меня в какие-то сложные намеки, где сатана ногу сломит, простите за некоторый кулёр локоль.

Она изобразила на лице оскомину скуки.

— Ради всего святого, не надо кулюр локолей, у меня так болит от этого голова. Вы не ревнуете верную жену после многих лет не омраченной подозрением жизни? Вы — гений наивности, мой милый зять. Неужели вы не знаете, от чего зависит хрупкое счастье современной семьи? Мы ищем всегда врага, а враг сидит в нас самих.

— Что за абракадабра, Нонна Кирилловна! Ничего не понимаю.

— Да что уж понимать! — Она выпрямила глубоким вздохом массивную грудь.— Если уж вы изменяете жене, то делайте это так, чтобы никто не знал. Иначе вы становитесь, дорогой Игорь Мстиславович, наемным убийцей, подкупленным самой наивностью.

— Убийцей? Великолепная формулировка!

— Да, убийцей согласия и любви в своей семье. Если угодно — даже палачом своего счастья. Такие женщины, как Юлия, под ногами,

милый зять, не валяются. Так вот что я хочу сказать. Я хотела бы, чтобы некоторое время Юлии пожила у меня, чтобы девочка успокоилась. А потом — видно будет.

Ее низкий голос звучал густо, играл снисходительными оттенками, жилистые пальцы утвердительно постукивали по подлокотнику, а черные с фиолетовым холодком глаза испытующе охватывали Дроздова с головы до ног. Она помолчала и добавила:

— Юлии необходимо успокоить нервы. Это и в ваших интересах.

— Она сама хочет? Или это ваш совет? — спросил Дроздов, оценивая, однако, в нелюбви тещи достаточное умение владеть собой в общении с ним, наивным в семейных недоразумениях зятем.

— Этот совет — мой,— сказала Нонна Кирилловна без промедления.— И повторяю: в ваших интересах.

— В каких именно?

Она засмеялась басовитым смехом, надменно изменившим ее лицо.

— Перебеситесь, дорогой, если не прошел такой черед в вашей жизни. Только не выливайте эту грязь разврата на мою дочь,— проговорила она и встала с неподпускающим достоинством, статно обрисованная платьем, и, стоя в позе совершенно владеющей своими чувствами королевы, прибавила тоном вынужденной неприязни: — А вообще-то, Игорь Мстиславович, лучше бы вам разойтись. Вы слишком полярные люди, милый вы мой перспективный ученый. И вам, и Юлии станет легче. По-моему, вы сейчас поклоняетесь одной идее. Как человек меняет старую одежду на новую, так и человеческая душа, отказавшись от старых привычек, выбирает новые... Это ваша заповедь, вероятно.

— Мне хорошо известно, что исковерканная Библия — неиссякаемый колодец расхожих банальностей! — с веселым бешенством возразил Дроздов.— Тем не менее слушать пошлости я не хочу. И более того — не хочу и не разрешу, чтобы кто-то вмешивался в нашу с Юлией жизнь.

— Я не «кто-то», а мать своей дочери, а дочь моя имеет несчастье быть вашей женой! — выговорила Нонна Кирилловна, оскорбленно отклоняя назад вороненую голову, и мужской голос ее стал металлическим. — Только теперь я представляю, как невыносимо Юлии тяжко с вами! Какой это нонсенс — ваш несчастный брак! И вообще: как вам, мужчине, не совестно! Впрочем, чем вам совеститься? У вас этого аппарата нет!

Дроздов поднялся, невежливо заложив руки в карманы.

— Я прошу вас уйти, Нонна Кирилловна,— проговорил он вполголоса.— Я буду благодарен, если вы уйдете. Не дожидайтесь, когда я наговорю вам грубостей. Все прощаю я только Юлии.

Нонна Кирилловна вскрикнула шепотом:

— Вы прогоняете мать вашей жены?

— Предполагайте как вам угодно,— сказал Дроздов.— Прощайте. И постарайтесь пока не приходить к нам. Мне будет вас неловко видеть. Вас проводить?

— И не вздумайте, грубиян! Я знаю, где выход! Да вы мучитель, вы аморальный тип! Теперь я все поняла! Вы — просто мучитель моей дочери!..

Он вышел в соседнюю комнату, остановился у окна, глядя на вечерние снежные крыши, на фонари в пролете улицы, на поблескивающие спины редких машин, и одновременно слышал, как торопились прочные шаги в переднюю, мстительно шуршало платье, потом хлопнула дверь — и наплыла из передней облегчающая тишина.

«Познание — крестный путь человека,— думал он со злостью, ходя по комнате и вспоминая ядовитую фразу Нонны Кирилловны: «Какой это нонсенс — ваш несчастный брак!» — Наш брак? Ах, страсть? Она давно перестала быть основой жизненной силы? Но что же между мной и Юлией? Сумасшествие? Несчастье? Несовременно и современно и то, и другое. Современно третье, четвертое и пятое... «Как вам, мужчине, не совестно?» Вот оно, архаичное и прекрасное понятие, наконец-то! Да, совестно, за себя, за то, что ради мира с ней готов считать себя виновным во всех грехах. Что это — страсть? Порок? А что есть две половины человечества, не способные понять друг друга? Нет, все мы наемные убийцы самих себя, глупостью подосланные, подозрением, злобой...»

На следующий день Юлия сказала равнодушно: «Нам нужно друг от друга отдохнуть»,— взяла Митю и ушла к матери, оставшись жить у нее на две недели. Но самое запомнившееся было не эта разлука, не одиночество в опустелой квартире, без жены и сына, а их возвращение на три дня, как бы случайное, внешне чересчур оживленное, радостное, с визгом и смехом Мити в передней, заметившего у стены купленные отцом финские лыжи. Когда же Юлия бросилась к нему, подставляя, как в молодости, губы, он снова почувствовал запах духов и вина и со страхом увидел вблизи ее бледное похудевшее лицо, с морщинками под глазами.

Глава девятая

— Позвольте, позвольте!..

— Что позволить?

— Есть ли отличие законов природы от законов науки? Ась?

— При чем это твое «ась»? Все похохатываешь? Все ерничаешь?

— Разумеется! Время изменило все законы. Снег выпадает и в июне, нравственность лишается искренности, невинность — в пятнадцать лет. Талант стремится к симметрии. И губит себя, наука ползет к ненаучности... и тоже — мордочкой об асфальт.

— Отец честности! Герой добра! Рыцарь совести! О чем ты? Пожалей ты нас хоть капелюшечку!

— Дурак я, что ли? Кого жалеть?

— Гомо героикус! Пожалей маломощных!

— Беззастенчивую посредственность или — посредственность до непозволительности? Короче, если не произойдет бунта в науке, она взорвется сама, как мыльный пузырь, погибнет. И все мы с ней, племя бездарностей!

— Прекратите!..

— Это типичный чиновничий окрик? Ась?

— Я говорю: перестаньте петь лазаря. Критика — роскошь, а мы не так богаты.

— Критика — это первая леди раздражительности — вот кто она! Отнюдь не писаная красавица, а страшилище! Поэтому дешево она стоит на панелях.

— Откуда атака? Достойна ли она ответа? Откуда эти злые накопления? Критика, провокация и клевета — какого колена они родственники?

— Ась? Тысячу извинений, я в туалет... Мой ответ — за мной.

— Не искушай меня без нужды... Не помню слов, но романс восхитительный. Там есть пронзительные слова: «очарованье прежних дней...» Помните? Эдакое любовное, ностальгическое...

— Очарованье? Весьма трогательно! Любовное? Весьма душещипательно! Весьма! Рыдаю! Но слезы проливать надо по другим вещам.

— Над чем, позвольте?

— Как только богатство и власть стали главной целью нынешней цивилизации, сильные мира сего подвергли человечество смертель-

ному искушению. И тут ваш романс спет. Готовьте катафалк, а не строительство любовных беседок.

— Что-что-что? Оставьте гибель человечества для нервных аспирантов, хе-хе! Давайте спустимся на землю. Скажите: а самоубийство — тоже искушение? Вы слышали о веревке в «дипломате» Тарутина?

— Я говорю обо всем человечестве. Бог дал ему в одинаковой мере и разум, и вожделение, и жадность как искус и наказание. Сначала был искус полов. Так сказать, любовь. Или — желание, страсть, либидо. По Библии — Адам и Ева этому начало. А потом через тысячи лет... Искус властью, атомом и деньгами.

— Оставьте в покое Бога, если вы серьезно. А может, речь идет о самом сатане? О черных дырах в Галактике? А может, они правят бал, искушают противоестественным и запретным?

— Если в понедельник утром сам себя не похвалишь, то всю неделю дураком ходишь!

— Они наглеют, эти доморощенные борцы с отечественным гидростроением!

— Вокруг экологии какая-то эпидемия непристойностей и густопсовое обилие болтовни!

— Поворот северных и сибирских рек — дикая постановка вопроса. Непосильная трата денег. Десятки миллиардов. Вместе с тем жизнь — простая математическая задача. Но от технического прогресса нельзя отмахнуться. И это трагедия народов.

— Поворот — провокация и вредительство! Поворот ведомственных морд в сторону полного развала сельского хозяйства!

— Нет мира между жадностью жизни и неотвратимостью смерти. Есть лишь короткое перемирие. И это и есть прогресс, трагедия народов. Все равно — конец один. Путь туда, где лежит уже семьдесят миллиардов. Какая разница, от чего погибнуть — от стрелы или от радиации, от отравления воздуха или от голода, который приближают наши мелиораторы!

— О, советчики! Вожди! Учителя жизни! Прагматики! Болтуны! Не даете дышать! Давайте заткнемся!

— Прекратите свои давайческие настроения!

— Семидесятые и восьмидесятые годы — мусор шестидесятых и пятидесятых.

— Вы кто — хрущовец? Сталинист? За что вы боретесь? Не палач ли вы духа, извините великодушно? Не гомо люденс ли вы, играющий в науку? Мы с вами по разные стороны баррикад.

— Палач и жертва связаны одной веревочкой.

— А точнее?

— Нихт раухер!

— Что?

— По-немецки это значит: для некурящих! То есть — я могу с вами вступить в серьезный конфликт, хотя я вас, к счастью или сожалению, не знаю. Вы, кажется, что-то пишете? Фельетоны? Виноват, не читал. Но-о... мне ясно: на сцене литературы и науки полно фельетонистов.

— Это вы в мой адрес?

— Что вы, что вы! Истина индивидуальна. Истина относительна. Современная истина кокетлива, как шансонеточка. Она пальчиками приподымет край платья и приоткрывает только частичку своей прелестной ножки. Ах, вы о другой истине? Ах, вы о политике? Там тоже частица! А где она вся? В Сталине? В Хрущеве? В Брежневе? Или во мне, в вас?

— Это вы меня... с частицей? Ха-ха!

— Не заключается ли ваш смех в надежде, которая разрешается ничем? Я понял: вы — журналист. Добавлю: у нас с вами разная группа крови. Поэтому задаю вопрос: знаете ли вы, какого размера уши у валаамовой ослицы?

— Как все-таки груб Тарутин. Опять пьян. Впервые видит человека и просто смеется в глаза. Над всеми подряд издевается, ерничает, всех хочет перессорить, высмеять. Что за гонор! Георгию Евгеньевичу не стоило бы его на такой вечер все-таки... Сегодня он многим испортит настроение.

— Никто его не переупрямит!

— Академику ядовито-интересно, как ты взлетел и как ты упал, разбив лицо в кровь! Он болен мизантропией.

— Послушайте, при чем ослица? Что за ослица? Валаамова? Чушь! Надеюсь, вы не черносотенец, не охотнорядец с кистенем! Не оскорбляете ли вы великую легенду?

— И то, и другое, и пятое. Кстати пришла случайная мысль, как глоток воздуха перед смертью. Тупой собеседник — украденное время. Виноват. Пересохло в горле. Я хочу выпить.

— Нихт раухер? Вы то в туалет, то выпить. Нагрубите и убегаете от разговора!..

— От чего убегаю? Извините, у вас, кажется, пуговица не застегнута.

— Где? Что вы себе позволяете? Как-кая п-пуговица?

— Проверьте. Здесь дамы. Надо соблюдать приличие в костюме.

— Вы не очень вежливы. Я хотел спросить: как ваше здоровье?

— А вам какое дело?

— В общем-то он наглец, несомненно. Оскорбил человека — и как с гуся вода. Посмотрите на его спину. Ему бревна таскать, а не наукой заниматься. Впрочем, умственные его способности таковы, каких он заслуживает.

— Но-но, здесь вы злословите. Этот парень не так прост.

— Желание может быть конструктивным, может быть и разрушительным.

— А освободительным?

— Пе-едант! Все сегодняшние наши проблемы и боли покажутся нашим потомкам всего лишь идефикс.

— Ой ли?

— Американцы считали, что к тысяча девятьсот тридцатому году Америка будет самой богатой страной в мире.

— Удалось?

— Вполне. К концу сороковых.

— В мировой индустрии — технология. У нас — штурм Волги, штурм Днепра, штурм Ангары, штурм космоса и так далее. Не военные ли это термины, глупейшие в наши дни?

— Наука и техника Штатов — это их алиби, и тут ничего не попишешь.

— И так мы догоним Америку — штурмами?

— А кто его знает, как ее догнать!

— Науке надо изменять мир, а мир не поддается изменению.

— Позвольте вклиниться в вашу чудесную беседу?

— Вклинивайтесь, если вы...

— Это пляска на крышке гроба. Вот что ваша наука.

— Но-о... Антиконформизм, антитехницизм, антиурбанизм — это тоже пляска?

— Абсолютно!

— Вы опять, Тарутин, ломаете дрова. Пессимизм!

— Где еще, к хрену, дрова? И где, к хренам, пессимизм? Наша наука очень быстро состарилась и одряхлела. Из ее штанов сыплется песок.

— Эт-то поч-чему — песок?
— Она усвоила новую религию — ложь, то есть — вранье. В науке командуют бездарности. А значит — безнравственность и мелкие страсти ничтожеств.
— Н-да! Вот как?.. Что тогда изменит мир, если не наука? Фатализм? Мировая революция?
— Любовь — да пребудет вовеки. Аминь.
— Любовь?
— И вера.
— И надежда?
— Лишнее. Любовь и вера. Я сказал так. Произошла эрозия времени и надежды.
— Вы хотите исцелить и изменить мир любовью и верой? Не спорю, не спорю. Но, судя по всему, сейчас искушение — убить человека.
— Я не доверяю категории любви. Но доверяют другие.
— Как вас понимать?
— Понимайте так: это неустойчивое равновесие. Нет ни злодеев, ни героев. Есть лишь праведные и неправедные пути людей, которые они выбирают. Общая надежда тихо скончалась после взрыва бомбы в Хиросиме. Сейчас мы ее тихо хороним по третьему разряду, отравляя Байкал, Волгу и все прочее. Чтобы жить, осталась вера в то, что проснешься утром. Чтобы продолжать род человеческий — любовь. Как средство.
— Подписываюсь под его словами четырьмя конечностями. Николай Михайлович прав.
— Не хвали. Я еще оставил в запасе склянку с ядом.
— В таком случае, Николай, за твой цинизм тебя хочется послать... Может быть, ты хочешь, чтобы по нашему невежеству в науке, в экологии, в музыке мы стали колонией Америки?
— Драгоценный мой оптимист, мы с тобой против человека и природы. Мы — я, ты, он... все здесь, кто пьет водку, на которую щедро растратился Чернышов. Мы все... все в заговоре против собственной матушки-родины и против сов-ветского человека.
— Ну уж позволь! Ты политику сюда не приплетай. И не иронизируй: «сов-ветского...»
— Не волнуйся, тебя в каталажку не упекут! Ты благонадежен. Повторяю: за исключением тебя мы все в заговоре...
— Оставь меня в покое. Я не желаю подвергаться провокациям.
— Взаимно.
— Всякое государство во имя выживания стремится к стабильности, а не к ультрареволюционным переворотам. Самоубийцы. Четырнадцать миллионов гектаров самых лучших земель мы затопили водохранилищами ГЭС. Только на Волге и Каме подтопили, затопили, разрушили и перенесли девяносто шесть городов, не говоря о тысячах сел. Это ли не революция?
— Где вы берете свои лукавые цифры? Домыслы, перлы провокации и вранье! Из зон затопления перенесено пять городов: Корчев, Молога, Бердск...
— Стоп, коллега! Я еще не сказал о том, что к началу двухтысячного года запланировано построить еще девяносто три ГЭС с водохранилищами, а это вызовет полную деградацию крупных речных экосистем.
— Да, что-то он сегодня пригласил великое множество народу. Некоторые незнакомы. Вот тот с бородкой — журналист? Как его фамилия? Твердохлебов? Плотиноненавистник. Что-то читал его сердитое. По-моему, в «Известиях». А этот толстяк — кто? Историк?
— Пьет с выраженьем на лице и багровеет...

— Наука — это что? Мнение о жизни? Процессы природы смоделировать в лабораториях невозможно.
— Куда вас занесло? Наука — это попытка выделить истину из хаоса лжи. Во имя гуманизма.
— А разве цивилизация не состоит вся из условностей — деньги, кумиры, дешевые истины. Человек стал гуманнее? Именно. Именно. Об этом говорит вся история. Что ж, ве-еликие завоеватели чужих земель сажали на кол или сдирали с живого противника кожу и набивали ее перьями, чтобы жертва трое суток мучилась, смотрела на имитацию своего тела. Такое было даже в XVII веке. Слава богу, теперь, разумеется, этого нет. Теперь другое: нервно-паралитический газ, напалм, нейтронная бомба... А уж если до этого дело не дошло — снайперская пуля, электрический ток к половым органам, бамбуковые иголки под ногти, электрический стул — в разных странах согласно традициям и вкусу. Не так ли? Волки гуманнее человека.
— Только не забивайте памороки своими волками! Все, знаете ли, зависит от самих людей! Сеять надо зерна добра, каждый день сеять неустанно!
— Дорогой сеятель! Хотел бы я знать, как вы это ежедневно делаете. Научите, пойду в подмастерья.
— Знаете, Тарутин, вы не добрый, вы — демон!
— Согласен, так как знаю, что зерна могут не стать колосьями!
— Надо просить прощения у наших детей за то, что мы произвели их на свет и предали. В общем — они сироты.
— Самое главное — замедлить время в себе. Египетские пирамиды — на кой шут они?
— В каждом из нас три энергии: Иисус, дьявол и конформист. Ясно?
— Конформизм — разве энергия?
— Вся прожитая жизнь оказалась длительной пыткой перед смертной казнью. Я стал неудобен своим детям.
— Я не о том.
— А я о том. Я не понимаю детей, дети — меня.
— Семейная жизнь требует компромиссов, иначе все полетит вверх тормашками! Кто-то сейчас говорил об искушении... Чем? Брачной постелью? Это ведь ловушка.
— Вот вы все об искушении... А я думаю о Теллере, об этом отце водородной бомбы... И о другом атомщике — Оппенгеймере.
— И что?
— Оппенгеймер поддался искушению и дал согласие на бомбежку Хиросимы. А потом сожалел об этом. Во времена маккартизма, «охоты за ведьмами», Теллер преследовал его. Ученый пал жертвой ученого. Вот она — интеллигенция, совесть нации, знамена мысли, гуманисты, рыцари духа! Интеллигенция от науки вызывает у меня тошноту.
— Не вся, не вся, не так мрачно, не сгущай, знаешь ли! Не обостряй! Ты сам от науки!
— А я не сгущаю, я просто не забываю факты — и тошно... Вспомним третий рейх. Тридцать восемь процентов интеллигенции было в правительстве.
— И никто не знал, кто прав и кто виноват?
— Как это понять?
— Хаос — это порядок наизнанку. Мы не так далеко ушли от рептилий.
— И все-таки: берегись коня сзади, барана спереди, а дурака со всех сторон.
— Хотите сказать, что трудно быть в России умным и талантливым? И легко быть дураком?
— Дурак дурака видит издалека.

— Я устал, сдали нервы, и вся моя жизнь стала компромиссом.

— Приезжал этот Милан из Чехословакии и сказал: меня выбросили из партии в шестьдесят восьмом году за то, что ходил возле советских танкистов и убеждал их, чтобы они не стреляли. В Праге было убито восемьдесят человек.

— Не верь им, иностранцам, ни в чем не верь! Не верь лицемерам!

— Недавние жертвы становятся палачами. Палач палача видит издалека.

— Я помню в Амстердаме или Копенгагене рекламу порнофильма: мужчина заламывал назад голову кричащей женщине, а худенький мальчик в белых трусиках вожделенно вонзался зубами ей в грудь... Ошалели!

— Правду о состоянии наших рек надо впрыскивать вместе с клизмой от запора всем больным ложью.

— Вы врач?

— Я — гидролог. Но хорошо знаю запорщиков в министерствах.

— У нас, разумеется, работать никто не хочет. И никто не хочет ни за что отвечать.

— И все-таки кто-то работает, и мы существуем. Едим хлеб, ходим в штанах, ездим в метро.

— Человек многолик, видите ли.

— Один с сошкой, миллионы с ложкой.

— Да-а. Пятнадцать литров на человека в год — одной водки, дикость! Кретинизм! Спаивают, что ли, народ?

— Истина превыше всего. Имен-но! Хотя нередко она своей неудобностью раздражает, как лошадь в трамвае.

— Что за лошадь? В каком трамвае? Когда?

— Вы безукоризненный в правдолюбстве человек! Гений! Будете спорить?

— Благодарю вас. Не буду.

— Может быть, церковь виновата, что боги умерли? Священнослужители виноваты, а?

— Ты слишком много значения придаешь недосказанным истинам, поэтому злишься.

— Я хочу сказать, что в нашей науке полно ослов. Живем в придуманном мире парадов, мумий и манекенов. А надо поддерживать таланты, которых единицы...

— Таланты? У нас в науке все талантливые! Наоборот — надо всех поставить в одинаково равное положение. Талант — это возвышение, высокомерие, индивидуализм! Это противоречит нашему образу жизни! Ась?

— Он очень пьян?

— Не очень.

— И устроил взбрык и свалку, как всегда. Надо знать Тарутина.

— Его мизантропия обращена к нам. Он ненавидит и презирает все и вся. Дайте ему власть в руки, и он нас всех...

— Вы плохо держите позу доктора наук.

— Увольте, неспособен.

— Все просьбы — архаизм. Следует требовать, стучать кулаком по столу!

— Чувствительный привет! Стучите себе в лобик, авось услышите эхо.

— Титулованные посредственности! Звание академика — пожизненно. Смешно!

— Небо такая же тайна, как тайна смерти? Понавыдумали черт-те что! Пытаются познать космос, в то время как не познали самих себя на земле. Ведь нельзя математически объяснить даже чувство лягушки! Ничего не получится. Нет тут математических ожиданий!

— И ты не веришь в людей?

— У меня нет точного ответа. Идиотизм человеческий не знает ни границ, ни нормы. Если бы Павлов жил в наши дни, то вряд ли бы он стал великим ученым. Его уничтожили бы завистники.

— Летчики говорят: тормози в конце полосы, не оставляй любовь на старость, водку на утро.

— Высшее начальство не любит печальных истин. Кто из нас решится сказать, что наш проект в Чилиме — преступление, гибель тысяч гектаров ценнейшего леса и плодородных земель?

— Вэвэ, вы не скажете это министру.

— Я скажу.

— Владимир Владимирович, вы не скажете.

— Я скажу, что самое страшное не сумасшествие, а когда сумасшедший бегает с бритвой. Это — мы.

— Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан! Не тормози, если везет.

— Кандидат географических наук Иван Иваныч после экспедиции у каждого поезда из Перми стоит и каждого ребенка по голове гладит.

— Хо-хо, молодец, крепкий мужик! Весь Урал ножками исходил, все облазил, все общупал. Талант и донжуан.

— О, Русь, Русь! Грустно это...

— Вот так. Торопливая, грубая, неумелая хирургическая операция была сделана Петром Первым над Россией. Такой мужик сейчас, как Иван Иваныч, редкость. А население увеличивать надо.

— Спрашиваю у одного уголовника на Ангаре: как в тюрьме-то было? Отвечает: «А если б и плохо было, то все лучшие места русаки не заняли бы». Националист! Почему не смеетесь?

— Не смешно. Откуда эта непобедимая бессмыслица?

— Был у нас отец великий, светлоусый, светлоликий, тот отец в конце концов нас оставил без отцов. Слышали такие стихи?

— Вы что — сталинец? Вы не против ли двадцатого съезда? Не знал, не знал! Вы что — по-прежнему чтите этого сатрапа и удава? Вы что — против демократизации? И Хрущев, и Брежнев против культа...

— Зачем такой пыл? Я отношу свое поколение к «последним из могикан». Для нас Сталин многое значил. Что касается нашей демократизации, то боюсь, что она давно перешла в американизацию. Пепси, жевательная резинка, моды, поп-музыка, этот рок. Разрушенная, европеизированная, американизированная Москва — не русский город, а некий Чикаго или парижский район Сен-Дени на востоке Европы. Почти ничего русского в архитектуре. В языке, кроме родного мата в трамваях, мусор англицизмов и германизмов. Мы уже космополиты.

— Вмешаюсь в ваш разговор. Есть такой Айзек Азимов, американский писатель, настругал триста книг. Ай да молодец! Ай да энергия! Феномен! И что он в интервью заявляет: «Для меня творчество — это радость, не составляющая труда». Каково! Флобер! Представляете, что за стиль у этого графомана!

— Знаете? У двери глухого пел немой, а слепой на него смотрел с хитрецой.

— Что сие значит?

— Все мы произошли из одного корня — и человек, и обезьяна, и птица, и рыба, и крыса. Наша колыбель — природа. Но как все родилось, произошло, развивалось, менялось, совершенствовалось? Как американец стал американцем, а русский русским?

— Мы не знаем, почему человек чихает, а вы хотите это...

— Так что? Ха-ха! Что дала наша наука миру?

— Пожалуйста. Готовность ко всякому повороту судьбы. Так кто же будет теперь господствовать над нами — Чернышов или Дроздов?

Глава десятая

Кивая знакомым, здороваясь глазами, он шел сквозь хаотично перемешанные голоса гостей, заполнявших большую квартиру Чернышова, останавливался, смотрел по сторонам, отыскивая Валерию, чтобы «пообщаться» с ней и надолго не вступать в другие разговоры, обдающие его то теплыми, то холодными, то колючими волнами. Фраза, услышанная им и почему-то повторенная про себя: «готовность ко всякому повороту судьбы», заставила его насторожиться невольно.

Его все-таки занимала начатая кулуарная суета вокруг его имени и имени Чернышова, связанная с банальной мудростью: свято место пусто не бывает. На это место претендовал Чернышов. Но Дроздова занимало уже совершившееся в кулуарах института и собственное назначение, будто бы подтвержденное в «Большом доме» и Академии, занимало перемывание коллегами косточек, подробный разбор служебных достоинств (талант или видимость?), личных характерных качеств (тигр или кошка?), частной жизни (пьет, не пьет, ходок, не ходок?), то есть небеспристрастный учет всего, что в подобных случаях дает пищу разнокалиберным слухам, сплетням, сочувствию доброжелателей и неизбежному злословию недругов. Дроздов, внешне не проявляя даже иронического интереса к пересудам и преувеличениям, знал и то, что в коридорах трепали его биографию, опять все соединяя с покойной Юлией, с его женитьбой, якобы выгодной, рассчитанной на удобную жизнь, на обеспеченную карьеру с помощью тестя. Эти шепоты бессмысленно было опровергать, так как он не сомневался, что всякая клевета или осмысленная недоброжелательность не признает доказательств, какими бы ни были они.

Прошла неделя после похорон Григорьева, повседневность входила в свою колею. А тот день, когда Дроздов увидел фотографию звездного неба в кабинете академика, и тот незабытый разговор осенним вечером, его предсмертное письмо, вернее — записка, несмотря на их прохладные отношения, оставленная Дроздову вместе с желтой папкой, где были собраны Тарутиным документы о проекте Чилимской ГЭС, не использованные Григорьевым и не посланные «наверх», — все приоткрывало в жизни Федора Алексеевича многое, в то же время затуманивало основное. Чем он жил в последние годы, в сущности, одинокий, больной, но еще упорно цепляющийся за земное существование, за место в науке, еще не чуждый тщеславия, что крайне удивляло Дроздова, не соглашавшегося, что старости вдвойне свойствен этот наиболее распространенный человеческий недуг?

Предсмертная записка, неожиданная до ошеломления («Почему он написал ее мне, липовому родственнику?») не выходила из головы, угнетая покаянным малодушием, запоздалой, уже бездейственной искренностью человека, уходившего из жизни с осознанием вины. И уставая от неумения прощать самому себе, Дроздов то и дело подсознательно повторял врезавшиеся в память одни и те же фразы, написанные на очень белом листе бумаги тонким, скошенным вправо мелким почерком, напоминающим женственную арабскую вязь:

«Дорогой Игорь Мстиславович! Страшно это, не правда ли? Смерть... Но я устал бороться не с болезнью, не со смертью, с самим собою. Я устал смертельно. Федор Григорьев».

После злой досады на Чернышова в день похорон Дроздов уходил от деловых встреч с ним в институте, но, сталкиваясь по утрам в приемной — двери их кабинетов были напротив, замечал на румяном его лице подчеркнутый знак печали: веки скорбно опускались, прикрывая покорные глаза, он со стоном вздыхал толстоватым носом, как если бы дал обет незапамятно пребывать в трауре. Ему, первому заместителю, по стечению горестных обстоятельств пришлось временно взять на себя обязанности директора института. И порой Георгий Евгеньевич имел вид несчастной жертвы, истекающей потом совести. В приливе чувств он как-то сказал, что, будучи в аспирантах, был соблазнен на всю жизнь любовью к науке благодаря доброте и отзывчивости великого академика, именно великого, поэтому малейшая измена истине учителя равносильна для него, скромного ученика, гибельному самоуничтожению.

Получив отстуканное на машинке приглашение Чернышова пожаловать на дружеский раут, «а-ля фуршет», который состоится в субботу в восемнадцать ноль-ноль по беспричинному случаю (английская шутка?), Дроздов сперва заколебался, заранее вообразив этот пустопорожний и нетрезвый вечер со сплетнями и мутными предположениями об изменениях в институте, с общими, либо крикливыми формулами, по сути, не приводящими ни к чему. Но потом вроде бы кто-то осуждающе подмигнул ему: неужели уходишь от всего суетного и пребываешь в гордыне? Подумают, что ты в контрпозиции к Чернышову, вожделенно мечтаешь занять место Григорьева. И он с некоторым преодолением поехал на улицу Мархлевского, где был два года назад по случаю опубликования большой работы Георгия Евгеньевича об экологических проблемах Сибири.

Когда он позвонил в квартиру Чернышова, дверь оказалась не запертой, в передней же разгоряченно толпились незнакомые молодые люди с рюмками, на него не обратили внимания, он сказал им наугад: «Привет, коллеги»,— и сейчас же оказался в хаосе голосов, затопивших столовую, окруженный гудящими спорами гостей, как всегда, после трех рюмок уже не управляемых никем, перебивающих друг друга («Ой, ёй, ёй!») добродушными восклицаниями, наигранным аханьем, язвительным смехом. И ему, еще трезвому, было любопытно видеть потные, коньячно-красные лица, на которых появлялось самое разное выражение — самодовольной уверенности, задиристо-смелого вызова, оскорбленного достоинства, непомерно резвой едкости — и делались то округленными глаза, то взор становился внимательным или бездонным, то по губам змеилась улыбка и вместе с ней голос обретал извивающийся оттенок. Он хорошо знал многих из них, разумных и не вполне далеких, необъяснимо удачливых и не очень везучих, и, не завидуя никому, бегло подумал с совсем уж неоправданной ироничной жалостью ко всем собравшимся на этот раут:

«Сколько здесь самолюбий, тщеславий, обид, нереализовавшихся оскорбленных замыслов и надежд! Что нас объединяет? И объединяет ли нас что-либо?»

Среди толчеи возле стола, среди встречного движения по комнатам этих знакомых, малознакомых, приятных и малоприятных лиц ему хотелось увидеть Валерию, ее в улыбке синеющие мартовским снегом зубы, блеск насмешливой приветливости в глазах,— молодую, казалось, во всем независимую женщину, которую в полусерьезном общении он привык видеть в течение целого месяца на пляже, привык к звуку ее голоса, походке, улыбке, почему-то вселявшими в душу не беспокойство желания, а веселую жажду игры, подобно той безобидной шутке с венчанием. Это мальчишеское озорство, конечно, возникло и от переизбытка крымского солнца, моря, южного неба, что не полностью было забыто.

Не вступая в разговоры, держа рюмку в правой руке (чтобы не здороваться и не задерживаться), он прошел через столовую в другую комнату, надо полагать, гостиную, где волнами колыхался тот же базар голосов, вокруг столиков с бутылками, фужерами и закусками на подносах. Здесь, в этой освещенной предзакатным небом комнате, он не сразу увидел в дальнем углу в кресле Валерию, окруженную группой мужчин. Она отпивала из бокала красное вино и, подняв глаза, слушала Тарутина, который, выделяясь сильной бронзовой шеей, потертыми джинсами, вроде бы наперекор кричащими вблизи с доброт-

ными костюмами гостей, выделяясь небрежно распахнутой на груди спортивной безрукавкой, стоял, поигрывая бутылкой коньяка в опущенной руке, и разговаривал с кандидатом наук Улыбышевым, неразлучно следующим за ним повсюду, худеньким молодым человеком в дешевых очках, яростным спорщиком, всегда взвинченным, с нежными и страстными глазами, какие бывают у способных, увлекающихся «завиральными» проблемами людей. Рядом нетерпеливо курил Гогоберидзе, видимо, дожидаясь конца спора; его жена Полина, с застенчивым лицом, в черном платье, скрывающем полноту, тоже курила вместе с мужем, охватывая сигарету маленьким сердечком рта.

— Карл Ясперс — это великое открытие пограничной ситуации, в нашей жизни, которая, взрываясь, снимает ритм идиотического быта! — донесся до слуха Дроздова негодующий тенор Улыбышева.— Мы все изо дня в день в пограничной ситуации, в плену стрессов, в шизофреническом расстройстве эмоционального мира! Такого не было в истории! Ясперс объясняет нас самих!

— Твой Ясперс не объясняет, что Россия находится в пограничной ситуации, между Востоком и Западом с петровских времен, поэтому больна третий век?

— Петр — зловещий хирург. Орудовал не скальпелем, а бритвой,— сказал Гогоберидзе.

— Я говорю — Ясперс! Карл Ясперс! Что вы все на меня смотрите папуасом? — вскричал Улыбышев в растерянности.— Мне жалко всех вас! Вам ничего не говорит это имя! Темнота! Тмутараканы!..

— Яшенька, ты никогда не устаешь от своей глупости?— Тарутин с едкой усмешкой поиграл бутылкой.— Позволь, мальчик, я тебе налью, чтобы снять стресс,— добавил он, смягчаясь, и налил в сердито подставленную Улыбышевым рюмку.— Что касается твоего Ясперса — это поднебесная белиберда. Гоголь-моголь. Яичница из галош. Что касается истории, то, видишь ли, Яша, над ней давно уже надо устроить суд. Жестокий и немилосердный. Тогда кое-чего поймем. Ясно, Яшенька, младенец ты мой? История, будь она проклята, обезличивает всех нас и превращает в мокрых слизняков, подчиненных вранью. Запамятовал, кто это сказал, но сказал здорово. Что-то вроде того: мы плывем по темному морю неразумия, привязанные к шаткому плоту рассудка. Вот так, Яшенька. Вот так, чудесный.

— И нас наука не объединит? Не объединит всех нас? Не поможет всему человечеству? — неподатливо закричал Улыбышев взвившимся тенорком.— Ересь! Ересь! Ересь! На что тогда надеяться, Николай Михайлович? Во что верить? В дьявола? В манихейство?

«Нет, мальчик не переспорит Николая, у него не хватит разрушительных аргументов», — подумал Дроздов, подходя к ним, услышал охлаждающий голос Тарутина:

— А на что надеешься ты, Яша? И за что ты борешься — за лучшую жизнь или выживание?

— Я? Я за что? Да?

— Да. Выживает, хороший мой, сильнейший. И тот, кто влюблен в самую прелестную в мире куртизанку, имен у которой много — клевета, ложь, карьера. А ты слабенький, ты любишь архаическую правду... поэтому и обречен.

— Я гомо сапиенс, а не насекомое, Николай Михайлович! Я ненавижу ложь!

— Ты гомо моралис. Очень точно, Яша. Но можно ли унасекомить всех нас, вместе взятых? Можно. Это делается десять тысяч лет — от начала истории. Одна лишь ненависть и боязнь голода связывает всех. Не добро, мальчик, не любовь, а страх и ненависть. Всех! — Он с усмешливым прищуром обвел рюмкой толпившихся в комнате гостей.— Человек — не богодьявол, как умилялись древние мудрецы, а дьявол в фальшивом обличье! Такова жизнь в конце двадцатого века, Яшенька. Привет, Игорь Мстиславович, где твоя рюмка? — сказал он подошедшему Дроздову и помахал бутылкой.— В моих руках трофей, унесенный со стола. По опыту знаю — через полчаса в бутылках будет своеобразный вакуум.

— Что ж, гулять так гулять,— отозвался Дроздов с шутливым взаимопониманием и подставил рюмку.— Только зеркал маловато для завершения вечера. Валерия, Нодар, Полина... Полина Ираклиевна, я не ошибся? Давайте чокнемся, что ли, если уж пришли на этот светский раут.

— Вы — пессимист! Это странно! Это даже страшно! Это безвыходно! — закричал Улыбышев, и его тонкие щеки зажглись персиковым цветом.— Вот уж как вы открылись, Николай Михайлович! Значит, вы ненавидите всех? Да? Да? И — меня? Да? Вы, как дьявол, осуждаете всех!

— Если бы ты знал, малец, как я люблю всех этих хмырей со званиями и мечтающих о званиях! — выговорил с равнодушным презрением Тарутин и рюмкой обвел шумящих в комнате гостей.— Что за рожи, что за мудрецы, боже ты мой! Зверинец, публичный дом, замаскированный под монастырь невинных младенцев.

— Значит, вы презираете и меня? — взвизгнувшим голосом продолжал сопротивляться Улыбышев.— И Игоря Мстиславовича, и Валерию Павловну, и Нодара Иосифовича — всех? Так?

— Всех,— коротко и сухо ответил Тарутин и как бы в утверждающей позе опустил голову, отчего римская челка шевельнулась на его лбу.— И надеюсь на полную взаимность. Ибо — реалист.

— Что он говорит, прости и помилуй,— простонал слушавший его Гогоберидзе и схватился за выбритый до сизости подбородок.— Что он городит, Полиночка? Он стал безумцем.

— Все мы — реалисты,— сказал Дроздов,— хотя я с интересом отношусь к идеалистам. Давайте все-таки чокнемся.

— Голос разумного примирения доносится из-за стены,— проговорила Валерия, вставая с кресла.— Раскурим трубку мира, если поможет.

— Голос совести,— поправил Дроздов.— Не согласны, Валерия?

— Согласна и в рай, и в ад.

Она подошла, плавно покачивая расклешенной юбкой, с неотрывным упорством глядя в глаза Дроздова, и все чокнулись в намеренном объединении, которое в те минуты желал установить он.

— Не кажется ли вам, что Тарутин и Печорин — почти синонимы? — улыбаясь, спросила Валерия.

— Валерочка, — возразил Тарутин, — классический Печорин по сравнению с нашим поколением благополучный мальчик. Он жил в счастливые времена.

— Не согласен, да как же так может быть! — взъерошился, поперхнувшись глотком коньяка, Улыбышев.— Печорин — это заемная философия западного байронизма! Лишний человек! Так не может счастливо жить русский! Это противоестественно! Вы же — русский или кто вы?

Тарутин понюхал коньяк, ноздри его дрогнули, и Дроздов, не однажды любуясь его атлетической статью, его силой, плечами, натренированными ежеутренними гантелями, невольно подумал сейчас, откуда все-таки у Тарутина, рожденного, как он знал, в рыбачьей прииртышской деревне, такие светлые глаза, чистый рисунок бровей, такой образцово правильный рот — откуда эти черты, из первого так называемого христианского века? Может быть, русская порода была именно такой? Или декабристы, сосланные в те сибирские края, оставили там голубой след?

— Я русский, Яша. Только не такой, каким бы должен быть. Скорее всего — карикатура на русского. Знаешь, Яшенька, сейчас в не-

которых районах России русский — это только тень русского или — представитель бывшего русского. Может, уже нет нации. Русские выбиты в войну. Вся деревня была в пехоте. Это сплошные братские могилы. Ну, а в сорок первом и сорок втором — плен, угон населения в Германию. Хотел бы я знать, сколько русских после войны рассеяно по белу свету. В общем, Яшенька, мы потерпели победу, а немцы одержали поражение.

— Да что вы говорите, в самом деле? — прошептал Улыбышев и закашлялся задушенно.— Как это так? Есть известные определения нации! И победили мы, а не немцы!

— Яша, вы очень волнуетесь и поперхнулись. Это опасно,— сказала Валерия и легонько похлопала ладошкой Улыбышева по спине.

— Он убьет нас нигилизмом. Я его уважаю, но он сходит с ума,— насупленно закряхтел Гогоберидзе, переглядываясь со своей женой, молчаливо улыбающейся сердечком рта между затяжками сигаретой.

— Николай, договори мысль,— по-моему, ты коснулся чего-то главного,— сказал Дроздов, захваченный какой-то тоскливой жутью после слов Тарутина, который не хотел щадить ни себя, ни других.

— Неужели главного, Игорь?

— Пожалуй, да. Все-таки я русский. Как никак.

— Вернее — воспоминание о русском. Почти такой же, как я,— с колючим холодком поправил Тарутин и посмотрел на Валерию, вскинувшую глаза навстречу его взгляду.— Ну, что ж,— заговорил он неохотно.— И ясно, как день, что ядро образует народ. А где его форма и сила? В чем ядро? В деревне? Вера, надежда, любовь? Нравственность? Даже в небедной Сибири, не говоря уж о средней России, я видел сотни опустевших деревень с забитыми окнами. Когда-то богатые были деревни. В каждой доживают две-три старухи. Это ядро? Или лимитчики в городах — ни городские, ни деревенские? А город — космополитическая ячейка. Если ядра нет, нет и народа. И следовательно, нет его характера, чудесный ты Яшенька.

— Вы — русофоб! Это невероятно!

— Заткнись, Яша,— оборвал Тарутин.— И набирайся ума, пока я жив. Так вот, пупсик от науки. Есть некая общность — соединение единиц в миллионы. Что их объединяет? Когда-то было православие и царь-батюшка. Ну, что ж, была форма. Вот отсюда и философия Толстого: победа над Наполеоном определялась объединением царя и народа. Да и Отечественная сороковых годов была выиграна верой в социализм и Сталина. Так? А что сейчас? Десятки лет проводили немыслимые эксперименты с народом, как над подопытными кроликами... Продразверстка, продналог, отдать землю, взять землю, коллективизация добровольно-принудительная, раскулачиванье, расказачиванье, укрупнение, разукрупнение, раздать коров, обобществить коров, кукуруза и неперспективные села, совхозы вместо колхозов, вместо пшенички травка на полях и черт, дьявол и прочая, и прочая...

— И что сейчас, Николай? — спросила негромко Валерия, в задумчивом внимании касаясь краем бокала нижней губы.

— Сейчас? Показуха и духовный разврат. Народ ни во что не верит. А нашими быстрыми и бездарными журналистами придуман свой народ, какого и в помине нет. Во имя чего? Кому нужна эта клоунада? Хочется дать кому-то по морде, но не знаю кому.

— Вот это безобразие! Никчемный, опасный экстремизм! —взволновался Гогоберидзе, задвигав бровями.— Появилось слово — появились зачатки культуры. Сейчас конец двадцатого века, а ты — «по морде!» Тебя посадят за хулиганство! Или еще за что!

— Подожди, Нодар,— остановила его Валерия и повернулась к Дроздову с отуманенными глазами.— Да, я тоже часто думаю об этом. И уже не верю, узнает ли наш народ свои звездные мгновения. Бывает очень больно после поездок. Пустые магазины, грязь, запустение

и грусть в русских городах. Странно. И это называется победители в такой страшной войне. А вам от этого не больно, Игорь Мстиславович?

— Если боль неотделима от жизни, то она имеет смысл.

— Вы как-то иронически ушли от ответа.

«Неужели и ее задевает эта боль, которая мучит Тарутина и которую стал в последние годы ощущать и я?»

— Зачем вы это спрашиваете, Валерия?

— Мне любопытно: остался ли в России русский характер? Или все мы стали космополитами? Не потеряли ли мы что-то исконное?

Дроздов сказал сдержанно:

— При всей талантливости самая отвратительная черта русского характера — это саморазрушение, если уж хотите знать мое мнение. И легкодумное разрушение всего, что было недавно свято.

— Что было свято?

— Да. И так — всю историю.

— Насчет саморазрушения — булыжник в мой огород, Игоречек?

— Нет, Николай, и в мой. И в огород почти каждого. Суди или не суди историю, но ведь мы сами без сражения отступали с поля боя. Давно поражаюсь, как легко в России наши деды и отцы позволили разрушить православие. Или тысячи уникальных памятников... Да, Николай, есть ли он сейчас, народный дух — не знаю, даже если нам с тобой, интеллигентам, виноват за громкие слова, передана боль народа!

— А вера, Игорь Мстиславович? — спросила Валерия с грустной медлительностью.— Вот я думаю: в Крыму вы, наверное, решили жить смеясь. А потом вы опять...

В вырезе ее платья искоркой поблескивал маленький кулон, касаясь ее молодой загорелой кожи, еще недавно омываемой морем под августовским крымским солнцем; кулон этот сохранил, вероятно, сладковатый, южный запах того невинного утра. Тогда она пришла к нему в комнату, раздернула занавески, впуская свет, синеву, свежесть ветерка, и села на подоконник, покачивая босой ногой. И этот кулон внезапно напомнил Дроздову крошечный золотой крестик на шее у Юлии, когда в годы их незабвенной близости они ехали в электричке в сторону Загорска, а он, возбужденный схваткой со шпаной, стоял с Юлией в тамбуре, целовал ее поддающиеся губы и тот слабо пахнущий духами крестик, на котором она попросила его поклясться.

— Значит, вы хотели бы, чтобы я жил смеясь?

— Не очень. Но что с верой? Где она?

— Знаете, Валерия, что произошло с нами? — проговорил Дроздов.— Один мой знакомый режиссер пригласил меня однажды на просмотр старой кинохроники. Хохот стоял в зале, когда появлялись Никита Сергеевич и Леонид Ильич. Вам ни о чем это не говорит? Была вера и веры нет. Устали от лозунгов, от вранья, от глупости. Много лет живем под девизом: можно, но нельзя, нельзя, но можно. И Россию превратили в полигон нелепых... экспериментов... С нашей помощью.

— Так какого же черта ты, доктор наук, понимаешь все и предаешь Россию? — с тихим бешенством вдруг процедил сквозь зубы Тарутин.

— Я? Именно я? Наверно, потому, что живу по тем же законам, что и ты, Коля! — ответил Дроздов, не без труда пытаясь погасить в себе ответную вспышку.— Я — в большей степени, пожалуй. То есть по законам святого смирения. Они жили скромно, ласково, братолюбиво. Так приблизительно о многих из нас написал бы летописец.

— Мальчики, не пилите опилки,— вмешалась Валерия и с шутливой мольбой поочередно заглянула в глаза обоим.— Зачем вам гражданская война?

— Это тоже черта русского характера,— сказал Дроздов.

— Вон они, твои друзья-экспериментаторы, во главе с Битвиным,— выговорил Тарутин дерзко и махнул бутылкой в направлении столовой, откуда доносился смешанный рокот голосов.— Битвин, а? Фамилия по шерсти. Мастер завязывать узлы. Но кто развязывать будет?

Из столовой, из волнообразного шума в раскрытые двери вошли в гостиную трое мужчин, один из них — приземистый, в летнем серебристом костюме,— шел, энергично здороваясь наклоном наголо бритой головы, его белое лицо, какое бывает у людей, мало выходящих на воздух, выражало дружелюбие, и рядом с ним, как увеличенное отражение этой доброжелательности, сияли счастьем круглые щеки хозяина дома Чернышова, праздничного, уютно косолапого, одаривающего гостей умиленным взором. Академик Козин, не по-старчески прямой, возвышался позади Битвина, вроде бы сопровождая его обособленно; его жесткая, в виде запятой бородка была вздернута в надменной уверенности, его колющий, с безуминкой взгляд скользил поверх голов. Он узко усмехнулся, заметив Дроздова, и тут же Дроздов услышал плотный свежий голос Битвина, обращенный к нему:

— Я рад вас видеть. Я ищу вас здесь, Игорь Мстиславович.

Сергей Сергеевич Битвин, заведующий отделом науки в «Большом доме», вызывал к себе симпатию живостью ума, отзывчивой манерой общения, но вместе с тем в представлении многих был фигурой полустрадательной, ибо его поддерживающие резолюции не всякий раз осуществлялись так, как предполагалось: то ли некто всесильный мешал ему, то ли не было в высших инстанциях единого мнения. Быть может, случалось это и потому, что кому-то в солидных кабинетах на самых верхних этажах не нравилась его известная в научном мире самолюбивая формула. «Правильно все то, что вам говорю я за этим столом. Все, что говорят сейчас остальные инстанции по этому вопросу,— неизвестно, значит, сомнительно». Дроздов считал его разумным союзником с ограниченными возможностями, Тарутин —аппаратчиком, умеющим завязывать узлы идей, то есть укреплять их на своем уровне, и почасту бессильным перед невидимыми со стороны препятствиями сверху.

— Взаимно рад,— ответил Дроздов, пожимая твердую руку Битвина, сильно стиснувшую его пальцы.

— Я не видел вас два тысячелетия от рождения Христова и ищу вас потому, что мне надо переговорить с вами,— сказал Битвин.— Сможете зайти ко мне завтра, часов в одиннадцать?

— В одиннадцать. Завтра? — повторил Дроздов и в этом механическом повторении уже утверждалось согласие, так как Битвин был приятен ему и дружелюбием, и бодрой манерой общения, и совпадением мнений в наиболее спорных вопросах экологии.— Спасибо. В одиннадцать я буду, Сергей Сергеевич.

В следующую минуту он почувствовал затаенную пустоту вокруг себя и будто дуновение сквознячка. Это колючее касание пахнуло из гулкого безмолвия, и в течение некоторых секунд он уловил устремленные ему в переносицу заторможенные изумлением и страхом глаза Чернышова. Мгновенная бледность стерла с его лица полнокровную красноту, и тут же над головой Чернышова возникла задранная бородка академика Козина, с высоты своего роста окидывающего Дроздова взглядом подозрительного любопытства.

— Чудненько,— пробормотал он.

— У меня есть о чем с вами поговорить,— сказал Битвин, деловито заключая краткий разговор с Дроздовым, и повернулся, готовый перейти к другой группе гостей, но его задержал Тарутин:

— Сергей Сергеевич, давайте призовем в сообщники демократию. В вашем «Большом доме» это полагается?

— А что? — засмеялся Битвин, показывая ровные зубы.— В нашем Цека полагается делать многое, что мы не всегда можем сделать.

— Можем. Поэтому и разваливается наука. В Академии — базар статистов, с которыми заигрывает Цека.

— Вот как! — воскликнул Козин жестяным голосом.

— Точно так!

На лицо Тарутина наползало выражение дерзкого упрямства, но, пожалуй, непонятно было, почему он в присутствии Битвина негаданно бросил вызов вице-президенту Академии, не скрывая небрежение к его коллегам. Нодар Гогоберидзе переглянулся с Валерией, сделал обморочные глаза и, как поверженный, уткнулся лбом в плечо своей жены. Улыбышев, покрываясь пятнами, кончиком перекрученного галстука суматошно протирал стекла очков; Георгий Евгеньевич Чернышов, силясь удерживать гостеприимство хозяина, сконфуженно оглядывался, и в этот извиняющийся момент приобретал вид врача, к сожалению, встретившего в счастливом месте умалишенного пациента.

Вокруг смолкли голоса.

Как только появился Битвин, сопровождаемый Козиным и Чернышовым, гости, не выдавая излишней заинтересованности, стали чутко прислушиваться к начатому разговору, и теперь зловеще упавшая в комнате тишина перепугала Георгия Евгеньевича совсем уж непредсказуемым скандалом. И он поспешил вкрадчивым голосом проговорить, очень надеясь вернуть мирное настроение, какое должно уравновесить все:

— Милый Николай Михайлович... Если надо что-то делать с наукой, то следует прорваться сквозь груз традиций, которые ограничивают... Не правда ли?

— Правда в одном, милый Георгий Евгеньевич,— сказал Тарутин в тон Чернышова.— Все люди несолнечной стороны должны уйти из науки. А вы человек — несолнечной стороны, Георгий Евгеньевич. И вы, многоуважаемый товарищ Козин, к сожалению, будучи вице-президентом Академии наук...

Он, казалось, непомерно спокойно помедлил, не прерываемый никем, и в этот миг у Чернышова поджались побелевшие щеки, шершаво покрываясь мурашками. Академик Козин, возвышаясь прямой фигурой позади низкорослого Битвина, воинственно стиснул рот, подергал бородку, будто взнуздывали его, внезапно наклонился к уху Сергея Сергеевича и что-то прошептал с гадливой судорогой лица; Дроздову послышалось, что он произнес сжатую хрустящей спиралькой фразу: «омерзительно пьян», но Битвин, заложив руки за спину, глядел на Тарутина в удивленном раздумье, потом сказал тихо:

— Вы недоговорили...

И Тарутин продолжал с той же невозмутимостью издевки:

— В этой комнате, Сергей Сергеевич, половина докторов, половина кандидатов. Цвет, так сказать, наук об окружающей среде...— Тарутин покачиваньем бутылки в руке показал на гостей, замерших на своих местах.— Но почти все — это зеркала несолнечной стороны, прошу тысячу извинений у своих страждущих коллег! Тем более в числе их и я, многогрешный. Это в порядке здоровой самокритики. Поэтому спасение почтенной науки — в очищении. Весь титулованный мусор — вон, вон, к дьяволу, подальше, подальше к черному хлебу! А наиболее бездарных — в особую для этого академию бездельников. Без дармовых харчей. Вы, Сергей Сергеевич, желаете такую революцию во имя оздоровления науки?

— Продолжайте...

— Продолжаю. Но — революции на горизонте не предвидится. Поэтому есть пьеса благочестия. Перед вами на сцене — главным образом статисты столичного водевиля из жизни ученых...

И Тарутин с развеселым видом бесстрашного парня, как если бы

обрел вечную неприкосновенность, снова показал бутылкой на притихших гостей в комнате, где в кладбищенском безмолвии, в оледеневших лицах накалялась, нарастала неподвижным ураганом ненависть, ощутимая душным туманом в уплотняющемся сигаретным дымом и дыханием воздухе. Но, вероятно, сбитые с толку присутствием высоких лиц, никто из гостей не осмеливался первым проявить ни громкий протест, ни возмущение, ни гнев. И только иные в недоумении переглядывались, объясняя друг другу злыми глазами, что неуправляемая огорчительная случайность свела их в общество с душевнобольным, и здесь ничего не поделаешь. Потом в углу гостиной прерывистым вздохом прошелестел женский шепот: «Как же он нас ненавидит», затем осторожненько стукнула чья-то рюмка, поставленная на столик, и тогда Улыбышев, возбужденно тряся очками, поворачивая остроугольное, покрытое пятнами мальчишеское лицо то к Битвину, то к гостям, то к Тарутину, вскрикнул с отчаянием:

— Как же это так? Все мы вместе — целый мир! Друзья, не надо этого, не надо разъединяться!.. Не надо!

— Наивный мальчик, мы живем в несчастливом мире,— перебил Тарутин и со скучным лицом погладил Улыбышева по заросшему затылку.— В загнившем подлунном мире. Где издревле ничтожество и придворные солисты способны самоотверженно чавкать, пить, как вот мы сейчас с вами, Яша. Оно вечно, ничтожество. А сейчас пришло его царство...

— Да вы просто Чацкий! Вы — невменяемы! — оглушительно и трескуче захохотал Козин, перекашивая узкие прямые плечи, словно пиджак его стискивал, щекотал под мышками, и вдруг стрелой нацелил длинный коричневый палец в грудь Тарутина.— Вы — жалкий клеветник, позвольте вам сказать! Вы, милейший, облили грязью всех присутствующих и уважаемых здесь людей! Опорочили звания интеллигента и ученого, товарищ Тарутин! Вы не постеснялись ни присутствующих дам, ни Сергея Сергеевича, ни своих коллег, как бы вы к ним ни относились! Я позволю себе думать, что это в высшей степени некорректно и низко! Гиньоль!

— Филимон Ильич, — поморщился Тарутин. — Вы слишком обременены постами и должностями, чтобы позволить себе думать. Какая должность вас дернула назвать меня клеветником, да еще жалким? Сердечно сожалею, что сейчас немодны дуэли и не бьют физиономии. Поэтому в присутствии Сергея Сергеевича позволю себе оскорбить вас следующим образом. Вы, как и многие в сонме наук,— мо-ло-дец с горящими глазами. Вы ведете нас от одной победы к другой, то есть к счастью. Вот видите, насколько я уважаю старость и как я интеллигентен по сравнению с вами.

По-видимому, всем, кто стоял рядом, показалось, что в следующий миг Филимон Ильич ударит Тарутина,— так негодующе передернулась вся его рослая фигура, так режуще сверкнули безжалостной ненавистью его глаза, так сатанински вздернулась его бородка. Но сейчас же Битвин, с каким-то тщательным интересом слушавший Тарутина, высвободил руки из-за спины, сделал останавливающий жест.

— Надо полагать, излишне переходить на личности, Николай Михайлович. Что касается ваших некоторых... не всех, не всех... некоторых суждений о науке, то не преувеличиваете ли вы? У вас, я полагаю, есть и сходные точки зрения со многими присутствующими здесь коллегами!

— Да вряд ли! — решительно возразил Тарутин.

В комнате, уже до предела переполненной предчувствием скандала, возник волнообразный рокот возмущенных голосов, послышались негодующие восклицания женщин, потом трескучий голос академика Козина произнес брезгливо:

— Несчастный завистник! Стыдно за вас! Опомнитесь!

— Стало быть, никаких точек соприкосновения? — настойчиво переспросил Битвин, не замечая движение, нарастающее в гостиной.

«Николай презирает их всех и не скрывает этого,— подумал, хмурясь, Дроздов.— Но что хочет Битвин? И зачем Николай намеренно вызывает злобу у всех?»

— Соприкосновения при одном условии, Сергей Сергеевич,— с насмешливой неохотой ответил Тарутин.— Если бы вы позволили разогнать две трети института. Григорьев этого не смог. Институт чертовски устал под давлением таких несокрушимых титанов административного оптимизма, как академик Козин. Я молчу, конечно, о докторе наук Чернышове. Для него любой малоароматический звук из Академии — наивысший закон. Поэтому — я за очищение института. Хирургия, невзирая на лица... У вас, я вижу, нет рюмки, Сергей Сергеевич? — неожиданно проявляя товарищеское внимание, сказал Тарутин и, глянув на бутылку коньяка в своей руке, деликатно извинился: — Простите, мне хочется выпить, но...

— Действительно. Свою рюмку я оставил в другой комнате,— отозвался Битвин и вскользь оглянулся на лоснящиеся лица гостей.— Впрочем, мне достаточно,— добавил он строго.

Сергей Сергеевич Битвин, занимающий высокий пост, был человеком не робкого десятка. Более того — от него во многом зависело продвижение, ученые звания, награды, благополучие почти каждого находящегося сейчас здесь, в квартире у Чернышова. Однако Дроздов понимал, что все-таки при твердой своей власти Битвин не всесилен в этом скоплении мужей науки, оснащенных разными групповыми страстями, анонимными перьями, пристрастиями, склонностями и предвзятостями, людей разных, наделенных некими способностями и вовсе не имеющих их, особей так или иначе элитных, к которым не один год принадлежал и гидролог Тарутин, в последнее время открыто и безрассудно не признающий в общении с коллегами благоразумной осторожности, видимо, окончательно придя к какому-то личному решению, лишавшему его необходимого самосохранения.

«Кто распустил слух, что он носит веревку в «дипломате»?» — мимолетно подумал Дроздов, видя, как Тарутин налил себе в рюмку коньяку и сейчас слегка поднятыми бровями искал, кому бы налить за компанию.

Никто не подставил рюмку. Все, кто стоял вокруг Битвина, омертвело молчали.

— Пожалуйста, каплю,— произнесла Валерия, с улыбкой взглядывая на Дроздова.

— Плесни две капли,— сказал Дроздов, протягивая рюмку, чувствуя, что враждебное молчание, окружающее Тарутина, становится физически ощутимым, и вдруг, помимо воли, что-то жарко взорвалось в нем против этих ядовито-напряженных лиц знакомых и незнакомых коллег, и он проговорил через силу вежливым голосом:— Тарутин, пожалуй, прав, Сергей Сергеевич. Даже истина порой нуждается в очищении. Все мы попадем в рай, потому что ад уже переполнен грешниками.

— Вот те раз, Игорь Мстиславович, вот те раз! — воркующе запел Чернышов, в меру удивляясь, в меру осуждая, и, искательно мелькнув глазами в направлении Битвина, неслышно похлопал пухлой ладонью о ладонь, изображая аплодисмент.— Изумительно! Вы парадоксалист, Игорь Мстиславович, вам остроумия не занимать! — заговорил он приподнято.— Но скажите, неужели вы тоже нигилистически настроены к науке? Помилуйте, за что? Вы же не человек экстремы! Все мы служим одному великому делу, а в нашем институте работают прекрасные люди... известные, опытные! В том числе и Николай Михайлович! Конечно же! Но зачем он сердится на своих друзей, которые, поверьте, любят его!..

Чернышов, добролюбивый в ласковой своей гостеприимности, сделал подобие поклона толстой, стянутой галстуком шеей, этим поклоном призывая к товарищескому согласию, к доброму пониманию единомышленников, объединенных общей целью.

— Ах, Сергей Сергеевич,— продолжал Чернышов, доверительно снизив голос.— Мне очень хотелось после кончины Федора Алексеевича, чтобы сегодня нас сплотил просто дружеский вечер. Я против всяческих междоусобиц. Я хочу этого всей душой. И думаю, что и вы тоже этого хотите, Николай Михайлович. Вы умный, талантливый человек... И я вас очень уважаю.

Он снова сделал ныряющее движение шеей в сторону Тарутина, и от смущения круглые щеки его по-девичьи заалели.

Тарутин равнодушно сказал:

— Самая страшная казнь для сплетников — отрезать уши у тех, кто слушает сплетни. При всем том вы не доросли.

— До кого... до чего не дорос?

— До меня не доросли.

— Славно, славно! Как это мило, вы, Николай Михайлович, удивительный человек, неподражаемый!.. Да, да, не дорос. Почему же не дорос?

— Потому что я — не то, что высказали вы. Лицемер, хитер, тщеславен и не ученый, Точнее говоря, я — профессиональный негодяй. Как и многие присутствующие... Вы не точны!

— Славно, славно! Вы просто начитались Захер-Мазоха! — и Чернышов с умиленным восторгом, будто услышал нечто невероятно остроумное, вторично изобразил пухлыми ладонями неслышный аплодисмент и, придвигаясь к уху Битвина, заговорил, тая карими глазами: — Хочу вам сказать, Сергей Сергеевич, что в нашем коллективе остроумнейшие люди, вертят словами и так и эдак, одно удовольствие общаться со своими друзьями! Думается, и Николай Михайлович, как всегда, шутил, когда сомневался в компетентности...

— Да? Так? — усомнился Битвин. — Неужели так?

— Р-разумеется! — едким голосом врезался Козин, неотступно возвышаясь за плечом Битвина.— Где вы видите удовольствие? Вас облили грязью, Георгий Евгеньевич, а вы этого постарались не почувствовать! Однако... — Козин озлобленно вздернул плоские плечи.— Однако, знаете ли, самая высшая степень безобразия, когда в винегрет начинают тыкать окурки! Тарутин элементарно пьян! Я возмущен его неинтеллигентным поведением, распоясанностью, эдаким деревенско-есенинско-богатырским молодечеством! Стыдно! Мне стыдно, Сергей Сергеевич, слушать эти оскорбления моих коллег! Позорно слышать эти низкие выпады против науки... от нетрезвого человека, которому место, мягко говоря, в вытрезвителе!

— Жаль, маэстро! — воскликнул Тарутин и, словно наслаждаясь своей невозмутимостью, подбросил, подобно жонглеру, бутылку с коньяком, поймал ее, сказал «але-оп», светло глядя в черные грозные глаза Козина.— Право, у меня не было особых причин, Филимон Ильич, для резкости в легковесном споре. Спор еще разборчив по смыслу, не так ли, а? Кто чье займет место и почему? И какой в тараканьей возне смысл? Вы знаете, что такое сартрианский пессимизм?

Козин весь вскинулся в гневе.

— Да какое отношение имеет к вашей пьяной грубости Сартр? Вы хотите изобразить из себя экзистенциалиста? Хотите исходить из эгоистического «я»? Ни с кем не считаясь? Да кто вы такой? Апостол? Пророк? Корифей науки? С-стыдно и невыносимо вас слушать!

— Не убивайте, Филимон Ильич, не прибейте до смерти сирого! — взмолился ернически Тарутин.— Выслушайте мысль, хотя бы не Сартра, а мою. Все неизменно в Академии наук. Есть лишь вариации бессмысленности.

— Что за чушь вы молотите невразумительную! Для разговора я к вашим услугам, извольте! Только искренно! В трезвом виде! Искренно! Разумно! А не во хмелю!

— Хотите искренности, Филимон Ильич? Отвечаю, будучи не очень под булдой. Искренна только природа, а мы все ее покорители — тараканы, тараканчики, клопы, мокрицы, мошки, букашки, возомнившие нечто. В том числе и вы, великий наш ученый, факел разума и светоч наш, угробивший Волгу и Ангару! На очереди — Чилим?

— Да как вы смеете издеваться над всем? — угрожающе вскричал Козин.— Вы — в своем уме? Вы отвечаете за свои слова?

— Полностью. Как видите, жизнь — река, бегущая к океану. Для одних он называется смертью, для других вечностью. Мементо мори. Вы, по-моему, не любили Григорьева? Вижу: вам не нравится мой пессимизм, но... наверняка понравится рюмка коньяку. Желаете? Армянский, пятизвездочный... Где ваша рюмочка? Помянем светлую душу Григорьева...

— Вы здоровы, товарищ Тарутин? Или вы психически нездоровы?

— Здесь все здоровы, и вы это видите,— сказал досадливо Битвин, стоя в странном ожидании конца злоречия.

— Так помянем Федора Алексеевича Григорьева?..— повторил Тарутин и, подмигнув Козину, опять подкинул и поймал бутылку коньяка.— Где ваша рюмочка?

— Я не пью, уважаемый. Не пью! Вы — с ума сошли?

Дроздов достаточно знал непредсказуемость Тарутина, но то, что происходило сейчас на этом «светском междусобойчике», показалось ему уже не вздором и не ссорой, а противоестественным подготовленным представлением, заранее отрепетированным, кому-то для чего-то нужным. И стало ясно, что и академик Козин со своим барственным негодованием, своей защитой оскорбленных коллег (которых он в душе презирал), с лживым призывом к трезвой искренности, и Чернышов, растерянный (в то же время торжественно затянутый в черный костюм), умоляющий влажными глазами каждого не ссориться, и Улыбышев, обмеревший в восторге ужаса, и нахмуренный Гогоберидзе рядом с молчаливой женой, и все, кто был в гостиной, пил, ел, слушал, слышал и видел, что происходило здесь, все, кто раздражался, опускал глаза, отворачивался, мрачнел, кривился злобой,— все они, что бы ни говорил Тарутин, оставались, в сущности, неуязвимыми, ничем не рискующими, ничто не могло поколебать их репутацию, лишить научного звания, понизить в должности. Это, мнилось, была шутовская перчатка, брошенная Тарутиным всем сразу, но по мертвецки натянувшемуся костлявому лицу Филимона Ильича, по его заостренной, пикообразной бородке, суженным векам видно было Дроздову, что Николай в эти минуты подписал себе самоубийственный конец научной карьеры и не будет прощен злопамятным Козиным до конца его дней. Но вместе с издевательской клоунадой шла от Тарутина какая-то ледяная сила твердости, как будто он навсегда, решенно и цинично обрывал все, что непереносимо опротивело ему.

— Мне было бы интересно знать, Филимон Ильич, да и не только мне...— заговорил Тарутин, не отводя глаз от коричневого лица Козина.— Вы хорошо спите по ночам? К вам не приходит во сне тень Федора Алексеевича?

— Да что вы мелете? Что за тарабарщина? — воздел плечи Козин, обращая вспыхивающий яростью взгляд на Битвина, который молча слушал с ничего не выражающим лицом.— Какая галиматья! — выговорил он гадливо.— Не белая ли горячка у вас, милейший Тарутин?

— Я позволю себе спросить, прошу прощения, — подчеркнуто извиняясь за возможную несправедливость по отношению к Филимону Ильичу, продолжал Тарутин.— Не являлись ли вы злым роком Федора Алексеевича? И не состоите ли вы в заговоре?

— Как вы сказали? Что? В заговоре? В каком заговоре?

— Против всего живого. Вы были...

— Что? Как вы смеете?..

— Вы были не палачом на эшафоте, боже упаси. Но палачиком в кресле, в течение многих лет. И казнили все живое. Вы протестуете?

Он проговорил это почти спокойно, но в тишине гостиной стало от обморочной духоты нехорошо дышать — жирно залоснилась разом проступившая испарина на залысинах Чернышова, белое лицо Битвина мгновенно отпустило раздумчивое выражение, стало сосредоточенно непонимающим, а Козин дважды глотнул ртом и, переводя дыхание, выкрикнул гневным шепотом:

— Эт-то вы сказали мне? М-мальчишка! Вы в сыны мне годитесь! В-вы такое сказали мне?..

— Не обязательно. Это я Георгию Евгеньевичу, — и Тарутин по-приятельски моргнул Чернышову: — Вы, Георгий Евгеньевич, должны быть признательны моему отцу, академику Козину. Он расчищает вам путь. Так что скорее всего вы займете место Федора Алексеевича, как достойный ученик.

— Неужели вы можете так шутить?.. Так издеваться? Я ничего плохого вам не сделал! Никто вам ничего плохого не сделал! — заговорил Чернышов, задыхаясь от обиды. — Я не хочу никакой вражды! Я за десять лет работы в институте никому не причинил зла! И вам, и вам, Николай Михайлович! Вы ко мне несправедливы! Вы... вы недобросовестны! Вы умный, образованный человек, а стоите от глупости на один шаг! Вы позволяете себе глупость...

— На шаг? Так близко? Впрочем, проверю, Георгий Евгеньевич.

С невозмутимым видом Тарутин поставил на пол бутылку, затем отмерил шаг в сторону Чернышова и выпрямился перед ним, простодушно глядя ему в глаза.

— Совершенно верно. Один шаг. Почти по-наполеоновски. — И обернулся к Битвину: — Не обращайте внимания, Сергей Сергеевич, на наши шалости. Какова наука, таковы и шалости.

— За что вы меня? В чем я провинился?

И Георгий Евгеньевич в страхе попятился от Тарутина, замахал короткими ручками, как тюлень ластами. Полные щеки его судорожно подтянулись в нервном ознобе, и маленькие слезы покатились по лицу, по его губам.

— Я виноват, я виноват, я, должно быть, очень виноват, а я хочу только одного — мира, согласия, дружбы... Извините нас, Сергей Сергеевич, за эти розыгрыши, за эти неловкие шутки...

И, побито улыбаясь сквозь уже умиленные слезы, он нежно взял под руку Битвина, намереваясь увести его. Но Сергей Сергеевич задержался, с недоверчивым терпением наблюдая Тарутина: тот как ни в чем не бывало разглядывал остаток коньяка, подняв бутылку к закатному свету в окне.

— Не Понтий ли вы Пилат? — спросил Битвин неестественно веселым голосом. — Не послали бы вы всю науку на Голгофу? А?

— Послал бы, — сухо ответил Тарутин. — За малым исключением. Но сам пошел бы первым. Дроздова оставил бы на развод либералов. — Он глянул на Дроздова. — И еще пяток.

— Понятно и ясно, — бодро выговорил Битвин, опуская брови, и кивнул Дроздову бритой головой. — Завтра я вас жду.

— Спасибо. Я буду.

— Понтий не Понтий, а уж вы, Георгий Евгеньевич, всепрощенец! Иисус из Назарета в полнейшем виде. Слезу-то к чему пустили, овечка райская? К чему? — пренебрежительно фыркнул Козин, следуя за Битвиным к двери, и на ходу зло потискал округлую спину Чернышова, отчего Георгий Евгеньевич оробело ссутулился, втянул голову в плечи.— Слезу-то, слезу к чему? К чему это вы рассиропились, разнюнились, когда вам ребра ломают? И вы еще хотите быть организатором в науке? Поучитесь выдержке хотя бы у своего соперника! Учитесь у Дроздова!

Он говорил желчным голосом, нисколько не заботясь о репутации жалкого в своей доброте и непротивлении Чернышова, рассчитывая, что выговор этот будет воспринят и Битвиным и, несомненно, Дроздовым, которому не без цели нашел нужным мимоходом польстить.

И Дроздов понял это.

— Глубоко ошибаетесь, Филимон Ильич, — сказал он внятно. — Я соперник только вашего комплимента!

С ненатуральной улыбкой, обнажившей бледные десны, Козин оглянулся, заставив нажимом пальцев оглянуться и Чернышова, затем помахал около виска ручкой: «Адью, адью!» — и сейчас же как-то послушно и испуганно скроил улыбку Чернышов. Его полнокровное лицо с капельками не то слез, не то пота было обмыто тоской гибели.

«Надо ли было приходить? — подумал Дроздов с испорченным настроением. — Для чего Чернышов так широко пригласил всех? Неужели он не понимает, что это фальшивое объединение, в сущности, ничего сейчас не значит? Он глуп, хитер или слишком расчетлив? Как грустно все-таки, черт возьми! И Тарутин снова пьян».

Он недовольно посмотрел на Тарутина и с удивлением поправил себя: нет, по всей видимости, Николай не был пьян. Он, покойно усмехаясь, стоял в окружении Гогоберидзе, его скромной жены, взволнованного Улыбышева, до такой степени жарко говорившего, что от перевозбужденных жестов воротник затерханного пиджачка налезал углом на его худую шею.

— Нодар Иосифович прав, мы ваши друзья, мы вас любим! Но вы никого на свете не признаете! — вскрикивал срывающимся тенором Улыбышев. — Я могу им в лицо крикнуть, что вы честнее их! Но вы ведете себя, как ницшеанец, вас даже называют грубым циничным человеком! Неандертальцем! Они вас возненавидят! Они не понимают! Они будут сводить счеты с вами! Мне это больно! Неужели вы так надеетесь на свою силу? На свои бицепсы, да? В науке — это доказательство? Вы сами меня учили, что факты...

— Ну, хватит, парень, хватит бить копытами, — сказал Тарутин и, мягко взяв за ребячьи плечи Улыбышева, подтолкнул его к столу, где продолжали есть и пить «а-ля фуршет», иногда с острыньким опасением поглядывая в сторону Тарутина. — Иди-ка, Яша, к столу и принеси-ка мне бутылочку шампанского, если еще осталось среди этого жрущего царства. На худой конец — сухого вина.

— Не ходи, Яков, не ходи! Он готов! Ему не надо! — взбудораженно воскликнул Гогоберидзе, озираясь на столпившихся вокруг стола коллег, разъяренным взглядом отталкивая их неприязненное любопытство. — Ты — гордыня, выщипанный павлин, хочешь возвыситься над всеми? — закричал он шепотом в лицо Тарутина, и растопыренные пальцы штопором взлетали, ввинчивались в воздух. — Ты наживаешь поголовных врагов! Ты ущипнул и Игоря, Игоря! Он либерал? Я перестаю тебя понимать! Ты — мастер наживать себе врагов! Хочешь быть против всех? И против друзей?

— Разве? А хрен с ними, с врагами. А Игорь над схваткой. Он не в счет, — ответил Тарутин с легкомысленной убежденностью и заботливо оправил на Улыбышеве поношенный пиджачок. — Паря, ты медлишь. Давай к тому столу. Ты перестал выполнять мои приказания.

Улыбышев, несмотря на частые несогласия с Тарутиным, верный и преданный ему, кинулся к столу, всегда нацеленный с радостью выполнить любую просьбу своего кумира, влюбленный в его таежное

прошлое, в его независимость, всегда готовый спорить с ним и самоотреченно защищать его от нелюбви и нападок.

— Нодар, у меня нет врагов, у меня лишь недруги, — сказал Тарутин и засмеялся.

Но за этим его смехом угадывалась до предела скрученная внутри ненависть, удерживаемая от разжатия каким-то последним крючочком, сохранявшим прочность неимоверным усилием.

— Николай! — позвал Дроздов, подходя с рюмкой к нему.

И Тарутин, полуоборачиваясь, отозвался беспечным голосом:

— В основном с утра был им.

Дроздов приготовлен был спросить, не пора ли им исчезать «по-английски», не пройтись ли пешком по московским улочкам, не проветриться ли после духоты, но почему-то произнес совершенно другую, насильственную фразу:

— Как чувствуешь себя, Николай?

— Отлично. Хорошо. Даже, можно сказать, удовлетворительно! Продаю патент на остро́ту. Где шампанское, Яша?

Он взял бутылку шампанского из услужливых рук Улыбышева, подхватил чистый фужер и салфетку с тумбочки и, твердо ступая, пошел в дальний конец комнаты, где в углу под торшером сидела на диване Валерия в обществе экономиста Федяева, педантично модно одетого в кремовую тройку, элегантного от клетчатой бабочки на ослепительной рубашке, он женолюбиво мерцал голубенькими глазками и говорил, искусно владея голосом:

— Как только угроза нависает над миром, женщина во имя спасения рода человеческого должна стать во главе общества и, вне всякого сомнения, во главе семьи. Я — за матриархат. Почему бы вам не стать во главе института? Вы бы прекрасно...

— Вы об эмансипации? Но я бы не прекрасно... — Валерия отвечала невнимательно, с любезной рассеянностью. Она лишь вскользь поддерживала разговор; в любимой позе своей, закинув ногу на ногу, покачивая туфлей, она со стороны наблюдала гостей, словно вовсе не замечая ни Тарутина, ни Дроздова, ни той злобной напряженности коллег после того, что произошло здесь несколько минут назад. Когда же Тарутин с беспечальной решительностью направился к ней, наискось пересек комнату мимо всполошенно посторонившихся, как перед танком, гостей, она подняла глаза навстречу, казалось, через пространство ища его зрачки, и Дроздова удивило: знакомая безбурная улыбка усталой от поклонников куртизанки заиграла на ее губах. Тарутин сказал:

— Мечтаю присоединиться к обществу луноликих красавиц. Позволите?

— Я рада, — ответила она. — Вы дурак, Николай.

— Вопрос по Козину: это вы сказали мне?

— Нет. Это я сказала Федяеву.

— Ой, как вы свили меня в веревочку, Валерия Павловна! Как мигом превратили в мальчика для битья! А я не хочу!.. — воскликнул с кокетливым страхом Федяев и вскочил, тряся бабочкой, начал пятиться от дивана, говоря одновременно и Валерии, и Тарутину: — Не смею быть лишним, не смею мешать... Миллион извинений!..

Тарутин мельком поддержал его:

— Прозой ты чешешь здорово, Федяев. Да вознаградит тебя аллах лучшими гуриями из своего сада. Пока, медоточивые экономисты! Встретимся в сауне!

Валерия проговорила укоряющим голосом:

— Николай, все остроты уже были высказаны великими. Современный острослов — хорошо замаскированный плагиат. Не слишком ли усердно мы обижаем друг друга? — Она показала на место рядом с собой. — Посидите. И не уходите. Хоть вы и дурак порядочный. От вас скоро будут бегать, как от прокаженного.

— Благодарю, луноликая.

Тарутин склонил голову, постоял так в покорной позе, подчеркивая этой позой некую восточную признательность, затем с тем же идолопоклонством опустился на одно колено перед Валерией, спросил тихим голосом трезвого человека:

— Валерия, вы придете на мои похороны?

Она, без удивления принимая его шутовство, сказала с ласковой грустью:

— О, да. Вы хотите рассказать какую-то историю в стиле Эдгара По? Я слушаю...

— Я хочу выпить с вами шампанского, — проговорил Тарутин и слегка дрожащей рукой налил в чистый фужер зашипевшее пеной вино. — И по струям шампанского забраться вместе с вами на небо.

— Вряд ли удастся, Николай. Очень уж высоко. — Она взяла фужер, кипящий, стреляющий пузырьками, договорила легковесным тоном, какой в праздном разговоре установила с ним: — Зачем такие невыполнимые задачи?

Он возразил с убедительной бесстрастностью:

— Удастся в одном случае. Если я выпью шампанское из вашей туфельки. Можно, я сниму?

Она перестала покачивать туфлей, в ее серых глазах не было ни искорки смеха.

— Что с вами, Николай? Бедненький, что случилось? Вы здоровы? — Она наклонилась к нему, потрогала обратной стороной ладони его лоб. — Послушайте, Николай, вы весь как лед. Должно быть, пора уже, а? Давайте выпьем шампанского — и по домам?

— Я умру, Валерия, если вы не разрешите снять вашу туфельку. Так можно? — повторил упрямо Тарутин, не стесняясь того, что в комнате отливом смолкали голоса, потом из тишины донеслась, наподобие мычания, чья-то непрожеванная фраза, произнесенная набитым ртом: «Это что же, до Кащенки так дойдем?» — и за столом зашелестел язвительный смешок, неприятно опахнувший Дроздова.

То, что Тарутин был пьян, теперь не было у него сомнения, но пьян он был никак незаметно внешне, — ни по его походке, ни по жестам, ни по звуку голоса Дроздов не мог сегодня определить степень опьянения Николая, только взгляд прямой, дерзкий, прозрачный выдавал его состояние.

— Николай, я прошу вас, не надо этой шутовской куртуазности, — шепотом попросила Валерия и умоляюще, соучастливо положила руку ему на голову. — Вы ставите себя в неудобное положение. Встаньте, пожалуйста. Нас не так поймут. На кой черт вам моя туфелька?

— В золотой туфельке мы смогли бы взобраться на небо, — сказал Тарутин и, морщась, отклонил голову из-под руки Валерии. — Все правильно. — Он быстро поднялся с колена, выпрямил свой атлетический торс. — Так и должно быть. Понимаю, как я вам надоел. Вы правы. Как, впрочем, и все здесь, жрущие и пьющие ученые мужи. — Он с холодным бешенством оглянул спины гостей за столом, откуда по-мышиному пискнул злорадный голосок: «Чацкий!» — Мне приятно, что я вызываю у многих ненависть. Да, я удовлетворен, коллеги. И думаю, что все здесь будут не против, если я сделаю вам приятное... прыжок в космос один... без туфельки... вот из этого окна, — проговорил он мертво усмехающимися губами, указывая головой на пылающее в закате огромное окно над крышами. — И в том числе удовлетворены будете и вы, Валерия Павловна. Одним современным дураком станет меньше. И уж тогда кое-кто под победные колокола обвенчается с вами. Один из вдовцов, вполне достойных. Имеет право...

— Николай Михайлович! Для чего вы все это говорите? Для чего? — поперхнулся в визгливом крике Улыбышев и на тонких ногах забегал вокруг Тарутина. — Зачем? Зачем? Зачем?..

«Нет, я его не видел таким никогда. Он или мертвецки пьян, или

с ним что-то случилось нездоровое. Для чего эта туфелька, шампанское, несусветные слова о небесах?.. И клоунское стояние на одном колене. И это демонстративное излияние перед Валерией, похожее на безумие и на издевательское объяснение в любви. Откуда этот пошлейший «прыжок в космос» — он просто издевается над своими коллегами, которых без разбора ненавидит? Если это мщение, то оно бессмысленно. Значит, он ревнует меня к Валерии? «Один из вдовцов...»

— Николай, — сказал Дроздов вполголоса и взял его за локоть, подвел к окну, сплошь багровому от заката, разлитого в пролете шумевшей внизу улицы, сильным движением раскрыл окно, сказал, стараясь придать бодрость голосу: — Не против совершить с тобой прыжок в космос, если это спасет человечество. — Он высвободил из руки Тарутина бутылку шампанского, поставил ее на подоконник, вдохнул вечерний воздух. — Но чтобы было яснее, давай минуту постоим на ветерке и просвежимся. Без шампанского. В комнате уже дышать нечем. — И, сжимая локоть Тарутина, он договорил: — Мне не хотелось бы, чтобы о нас с тобой подумали здесь, как о неких соперниках. Во-первых, это не так. Во-вторых, был ли повод, Николай?

— Был и есть! — отрезал Тарутин, кривясь, как в позыве тошноты. — Без всей вашей лживой науки земля была бы чище! Изнасиловали и надругались над собственной матерью! Плюгавцы!.. И ты в той же банде!

—Будет разумно, Николай, если мы уйдем отсюда вместе, — сказал Дроздов. — Пить тебе больше нельзя. Поверь, говорю иэ любви к тебе.

Тарутин вырвал руку, глянул на Дроздова неостывшими от ярости глазами.

— Пошел к черту, Игорь! Пьян я или трезв — дело абсолютно мое! Будь счастлив! Смотри, как я пьян...

Он повернулся, как поворачиваются гимнасты, всем корпусом, не покачнувшись, и прочными, рассчитанными шагами пошел через всю комнату к двери, мимо столиков, плотно загороженных спинами гостей с тарелками в руках. Вокруг затихал говор, а он шел в этом мертвенном безмолвии, точно сквозь пустоту, украдкой провожаемый отчужденно враждебными, презрительными взглядами, и Дроздов отметил про себя, что никто из оскорбленных коллег не осмелился встретиться с ним глазами: его опасались, его боялись, его трусливо сторонились — возможно, этого он хотел всегда, не сближаясь, не играя ни с кем в приятельские отношения, не желая выглядеть отзывчивым, добрым. В ту минуту Дроздову подумалось, что в каждом поражении Тарутина была какая-то недобрая победа, и тут же раздался истерический, полуобморочный вскрик из-за стола:

— Чацкий! Чацкий!

— По струям шампанского мы могли бы забраться на небо! Ха-ха! Пошляк!

— Не Чацкий, а Берия! Он расстрелял бы всех нас! Дайте ему пулемет! К стенке бы поставил! К стенке!..

— Инквизитор!..

— Ниспровергатель! Невежда! Бездарность!

Послышался злорадный смех, хохочущий кашель, крики, стук вилок по тарелкам, топот ногами, женский визг, как будто огромные черные крылья со свистом рассекали, резали душный воздух в комнате — над гвалтом, звоном разбитых рюмок, смехом, истерикой, над красным лицом Чернышова. Он был в драматическом душевном состоянии и, выпучив глаза, выбежал откуда-то из толпы гостей за столом и с видом врача, наконец опознавшего умалишенного, задвигался, засеменил сбоку Тарутина, соболезнующе приговаривая:

— Николай Михайлович, я вынужден, я вынужден, знаете...

Тогда Тарутин приостановился возле двери и снова, как у окна, не покачнувшись, повернулся всем корпусом к столу, в упор принимая эту бушующую хохотом, визгом и криками бессильную ненависть к себе, сказал: «Прекрасно, я надолго запомню ваши милые лица, гуманисты», — и под его непрощающим, медленным взглядом стали опадать крики, топот, гвалт в комнате, мстительная истерика, жестокий взрыв беспощадности, который не мог даже предположить Дроздов в среде знакомых и незнакомых коллег, образованных, добропорядочных, и, загораясь сопротивлением и гневом, он выговорил:

— Так что же это, друзья? Все против одного? Завидная храбрость!..

Тарутин жестко рассмеялся.

— Сантименты, Дроздов! Один против всех. Так лучше. И надежнее. Никто не предаст. Общий привет!

Он поднес два пальца к виску и вышел.

Все это было похоже на сумасшествие.

Глава одиннадцатая

Он бросил пиджак на спинку кресла, распустил узел душившего его галстука и долго ходил по своей пустынной квартире, не успокаивающей прижившейся здесь тишиной, сладковатым запахом книг и пыли, скрипом рассохшегося паркета. Он то и дело останавливался перед телефоном, удерживая себя набрать номер Тарутина, не вполне уверенный в разумном разговоре с ним сейчас.

Злобный хохот, крики, женские взвизги, топот ног вновь отпечатывались в ушах Дроздова и отвратительно, и враждебно звучали еще. Все, что произошло на вечере у Чернышова, все было скандальным, пьяным, шутовским, но одновременно врезалось в сознание какое-то не пьяное, а осмысленное бесстрашие Тарутина, близкое к отчаянию его презрение, его вызов и Битвину, и академику Козину, и своим коллегам, как если бы он порывал с ними навсегда.

— Вот бреду я вдоль большой дороги в тихом свете гаснущего дня. Да, Тютчев, Тютчев! — сказал вслух Дроздов и до боли провел рукой по лбу. — И что же? Что?

За окнами синел над крышами сентябрьский вечер, и темнеющая в небе синева, огни улицы были еще теплыми, летними. Но оголяющий электрический свет в квартире, мышиный писк паркета, глухое ворчание холодильника на кухне, синтетический запах мебели, которую когда-то любовно подбирала Юлия, стеллажи, заставленные пыльными книгами, и заваленный папками письменный стол — все после ухода Юлии было неотразимым признаком его одиночества, тягостным по вечерам, когда память возвращала его к их давней молодой поре, к незабвенным дням их близости. И с комком в горле он вспоминал Митю, которого он неизъяснимо, почти мистически полюбил, еще не видя его, но уже радостно чувствуя по скупым словам Юлиной телеграммы, переданной ему ночью по телефону в забытом миром алтайском поселке, где он задерживался в командировке. Этот текст он помнил с удивительной разительностью: «Милый Игорь, теперь у нас есть мальчик». Тогда он вышел из почты, как хмельной, и сел на крыльце под соснами, глядя в весеннее небо, где в черноте над тайгой происходило таинственное праздничное колдовство, где все было иллюминировано взрывами, горением, мерцанием, пульсацией, сиянием лучевых колец.

Потом он увидел тихое домашнее мигание из-за ветвей одинокой звезды, поразившей его посреди этого сатанинского сверканья кротостью, родственностью, точно связывало их что-то неразгаданное, покровительственное, счастливое. И он вдруг представил за тысячи километров отсюда, в московском роддоме, где лежала Юлия, маленькое появившееся на свет существо, частичку, пылинку этого майского неба, этой сырой к ночи земли, похолодавшего воздуха, существо незнакомое, хрупкое, уже земное, его сын, частица его сознания, частица

Юлиной плоти, и он, мальчик, явившись на свет, не знал, что родился со своей судьбой, бедами, любовью, о которых не мог знать и он, Дроздов. Но то, что его сын неведомыми законами утвержденное на земле существо, еще без имени, было пока только надеждой, несвершившимся временем, явлением самой чистой природы, родным его мостиком через пропасть забвения, пронизывало его такой нежностью, таким впервые испытанным чувством, что, возвращаясь домой во влажной тьме поздней сибирской весны, он половину ночи пробродил вокруг поселка, растроганно воображая себя в новом положении отца, и повторяя вслух:

— Как все непонятно. Может быть, это и есть главное? Именно это...

И смотрел в небо, играющее над тайгой яростными вспышками созвездий, находя успокоительное мигание домашней звезды, ее мирный взгляд в глаза, принимая ее покровительственное тепло, словно бы маленькие доверчивые руки обнимали его за шею и доверчивое тельце безымянного существа прижималось к нему, прося защиты, и оба они подымались в медленном полете к тихой звезде, обещающей спасение, покойную радость...

Ночью ему было нехорошо от одиночества. Он проснулся в тоске, ощущая на затылке, на шее слабое объятие, ищущее в этом страшном мире помощи и защиты. Он никогда не подозревал раньше, что в нем так сильны отцовские инстинкты.

Наверное, самым тяжким в годы болезни Юлии была разлука с Митей, которому встречаться с отцом разрешалось Нонной Кирилловной раз в месяц. Он встречал сына возле школы, и они длительно шли до дома на Ленинском проспекте, где жил Григорьев, время от времени задерживались у киосков с мороженым, переглядываясь в критическом раздумье, съесть ли еще пломбир или «с орехами по двадцать две копейки», а когда Дроздов предлагал заменить «замороженную банальщину» плиткой полезного во всех смыслах шоколада, смешливыми и лукавыми становились ясно-зеленые глаза Мити: «Знаю, почему схитрить хочешь: боишься ангиной заболею, но ведь я молчать буду».

Уже после смерти Юлии он настоятельно попросил разрешить Мите жить у него хотя бы неделю в месяц, однако фиолетовый ледок во взоре Нонны Кирилловны, заявлявшей всем знакомым, что она усыновила внука, и ее непреложная фраза — «Только через мой труп, и запомните: никакой суд вам не поможет» — недвусмысленно объяснила Дроздову, что она пойдет на крайнее, но не отдаст Митю. Должно быть, она мстила злополучному зятю за «неудавшуюся жизнь дочери». И Дроздов в конце концов смирился с железной волей тещи, опасаясь нанести травму сыну, которого ему так не хватало в последнее время.

Каждый вечер он звонил Мите ровно в восемь. Это время было условлено ими, как пароль.

— Сын, здравствуй, привет. Это я.

— Привет, папа. Я сразу узнал, что ты. Знаешь, я читаю «Всадник без головы», а на столе, под лампой Неська лежит. Я читаю, а она зажмурилась и мурлычет.

— Значит, вы вдвоем? Значит, тебе не скучно?

— Нет, папа. Хорошо кошке, все время спит. И уроки делать не надо. Ни задачки, ни русский...

— Но зато она в кино не ходит. И мороженое не ест. Верно?

— Потому что не хочет. А в кино ей — раз, шмыг между ног! — и без билета сиди на полу и смотри.

Он слышал Митин голос, его дыхание, его смех и видел его, худенького, до спазмы в горле родного, с пшеничными волосами, с живым взглядом внимательных глаз, в глубине которых иногда затаивалась побитость загнанного зверька. Видел его стоящим у телефона в полутьме комнаты своей покойной матери, Юлиной комнаты, в которой она беспечально жила до замужества и в бессилии падения после развода, где в фотографиях оставалось ее юное присутствие — еще не кофейные, а золотистые волосы, с мягким блеском вишневые глаза, тонкий изгиб шеи. Эта Юлия весело приходила когда-то студеными декабрьскими вечерами в его бедную студенческую комнатку, бросала в передней пальто, пахнущее морозом и инеем, приближалась к нему с виноватой улыбкой, говорила шепотом: «Я люблю тебя, если ты не знаешь», — и оба они вне разума и времени сгорали в неутоляемом огне; потом ее каблучки стучали по лестнице вниз, сбегали по ступеням, а внизу перед дверью парадного она оглядывалась с выражением напроказившей девочки, махала ему перчаткой. То было неповторимое время их влюбленности, и оно мучило его воспоминанием ее улыбки, запахами ее одежды, звуком ее голоса...

Через три дня после похорон Юлии он зашел к Григорьевым, чтобы проведать сына, и застал его одного, тихонько лежащим на диване; Митя сжимался в комочек, подтягивая колени к подбородку, кусал губы, бледное остроносенькое лицо его испугало Дроздова, и он, охолонутый жалостью, рванулся к сыну: «Митя, что ты? Что у тебя болит?» Митя сполз с дивана, не взглянув на отца, подошел к столу, где хаотично валялись его тетрадки для рисования, и, пряча лицо, опустив голову, долго стоял так, не двигаясь и не отвечая. И Дроздов увидел трогательно детскую, жалкую шею сына и увидел, на что смотрел он. На столе лежала снятая со стены фотография жены, и Дроздову стало не по себе. Юная Юлия, еще тогда не мать Мити, и он, сын ее, теперь покойной, неестественно близко глядели друг на друга: мягкие глаза Юлии светились нежностью, в глазах Мити стыл темный страх.

— Митя, — сказал Дроздов и обнял сына за слабенькое плечо. — Давай повесим фотографию на место и сядем, поговорим. Я вот тетрадь тебе принес...

— Па-па, — проговорил Митя икающим голосом, не подымая голову, — папа... ну, не обманывай меня, пожалуйста... Где моя мама?

— Как тебе сказать, Митя, — забормотал Дроздов, боясь принести сыну боль и прибегая к придуманной Нонной Кирилловной легенде. — Она уехала далеко, Митя. Так далеко, что письмо написать нельзя. Я тоже очень скучаю по ней. Она была нужна нам обоим.

— Нет, я знаю, — шепотом сказал Митя и ниже опустил голову. — Она умерла. Ее зарыли на кладбище. Она никогда не вернется! Никогда! — крикнул он звонко и захлебнулся слезами, выбежал из комнаты, странно перегнувшись, держась обеими руками за грудь, как будто кто-то ударил его жестоко.

Может быть, потому, что Митя жил под строгим присмотром Нонны Кирилловны, а он видел сына не каждый день, ежевечерний разговор с ним по телефону был долог, разбросан, часто полушутлив: Дроздов настраивал его на бодрую волну, считая это лучшим лекарством от одиночества мальчика.

— ...Ну, как дела в школе-то, Митя? Наверно, по математике двойку влепили, а по пению пять?

Митя серебристо засмеялся, и Дроздов даже вздохнул с облегчением, слыша в трубке его смех.

— Ты знаешь, пап, наш новый учитель по пению — чудак жуткий, знаешь, как его звать? Нил Палыч. А фамилия — Скороходов. Так вот он на уроке сегодня покашлял, покашлял, он с бородой почему-то... покашлял, покашлял, аж борода ходуном затряслась, и заявляет нам: «Мы с вами будем изучать песни, которые посильней пушек и пулеметов». Сел к пианино да как откроет рот, да как рявкнет: «Мы жертвою па-али в борьбе роковой...» А мы давай хохотать.

— Почему же вы смеялись? Он хотел вам продемонстрировать хорошую старую песню. Ну и что?

— Понимаешь, он вспотел весь, побагровел, голос как у бегемота, борода ходуном ходит, а бас такой, как у трубы, некоторые прямо упали от смеха. Он посмотрел на нас и говорит: «Дети, не баловайтесь, давайте разучивать слова и петь». Он говорит, а мы хохотаем.

— Как ты сказал? Хохотаем? Наверно, надо говорить «хохочем»? Согласен на поправку?

— Пусть. Хохочем. Колесов до того обхохотался, что в туалет побежал. А Нил Палыч говорит: «Нет, дети, меня от вас увезут в сумасшедший дом». И знаешь, как только сказал, дверь сразу открылась, и в класс вошел какой-то дядек в белом халате. И говорит: «Я не ошибся? Вы здесь, Нил Палыч?» Мы прямо замерли. А Нил Палыч побелел весь, с ног до головы, рот открыл и прямо на стул сел. «В чем дело? Вы сюда попали?» А дядек: «Медицинский осмотр класса». Ха-ха. Вот какая история, папа!

— Прекрасная история! А все-таки вы шалопаи, Митя. А ну-ка, скажи лучше, что есть имя существительное? Проходили, так? Не ответишь, схлопочешь двойку. Ну-ка давай определение существительного.

— Существительное? Подумаешь, вопрос! Сейчас... — И Дроздов, зная нелюбовь сына к зубрежке, заранее веселея, представил, как Митя с прижатой к уху телефонной трубкой возвел глаза к потолку, задумался и сейчас же прыснул смехом. — Да ну тебя, папа! Задаешь какие-то глупые вопросы! Ты вот тоже на мой вопрос ответь. Хочешь, задам? Отгадай загадку, ни за что не отгадаешь, даже поспорить можем, и ты проиграешь.

— Заинтриговал. А ну-ка, давай, может, соображу. Что за загадка? Без окон, без дверей полна комната людей?

— Не-ет, это и всякий еж кумекает! А загадка вот: летят два крокодила, один зеленый, другой — в Африке. Сколько лет пьяному верблюду, когда от паровоза отвалились две гайки?

— Нда, задал ты мне головоломку. По-моему, без алгебраических формул тут делать нечего. Попробуем решить. Если примем одного крокодила за «а», второго за «б», а верблюда за «в», то «а» плюс «б» равняется «в», поэтому...

— Неправильно! Ответ такой: зачем мне холодильник, я ведь некурящий!

(И опять чистый как звон лесного ручья смех.)

— Великолепно! Какой умный точный ответ! Блестяще! Значит, учитель математики задает вам такие потрясающие воображение задачи?

— Не-ет, папа, это мы с Колесовым придумали. А учитель по математике, Иван Глебович, тоже ухарь-купец. Знаешь, как он вызывает к доске Зою Курышеву? Глядит в журнал, манит пальцем и говорит: «цып, цып, цып!». Молодец потрясающий, катается на велосипеде, как бог на черепахе.

В этом наивно-дурашливом разговоре они веселились оба, и Дроздов, не забывая совсем другого Митю, жалкого, одинокого, задыхающегося от слез, был рад живому настроению сына, его торопливому голоску, его искреннему смеху, его рассказам о выдуманных и невыдуманных происшествиях в школьном быту. А он всеми силами старался казаться неунывающим отцом, поддерживая настроение Мити своими ежевечерними звонками, выговорив это право у Нонны Кирилловны.

«Значит, сегодня у него все хорошо», — решил Дроздов, посмеявшись вместе с сыном, и, удовлетворенный, простился, как всегда, по-приятельски, точно с давним взрослым другом:

— Ну, пока, брат. Завтра перезвонимся. Держи нос кверху.

— Пока, папа. Не скучай. Спокойной ночи. Ты один?

— Конечно! — встревожился Дроздов, услышав в голосе сына подозрительное изменение, кольнувшее его. — А что? Почему ты спросил?

— Мне показалось, папа, что у тебя в комнате разговаривает женщина. — Голос Мити споткнулся и ослаб, и, помолчав, он осторожно задышал в трубку. — Бабушка сказала, что ты по-особенному подружился с какой-то чужой женщиной. Да, папа? Только честно...

«Он боится потерять мою дружбу, боится больше всего».

— Это не так, Митя. Ни с какой женщиной я по-особенному не подружился, — сказал Дроздов серьезно. — Бабушка ошибается. У меня есть единственный верный друг — это ты. И с кем бы я ни дружил — я тебя никогда не предам.

— Па-апа! — пронзительно взвился умоляющий крик Мити. — Не надо дружить с женщиной!.. Бабушка говорит, что ты забудешь меня!.. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста!.. — просил он с мольбой, и Дроздов ясно вспомнил тот вечерний разговор с Митей о непоправимости смерти, когда, захлебнувшись слезами, сын схватился за грудь и выбежал из комнаты, потрясенный навечным уходом матери и осознанием этого страшного «никогда».

— Митя, ты ведь мужчина и мой друг, — заговорил вполголоса Дроздов. — Ты должен мне верить. Я тебе верю, и хочу, чтобы ты тоже...

— Папа, до свиданья! — крикнул поспешно Митя, задыхаясь от страха продолжать разговор. — До свиданья! До свиданья!..

«Что же мне с тобой делать, бедный мой Митька? «Бабушка сказала...». Возможно ли, чтобы она еще продолжала мстить мне?» — хмуро раздумывал Дроздов, шагая по комнате, а умоляющий голосок Мити, будто он, отец, причинил ему физические страдания, еще звенел в его ушах: «Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста!»

«Да, бессмысленно закрывать глаза на то, что добро и зло — два лика одной сущности. Это и есть невеселая штука жизнь».

Он подошел к письменному столу напротив незашторенного окна, уже густо-синего, ночного, включил настольную лампу, залившую абажурным теплом папки и бумаги, сел к столу, не чувствуя, однако, ни этого привычного, располагающего к душевному равновесию тепла, ни настроения к работе. Он нехотя раскрыл желтую папку, отданную ему Нонной Кирилловной в день похорон Григорьева, и стал медленно перелистывать заключения специалистов из разных НИИ, собранные для правительства перед Государственной экспертной комиссией и два месяца назад представленные директору института. Очевидно было: Григорьев ознакомился с документами и тогда был способен что-то сделать, но, по обыкновению, ничего не сделал и папку «на самый верх» не передал.

Среди кипы противоречивых, исключающих друг друга материалов, изложенных геологами, экономистами, биологами и экологами, Дроздов нашел заключение Тарутина, пробежал первые фразы, и сразу обдало колючим и злым сопротивлением, где не было ни сомнений, ни вежливых поклонов долголетнему труду многоопытных проектантов из всесильного «Гидроцентра», которому с шестидесятых годов бессменно покровительствовал академик Козин, ненавидимый Тарутиным до потери разумной меры. «Что ж, вот оно, заключение Тарутина».

«Гидротехническое строительство в бассейне реки Чилим является если не преступным, то несостоятельным и браконьерским предприятием по всем параметрам.

Выводы.

1. В этой части Сибири бессмысленно помпезное строительство гигантских ГЭС.

2. Для Чилима разумнее строительство малых ГЭС («мини-ГЭС») без больших затоплений, электрификация глубинных районов автоматизированными дизельными установками, строительство дальних

электропередач от уже действующих ГЭС для снабжения энергией Чилима. Добавлю к этому: высока доля использования малых рек в Швейцарии, Франции (95%), в Италии, Японии (60—70%), в США работает сейчас 3000 мини-ГЭС. В Швеции у каждого фермера стоит ветровая или солнечная установка, и энергия дома идет в общую сеть. Почему мы не учимся уму-разуму?

3. Два самых мощных министерства подменяют острейшие народохозяйственные проблемы целями «монопольными». Поэтому проектировщики засекретили служебную информацию от «внутренних врагов» — от «не своей» науки, скрывая от правительства, честных экономистов, экологов фантастическую величину полных затрат для строительства каскада (10 ГЭС) на Чилиме — 20 млрд. рублей. Тактика монополий — сначала попросить 1 млрд. на строительство одной или двух ГЭС и таким образом втянуть народное хозяйство в дорогостоящее предприятие, обещая все блага, на самом деле разоряющее экономику страны.

Добавление к «засекреченности» ведомств: наши информационные коммуникации от зарубежных служб вовсе не засекречены. Они закрыты для нас. Независимая наука, наверное, так никогда и не узнает полного «научного» обоснования, например, проекта поворота северных и сибирских рек. Кто подбросил, скромно говоря, этот проект, преступный против природы, национальной культуры, экономики России?

4. «Гидроцентр» продолжает разрушать нашу экономику, культуру, окружающую среду. За это мы платим своим жизненным уровнем, и наше будущее существование становится все более неясным. Необходимо без промедления обратиться в правительственные органы (утверждение проекта идет по линии — Чилимский край — Госплан — Госстрой — Совмин) с требованием нашего института Экологии отменить решение о строительстве Чилимской ГЭС. Рассмотрение этого вопроса в Государственной экспертной комиссии Госплана СССР имеет смысл только после смены ее Председателя и администрации. Не является ли нонсенсом то, что директор «Гидроцентра» он же и председатель ГЭКа: то есть — сам себя утверждаю. Монополии подкупили науку, сделали ее подчиненной, своей. В Госэкспертизе СССР сидят сомнительные ребятушки, воровски исключающие страницы с критикой уже подписанных «подчиненными» экспертами документов. Преступно и то, что в районе Чилима уже без утвержденного проекта начаты подготовительные работы, а стройка, конечно, объявлена комсомольской, ударной.

Способны ли наша наука и наше правительство подумать трезво и остановить очередное разрушение? Не хватит ли печального опыта Волги, Байкала, Днепра, Севана, Арала, Енисея, Ангары, Ладоги, гниющих и отравленных водохранилищ — Цимлянского, Каховского, Рыбинского, тысячи других рек и озер. И миллионов гектаров плодородных земель, пойм, затопленных, подтопленных, засоленных, загубленных. Впереди гнилая вода, безземелье и оскаленная морда голода. Наука пошла в услужение монополиям и предала народ.

Доктор технических наук, инженер-гидротехник Н. М. Тарутин.

Изучены материалы: 1. Проект Чилимской ГЭС, раздел 2, 3, 4, 5, книга 1, 2: «Обоснование параметров и экономическая эффективность гидроузлов», «Гидроцентр» СССР».

«Да, это Николай со своей злостью и прямотой»...

Несколько минут Дроздов сидел с закрытыми глазами, вспоминая ядовитость Тарутина во враждебном столкновении с академиком Козиным на вечере у Чернышова, его холодное презрение к своим коллегам, сначала трусливо молчавшим, затем разъяренным до скандального неистовства, когда Николай уходил уже.

«Когда-то я смотрел на Николая иначе: выходки самонадеянного парня из тайги, — думал Дроздов, потирая болевшие виски. — Но по

сравнению с ним я белоручка. То, что после института я хлебнул на стройках, он хлебнул вдвойне на Волге и Саяно-Шушенской. Ему ненавистна формула современного «научного» равновесия: доказывать правду — все равно что вязальной спицей пахать поле».

Заключение Чернышова, по-видимому, было в конце, и Дроздов вновь пересмотрел документы, читая лишь заглавия, восстанавливающие в памяти содержание материалов: «О Чилимской проблеме», «Быть или не быть Чилимской ГЭС», «Новый шаг в гидростроительстве», «Выбор места для сооружения Чилимской ГЭС», «О содержании ртути и меди в Чилимском водохранилище», «Судьба памятников» — суждения, заключения, выводы специалистов, большей частью не отрицающих новое гигантское строительство, советы продолжить аналитическую проработку отдельных разделов проекта в специализированных НИИ, сделать некоторые уточнения, провести дополнительные исследования, чтобы не допустить неоправданных уронов, ненужных потерь в ресурсах и качестве окружающей среды.

«Ну, вот оно заключение доктора биологических наук Г. Е. Чернышова. Довольно короткое, скромное».

«1. В Чилимском крае — дефицит электроэнергии. Край самообеспечивается на 50%, другая половина покрывается за счет объединенной электросистемы Сибири (ОЭС). Расчеты показывают, что ввод Чилимской ГЭС для системы региона экономичнее, чем увеличение потоков электроэнергии извне.

2. Средства (400 млн.), которые Министерство хочет расходовать на усиление производственной и социальной структуры края, будут способствовать стремительному развитию региона. Строители гарантируют оставить свою промбазу, дороги, построенные рабочие поселки при ГЭС; естественно, возмещение всех затрат по переселению затапливаемых деревень, агропредприятий и леспромхозов».

«Ясно, ясно... Никто не возразит против этого, ни местные власти, ни ЦК, ни Совмин: прогресс, развитие структур. Обещание благ. За счет чего блага? И блага ли это? Фактически взятка в 400 миллионов, богатая подачка для получения согласований проекта с местными властями. Пожалуй, справедливее всего отобрать бы эти миллионы у Министерства и отдать исполкомам края, они бы знали, что с ними делать для своего развития. Но почему я не верю в разумные изменения? И не верю в поражение монополий. Вряд ли верит и Тарутин. Его, как видно, толкает одно: ненависть к технократическому властолюбию, которое все живое погубит! Так что же написал я в своем заключении два месяца назад? Конформистский бред? Пасть низко я не мог, но все-таки...»

С самоказнящей неудовлетворенностью он подумал о своей нетвердой защите Тарутина в сомкнутой враждебности гостей на вечере у Чернышова и, чувствуя какую-то душную тину тревоги, не смог сразу вникнуть в смысл последнего абзаца собственного заключения:

«Работа над технико-экономическим обоснованием Чилима начата в 1963 году. Оправдано ли сейчас нарушить экологию такой жемчужины, как Чилим, для получения 1,9 млн. квт. электроэнергии, ничтожной капли в океане энергии сибирской. Есть ли для «Гидроцентра» предел для зарегулирования рек? Нам всем следовало бы помнить — «больше» не всегда «лучше».

«По сравнению с заключением Николая мое заключение — интеллигентское бормотание, некое полусогласие, полувозражение, полукивок...»

Дроздов отодвинул папку с документами, встал из-за стола и заходил по комнате, сунув руки в карманы; угнетающе сухо поскрипывал паркет, внимание раздраженно наталкивалось то на телефон, молчавший после разговора с Митей, то на папку, раскрытую под светом настольной лампы, на тонкую стопку материалов, противоречивым несовершенством решающих судьбу целого края.

Было ему неспокойно, и все навязчивее мучила мысль, что после вольного шалопайства на юге, утренней прохлады, пляжного зноя в полдень, тишайшего санатория на берегу, где обязанности и грозы смягчились и развеялись, вот эти перенасыщенные московские дни, похороны Григорьева, сегодняшний дурной вечер у Чернышова, назначенная на завтра встреча с Битвиным и эта желтая папка — все вдруг накрепко связалось с Тарутиным, с его безумством вражды к своему институту, к Академии, к «полоумной» науке. И не до конца понятно было, почему он все чаще ставил под сомнение, почти ломал то, что хотел терпеливо сохранить между ними Дроздов, сохранить не в силу своего покладистого нрава (нет, он знал собственную вспыльчивость), а потому, что было в Николае нечто неоднозначное, даже чуждое, грубоватое, не поддающееся расчету, не походившее на обыденность других.

Порой можно было подумать, что он с целью разбрасывал вокруг себя неудобное для общего согласия остроколющее железо, способное ранить, вызывать сопротивление, обиду, злословие, исключающее фальшивую любезность. Как и многие в институте, он имел прозвище, которое произносилось в коридорах не с ласковой снисходительностью, а язвительно-опасливо: «парень из тайги».

Он удивлял Дроздова не однажды, но неожиданности Тарутина всегда оставались тарутинскими.

В мартовский парижский вечер сидели в ресторане отеля «Амбасадор» — продолжался заключительный официальный обед делегаций после форума экологов. Ослепительно и льдисто сияли исполинские зеркала, пышные люстры над столами, стерильно белели накрахмаленные скатерти, снежные пятна салфеток, в электрическом изобилии сверкало в бокалах белое и красное вино, бесконечно менялись блюда, по желанию разносилась русская водка, а в широчайшие окна заглядывали из сумерек черно-желтые, еще нагие платаны, за парком, в тумане ползли мокрые крыши автобусов, маячили зонтики туристов; уже зажигались витрины магазинов по ту сторону искусственного пруда, где в холодной проточной воде стаями лениво шевелились под мостами откормленные туристами форели.

Дроздов устал, ему надоел размеренный говор голосов за столом, непрерывные тосты, похожие на унылые речи без шуток, без игры мысли («где оно, французское остроумие?»), и было скучно пить водку вперемежку с белым вином, вставать, делая вид, что исполнен оживления, а на душе скребли кошки от этого повторяющегося целую неделю единообразия, от одних и тех же общих, призывающих спасать природу слов, от обедов, приемов, встреч — и усталость охватывала его ватной паутиной.

«Не могу, — подумал он, — сейчас встану и выйду на улицу, хоть и посчитают это нарушением протокола».

Дроздов вопросительно взглянул на Тарутина, малоразговорчивого в этот вечер, увидел, что он рассеянно крутит в пальцах опорожненную рюмку, борясь со скукой, и спросил негромко:

— О чем думы, Николай?

— Форум оказался сплошной трепотней, — Тарутин усмехнулся. — О чем думы?.. О навозе, представь. О сочном коровьем навозе, который особенно весной прекрасно пахнет. Тебе не знакомо?

— Когда-то, — неопределенно вздохнул Дроздов, в поисках развлечения оглядывая белизну и сверканье гигантского стола, отраженного в зеркалах, фигуру председателя в черном костюме, в выпуклой на груди белейшей манишке, коньячнолицего, выключенным голосом договаривающего речь с бокалом в толстой руке («К чему эти длиннейшие тосты?»), между тем, как тенеподобные официанты, зажимая меж пальцев бутылки, бесшумно двигались вокруг стола, возникали из-за спин вместе с вкрадчивыми голосами: «Вино? Водку?»

— Водку, — грубовато бросил Тарутин и, подождав, пока наполнят рюмку, с неторопливостью встал, сощурив неулыбающиеся глаза, проговорил веско и внятно: — Уважаемые дамы и господа! Я хотел бы предложить тост вот какого рода... Без извинения перед дамами я хотел бы выпить за прекрасный русский навоз, на котором взращена цивилизация...

«Опять Николай? Да о чем это он?»

Тарутин замолчал, и все за столом примолкли, перестали есть, мужчины с зорким интересом повернули головы в его сторону, украдкой переглядываясь в предположении нежданного соленого парадокса, что наконец-то развеет официальную мертвенность речей протокольного обеда, у женщин расширились глаза, официанты, будто поняв важность момента, замерли за спинами гостей, обняв салфетками бутылки.

— Так вот, уважаемые дамы и господа. Я вспомнил, как великолепно пахнет навоз в апреле... на солнцепеке, — продолжал Тарутин, в угрюмой задумчивости глядя на рюмку, с некоторым неудовольствием подождав, когда бойкая переводчица француженка, переведет его слова. — Хорошо помню это счастливое время. Мальчишка, босой, вилами выбрасывает из сарая навоз, утопая по колено в невероятном живом ароматном тепле, а над головой весеннее солнышко, крик, писк, звон в воздухе, прилетели грачи, скворцы, и небо, небо, небо, синева до нескончания... Хорошо помню, как потом с наслаждением моешь ноги в Иртыше — холодном, хрустальном, чистом. Таким был Иртыш. Сейчас он погублен. Нет, такого чуда не повторится. Наверно, многим это незнакомо, господа? Когда меня, деревенского мальчишку, привезли в город — в стены, в камень, началось страшное. Из колодца-двора я видел только клочок неба. Спать по ночам я не мог, лежал, плакал и слушал дальний лай собак на окраине. И все ждал крика петуха в полночь...

Тарутин пошевелил плечами в тесном пиджаке, который, чудилось, потрескивал, распираемый его бицепсами. И несоответствие было между его физической силой, невеселой дерзостью и этим навозом, грачами и тем, что говорил он в полнейшей тишине фешенебельного французского ресторана.

— У всех у нас был Бог и дом. Бога не стало. И нет дома. Он разорен. Я говорю о России. Все лишнее — Париж, современная космополитическая Москва, Нотр-Дам, Сена, этот сверхкомфортный ресторан, если нет крика петуха... На кой дьявол передо мной вот эта карточка по протоколу, где написана моя фамилия? «Мсье Тарутин». И — что? Я обрел истину и любовь к земле? Или вступил на поле брани за истину? Зачем мы целую неделю убеждали друг друга, что вступили в Апокалипсис и слушаем сейчас ненужные друг другу, бесполезные речи? Что это даст? Спасение земли? Мировое братство? Впрочем, такой любви почти не осталось. Мы бессильны. Мы даже делаем вид, что не слышим третьего крика библейского петуха, соглашаясь с предательством... Поэтому я позволю назвать всех нас, господа, иудами, за легкий хлеб болтовни предавшими Бога, родную колыбель и науку. Ваше здоровье!

Бойкая переводчица, вся алая, промокая платочком подбородок, перестала переводить. Тарутин усмехнулся неприятной усмешкой, выпил рюмку до дна и сел, окруженный всеобщим молчанием, гигантским блеском зеркал, неподвижными огнями люстр в зеркалах над чистоснежными скатертями и приборами. Никто не смотрел в его сторону. Потом раздались жиденькие, раздробленные аплодисменты мужчин, послышался неискренний смех, неуверенные возгласы женщин: «Он бесподобен! Но почему он назвал всех нас иудами?»

«Да, это можно было ожидать от Николая. Но зачем он сейчас, на прощальном обеде?» И Дроздов посмотрел на него внимательно. Тарутин сидел, наклонив плечи, крепко стиснув соединенные кулаки коленями, и странно было поверить и видеть влажную пелену на его опущенных веках.

— Все мы самоубийцы, — выдавил Тарутин. — Кому нужна наша экологическая болтовня? Земле? Воде? Небу? Нелепица. Технократы властвуют, мы чешем языки. Бессмыслица.

— Может, выйдем на свежий воздух? — сказал Дроздов. — А то тут дышать нечем.

— Пошли отсюда...

Они вышли из подъезда отеля в затянутый моросью вечереющий парк; прошлогодние листья платанов, срываемые туманцем, одиноко прилипали к отполированным влагой капотам машин у подъезда; пахло горьковатой весенней землей, отработанным бензином. За парком под низким пепельным небом отсвечивали скаты мокрых черепичных крыш, внизу приглушенно шумел автомобильный поток.

— Какая нелепица, — повторил глухо Тарутин и поднял воротник плаща, стирая воротником капли на щеках. — Из головы не выходит одна фраза. С утра стучит как молоточком.

— Какая фраза?

— Ищи умиротворения в своем доме.

— Откуда эта фраза?

— Три года назад я был туристом в Турции, — заговорил Тарутин, глядя под ноги на ржавые листья. — Группа мне до тоски надоела, я отбился, заблудился и в полном одиночестве добрел к вратам маленькой церкви, где последние дни, как мне потом сказали, провела мать Христа — Мария. Иду по накаленным солнцем камням и тут в жарком воздухе на горе слышу очень внятные слова: «Умиротворение ищи в своем доме». Я, знаешь ли, даже вздрогнул. Кто это говорит? Чей это голос? Ведь вокруг ни души... Остановился, вижу: навстречу мне идет к воротам и смотрит мне прямо в глаза молодая монашенка, с головы до ног в черном. Помню, я чуть с ума не сошел. Кто она? Откуда она появилась? И знаешь, гляжу на нее и чувствую: готов упасть на колени, поползти к ней, целовать край одежды. Она идет навстречу, а я стою и молчу как пень. Тогда она повернулась, пошла прочь и исчезла. Мираж? Нет! Все было реально. Почему именно мне она сказала эти слова там, возле храма Марии? Откуда она знала, что я один как перст, почти монах? И где сейчас мой дом? В Москве? В Париже? В Турции? Во Вселенной? И что наш дом, Игорь? Квартира? Земля? Небо?

— На эти вопросы у каждого ответы свои, — проговорил Дроздов медлительно. — Умиротворения не было и в твоем тосте, Николай. По-моему, кое-кого из французов ты просто огорошил и обидел.

— Сейчас ни у кого, кто шевелит хоть одной извилиной, нет ни Бога, ни надежного дома. Какое, к хрену, умиротворение! Какие обиды! Знаешь, Игорь, я уже не сомневаюсь, что наш мир кувыркается и летит в тартарары. Через десять-пятнадцать лет мы все превратимся в идиотов и рабов на отравленной и безлюбовной земле. Править будет сатана. Поэтому зайдем-ка в какой-нибудь веселый кабачок. Там посидим по-человечески, без тостов, и выпьем за ту монашенку возле церкви святой девы Марии. Хоть удовлетворение в этом найдем. Хоть в святости...

— Мне иногда кажется, Николай, что ты ни во что не веришь. Это так?

Он промолчал, кутаясь в воротник плаща. Влажно шуршали, похрустывали прошлогодние листья на асфальте.

— Черт его знает, — проговорил наконец Тарутин, слушая волглый хруст под ногами, — не русские звуки, не русская весна, не русские запахи. Тоска...

Глава двенадцатая

Во дворе, заросшем тополями, Дроздов задержался около подъезда, взглянул вверх, на пятый этаж, на окна Тарутина. В высоте над двумя светящимися квадратами горела в траурном развале неба огненно-красная, шевелящаяся как паук звезда — и сразу стало тревожно и холодно от этой одинокой ледяной яркости в небе.

«Половина двенадцатого, а я ищу общения с Николаем... Иду без телефонного звонка, — думал Дроздов в лифте. — Но что, собственно, меня так сильно потянуло к нему?»

И он позвонил довольно неуверенно. Дверь, к его удивлению, открыла Полина Гогоберидзе; молча улыбаясь пухлым сердечком рта, она взяла у него плащ, молча повесила на вешалку, потом сообщила, почему-то шепотом:

— Они там.

И плавная, кроткая, повела Дроздова в комнату, дерзко освещенную (как для приема гостей) всеми лампочками люстры, торшером и бра сбоку дивана между книжными полками, но запущенную, неприбранную, с тем приметным беспорядком, который выявлял, что здесь нет женской руки, все подчинено небрежности и случаю — книги и журналы на стульях, хаос из бумаг и газет на письменном столе, пепельницы, заваленные окурками, гантели в углу, эспандер на спинке кресла.

В комнате пахло теплым кофе. Да, у Тарутина были гости, видимо, заехавшие к нему после вечера — семья Гогоберидзе, верный оруженосец и оппонент Яша Улыбышев, и что в особенности поразило — это присутствие здесь Чернышова. Георгий Евгеньевич в своем темном костюме, облагораживающем его полноту, короткие ноги, низенький рост, с чашечкой кофе в крупных холеных руках стоял перед диваном; его карие, обволакивающие глаза, мнилось, без слез плакали, а толстощекое, всегда предупредительно чуткое, ласковое лицо искательно просило уступчивого сочувствия, товарищеского сопереживания. И Дроздов, входя, услышал его пониженный убитый голос:

— За что же вы меня, хороший Николай Михайлович?.. За что так обидели? Я никогда в жизни никому не сделал зла... никому в институте ничего плохого не причинил. Ни одного грубого слова не сказал. За что же вы меня перед людьми так опозорили своим неуважением? Я не держу на вас зла, нет... Но зачем же так? Я хочу знать, милый Николай Михайлович, за что вы меня ненавидите? Разве я когда-нибудь был с вами недобр?

«Это уж совсем невероятно, — мелькнуло у Дроздова. — Плач Чернышова у Тарутина...»

Тарутин лежал на диване, подложив руку под голову, со спокойным терпением глядел на круглую фигуру Чернышова, как бы не к месту праздничную, добротно лоснящуюся под яркой люстрой вечерним костюмом. Рядом, глубоко утонув в кресле, сидел с задранной головой Нодар Гогоберидзе, в недоумении водил глазами по потолку и повторял сиплой скороговоркой:

— Конец света. Тихий ужас. Кретинизм. Спятили. Во имя какой радости нам надо портить друг другу нервы! Как вместе работать? Николай, смири гордыню, смири! Я умоляю тебя как друг!..

— Для чего вы вздор говорите, Нодар Иосифович? — вскипел помальчишески Улыбышев с сигаретой в нервных пальцах, беспокойно переминаясь подле кресла Гогоберидзе. — Неужели вы думаете, что можно уговорами установить мир и благодать в науке? Вы — субъективный идеалист.

— Молчать, Яков, когда взрослые разговаривают! — посверкал горячими угольками глаз Гогоберидзе.— Тебя к моему разговору никто не приглашал! Старших уважать надо!

— А меня никто не приглашал в неурочный час! — сказал Дроздов

и, подведенный Полиной к столу, где среди вазочек распространял тропический аромат кофейник, взял на блюдце чашку с кофе. — Благодарю, Полина... Добрый вечер, вернее — добрая ночь, коллеги! — поправился Дроздов, кивая всем, в то же время чувствуя отвращение к этой своей словно кем-то навязанной бодрости. «Кто и что иногда владеет нами?» — и он прибавил другим тоном: — Видимо, нам не хватило вечера.

— Очень, очень позднее время, — забормотал Чернышов и суетливо заторопился, вертя тугой шеей, оглядываясь, куда бы поставить недопитый кофе, наконец сунул чашку на край стола и, одаряя нежностью Дроздова, значительно пожал ему локоть: «Всегда душевно рад вас видеть, всегда душевно рад. Но, к огорчению, я должен...» — и поспешил в переднюю к вешалке, восклицая оттуда растроганно: — Что бы ни было, друзья, между нами, я всех вас ценю и люблю! Я не держу в душе ни обиды, ни зла! Поэтому не думайте обо мне плохо! Я вас всех люблю! Оставайтесь, Нодар Иосифович, не беспокойтесь, я схвачу такси! Спасибо за доброту и милое гостеприимство!..

Стукнула входная дверь. Гогоберидзе вскочил, с трагическим стоном схватился за голову.

— Я — наивный осел! Я ничего не понял в этой дипломатии! Кто кого хочет перехитрить?

— Не волнуйся. Наверняка сегодня ночью Чернышов застрелится от умиления ко всем нам,— сказал Тарутин, лениво подложил другую руку под затылок, вытянулся на диване, сказал Дроздову: — Ты извини, Игорь, за горизонтальное положение. Малость устал сегодня. Садись. Полина сделала сказочный кофе. Правда, не знаю, во имя чего Нодар привез на своей машине ко мне Чернышова.

— Конформизм! — фыркнул Улыбышев. — Соглашательство! Сальто-мортале!

— Никакой любви не получилось, — Тарутин скучно зевнул. — Хотя сплошное умиление: Чернышов гуляет по панели. Приехал подписывать пакт о ненападении. И растаял от чувств. Умеет...

— Что ты мелешь? — вскричал Гогоберидзе, вскидывая перед собой растопыренные пальцы. — Я привез его! Я не хочу между вами вражды! Что ты городил сегодня целый вечер! Самоубийца! Он гулял, а ты оскорблял, унижал всех! Изображал пьяного, а у самого — ни в одном глазу! Я не хочу распрей в институте, в нашем общем доме! Я не хочу, Николай, чтобы тебя ненавидели! Полина! — закричал Гогоберидзе, подбегая к столу, и подхватил жену под руку, потащил ее в переднюю. — Мы не можем бросить человека! Мы привезли его, и мы его отвезем! Может, ты, мальчишка, хочешь сказать, что я подхалим? — крикнул он, оборачиваясь к хмыкнувшему Улыбышеву. — Что ты хочешь изречь, младенец?

— Конформизм, — повторил Улыбышев, сигарета дрожала в его пальцах.— Мне стыдно...

Уже в передней, помогая жене надеть плащ, просунуть полные руки в неподатливые рукава, Гогоберидзе продолжал горячиться и кричать:

— Я против гражданской войны! Я хочу братства, иначе мы все погибнем, как одинокие волки! Я твой друг, ты знаешь, как я тебя уважаю! Но ты был сегодня агрессивен! Ты был очень злой, и твоя злость разрывала мне сердце!.. Я стал как больной!.. Я не хочу, чтобы тебя повели на Голгофу и как разбойника распяли! Не как Христа, а как разбойника!

После ухода Гогоберидзе в комнате стало необычно тихо, и Тарутин, глядя перед собой, высвободил руку из-под затылка, перекрестился, сказал:

— Пусть ангелы помогут мне на суше, а на море я и сам справлюсь.

— На море? — удивленно спросил Улыбышев. — Это как же?

— Пришла на память присказка одного ушлого байкальского рыбачка. Еще одну фразу он говорил: «Ученых много, а вот грамотных среди вас кот начихал». Какая там, к хрену, Голгофа? — наморщил лоб Тарутин. — Дальше Сибири не пошлют, а за Сибирью — тоже русская земля. Дальний Восток. Еще цитата из рыбачка: «Дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут». Страшна не Голгофа, а другие, прочие, которые...

— Кто это «другие, прочие, которые»? — быстро спросил Улыбышев.

— Кто? Всякая преступная братия от науки. Которых судить надо поголовно. За растление, насилие и убийство.

Нет, он не был мертвецки пьян, как показалось всем в конце вечера у Чернышова, он говорил сейчас размеренным, будничным голосом совершенно трезвого человека, лишь серые тени усталости обозначились в подглазьях, пальцы положенной на грудь руки еле заметно двигались, будто успокаивали боль.

— Прости за клоунаду, Игорь, — сказал неожиданно Тарутин, не поворачивая головы. — Я, наверное, был не прав, когда ломом вперся в твой разговор с Битвиным. — Он перевел светло-прозрачные глаза на Дроздова, втянул воздух через ноздри. — Уже невмоготу стало со всей этой камарильей. Всё на пределе.

Дроздов сел в кресло напротив дивана.

— Я-то, понимаешь ли, понимаю, а ты, понимаешь ли, понимаешь? — ответил он полусерьезной фразой, которую оба иногда употребляли между собой в разговоре о вещах бесспорных. — Белое перо я тебе в конверте по почте не пришлю. В доброй старой Австралии, Яша, — добавил он, поймав вопрошающий взгляд Улыбышева, — присланное по почте перо означало обвинение в трусости. — Дроздов помешал ложечкой в чашке с кофе. — После сегодняшнего вечера, Николай, тебя обвинят не в трусости, а кое в чем страшноватеньком... антинаучном, мягко говоря. И попытаются выпереть из института под каким-нибудь предлогом.

— Ни-за-что! — взвизгнул Улыбышев, покрываясь пятнами, очки его подпрыгнули на коротеньком носу.

— Спокойно, но без паники, Яша. Начхать! — сказал Тарутин небрежно. — Дальше Сибири не пошлют, меньше места инженера не дадут. Благодарю за сегодняшнюю поддержку, Игорь. Ты наверняка подумал: опять надрался и повело. — Тарутин замедленно погладил грудь, договорил с усмешкой: — До безумия хочется дать кому-то в морду, но кому? В последний год у меня не выходит из головы, что мы живем как перед потопом. А в общем-то сам ты все видишь.

— Дать по морде не в прямом, конечно, смысле? — ушел от прямого ответа Дроздов. — Заехать в физиономию Козину — довольно-таки соблазнительная картина. Так что давай...

— Внушительней бы в прямом. Но слишком много надо бить морд. Сотни и тысячи. Одного Козина мало.

— К сожалению. Лучше уж дери подряд всем уши.

— Может, хватит иронии, Игорь. У меня нет настроения для светской беседы.

— У меня тоже.

— Тогда что ж, — Тарутин скинул ноги с дивана и, нахмурясь, заговорил утомленно: — Каждый выбирает свою позицию. Ты с некоторых пор выбрал центр. Мне это противно. Запомни — противно.

— Выбрал центр?

— Центр — это, в сущности, оказывать и тем и другим услугу соучастия.

— Беспощадно. Проще говоря, хочешь пришпилить меня к Чернышову и «другим, прочим, которые...» Я заметил твое неудовольствие еще в Крыму. Ты был раздражен против меня.

— Мы с тобой, как это ни странно, не всегда по одну сторону бар-

рикад. Что-то не то началось между нами не в Крыму. «Скажи, кто твоя жена, и я скажу, кем ты станешь». Было ясно, когда мы вернулись из Сибири, что ты полюбил не Юлию, а дочку академика. Вернее — цель. А она за что тебя — бесштанного инженера?

— Идиотство! Ты повторяешь эту нелепость!

Дроздов поднялся резко, сделал шаг к столу, поставил чашку, зазвеневшую о блюдце, разозленно выговорил:

— О Юлии — ни одного плохого слова! Договорились?

— Вполне. — Тарутин скрестил на груди руки и без тени насмешки подставил щеку. — Это святое. Не скажу ни слова. Можешь получить сатисфакцию.

— Пока воздержусь, — сказал Дроздов, снова садясь в кресло. — Так в чем мой центризм? — заговорил он, зажигаясь от усталой уверенности Тарутина. — Давай разберемся. Прошиб ли ты лбом стену сегодня? Нет. Ты навел некоторую панику в этом сборище факелов духа и светочей. Обозлил до слабости желудка Козина. Озадачил Битвина. До слез перепугал Чернышова. И, как видишь, чтобы ты не поносил его всенародно, он примчался к тебе изъясняться в любви. Наконец, ты вызвал злобу и ненависть своих и чужих коллег. Слышал ли ты, как они кричали тебе в спину: «Он сумасшедший! Вызовите скорую помощь! У него припадок шизофрении!». Они готовы объявить тебя психбольным, новый Чацкий! Филиппиками не сделаешь ничего! Надо действовать иначе. Иначе, Николай, иначе!

— Как иначе? — покривился Тарутин. — Отсиживаться в кустах и ждать? Надо видеть: нас всех как стриженых баранов на бойне в один угол гонят. А мы покорно идем к концу, оскопленные, трусливые, побежденные. Примитивное «бе» и «ме» не можем проблеять!

— Кому проблеять?

— Если мы будем ждать мессию, то через считанные годы конец всему на земле! Все разрушат нашими руками. Байкал под угрозой, Севан под угрозой, Ладожское озеро под угрозой, Аральское море перед агонией. Кара-Бугаз погибает. Все водохранилища — гниль. Волга — сточная канава. Енисей — сплошная грязь. Мощный Иртыш пересыхает, коровы его переходят. Ока, Днепр; Кама, Обь, Ангара, Северная Двина, Кубань — можно ли пить из них воду, есть ли в них рыба? Сколько затоплено плодороднейших земель, пойм, лугов, невырубленных лесов, сел, деревень, городов... Сначала ведь были под проектами подписи ученых, академиков, докторов и других, прочих, которые... Потом уж начиналось строительство. Как ты думаешь — преступление это или благо? Кто командует всем этим? Вредители? Преступники? Кто первый подает команду? Я спрашиваю — преступление это или нет?

— Преступление — громко сказано. Недомыслие.

— Пошел ты! — выругался с сердцем Тарутин. — Мы поссоримся с тобой навечно! Ты еще веришь в какие-то случайные заблуждения, ошибки, недомыслие! Хохотать можно до упаду! Все ошибки — почти сознательные! Ошибочки эти ведут к гибели экономики, а потом уже — России. Министерские монополии, с которыми мы имеем дело, командуют в нашей стране миллиардами. Обещают изобилие — и десятки лет ноль целых, ноль десятых! Изобилие — в мечтах, в болтовне, в мифических цифрах. В чем же дело, а? А дело в том, что эти всесильные монополии пустят Россию по миру с протянутой рукой!

— Не слишком ли, Николай?

Тарутин взглянул с презрительным сожалением.

— Я тебя уже послал к хрену! Этого мало. Посылаю тебя подальше! Ты, как я думаю, — космополит, гражданин мира. А я русский — до ногтей. Поэтому не желаю гибели России. Самой многострадальной, всеми ненавидимой, ибо до предела талантливой и, стало быть, опасной. Я не умиляюсь, я знаю русский дурашливый характер. Но я его никогда не променяю ни на какой другой рационально выверенный! И если уж хочешь знать все до конца, то с некоторых пор я считаю себя в состоянии необъявленной войны со всеми этими проституирующими ничтожествами, со всей этой ведомственной мафией, которая не хочет упустить из своих рук миллиарды, власть и черную икру... И как бы они ни ненавидели меня, черт их возьми, я буду продолжать с ними войну, партизанскую!

— И нет ни бога, ни умиротворения в своем доме? — проговорил грустно Дроздов, и в его памяти возник тот парижский ресторан, обед делегации экологов, накрахмаленные скатерти, гигантские зеркала, отражающие пышные, как хрустальные растения, люстры. Официальная скука однообразных до отупения речей, потом весенний парк в предвечернем туманце и рассказ Тарутина о монашенке во всем черном, встреченной у ворот церкви богоматери Марии: «Ищи умиротворение в своем доме».

— Нет! — грубовато отрезал Тарутин. — Хватит! Никого и ничего я сейчас не боюсь: ни бога, ни черта, ни тюрьмы, ни смерти! И знаешь что? Ни в любовь к ближнему, ни в рай земной, ни в нравственную политику я сейчас не верю. Что-то выветрилось... Меня вроде обоболгали ни за грош. Может быть, мы все — обманутое поколение. Нас водят за нос. Вернее — нас предали. Иногда думаю: мог бы я быть Робеспьером? Мог. Но — без крови. Бездарных министров казнить переводом в чернорабочие. Глупцов из академиков — в дворники. Высоких администраторов — в грузчики. Жестоко, а? Мягенько, мягенько и либерально! Впрочем, у меня и кулаки чешутся. Вот какое зверское настроение — охренеешь!

«Нет, он не сейчас переступил через что-то... У него нет сомнения и он свободен от многого».

— Я перечитал материалы по Чилиму, — сказал Дроздов. — К сожалению, ходу им Григорьев не дал. Вдова вернула их с его запиской. Вот, прочитай.

«Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста!» — взвился в его ушах умоляющий голос Мити (будто он умолял пощадить и не мучить его), и Дроздов услышал захлебывающийся плач, сухой кашель — и, до единого слова вспомнив конец разговора с сыном, почувствовал внезапно подступающую удушливую вину перед ним. «Умиротворение? Я знаю, что Митя болен, одинок, знаю, что жить не могу без него. И я не свободен».

— Не удивлен, — безжалостно сказал Тарутин, прочитав записку и вернув ее Дроздову. — О покойниках или ничего, или всю правду. Твоим бывшим тестем монополисты крутили как хотели. При помощи его безволия и его бездарных коллег, изгадили половину Сибири. С его же согласия изуродовали лучшие пашни России, закопали миллиарды рублей в землю. Первые подписи от науки ставили Козин и он.

— Не забывай, что его в сороковых годах травмировали на всю жизнь, — возразил Дроздов. — Это имеет какое-то значение.

— Не имеет! — отчеканил Тарутин. — Всем этим чувствованиям и сантиментам — грош цена! Он был неглуп, но руководить институтом экологии — не руками водить в кабинете. А если нет воли гангстерам сопротивляться, то уходи к едреной бабушке. Получай пожизненно свои пятьсот академических и пописывай статейки или мемуары! Потом еще этот... его ученик... толстячок Чернышов. Лыс, как бубен, а льстил старику, как кучерявый. Предчувствую: на место Григорьева будут рекомендовать его. Очень он нужен Козину. Яша-а! — начальственно поднял голос Тарутин. — Какого святого, сидишь и слушаешь, как три умных! Подогрей-ка кофе и угости нас горячим из уважения к старшим!

Улыбышев в зачарованной позе сидел за столом, уперев подбородок в скрещенные руки, его возбужденные за очками глаза перебегали

с Дроздова на Тарутина, замирали на миг и ошеломленно увеличивались, а губы приоткрывались улыбкой, обнажавшей немножко деформированные зубы, какие бывают у детей. Как подброшенный командой Тарутина, он вскочил молниеносно, схватил кофейник и выбежал в кухню, поспешно зачиркал там спичками.

— Так лучше, — сказал Тарутин.

— Ты не доверяешь ему? — спросил Дроздов.

— В разговоре двоих не должен участвовать третий. В наше время все может быть. Я забочусь о тебе.

— Я перечитал твое заключение о Чилимской ГЭС, — сказал Дроздов. — Что бы ни было, ты прав, наверно. И я вот что подумал. Тихая война за Волгу, Байкал и Енисей кончилась безуспешно. Начинается необъявленная война за Чилим. Так, что ли, Николай?

— Что Чилим? Несчастный Чилим!.. Думаю о нем все время! На нем свихнуться можно!

— Оттуда есть новости? Что там сдвинулось, тебе известно?

— Новости устарели еще вчера. Хотя проект не обсужден и не утвержден, а финансирование открыто. Миллионы уже поплыли туда. От нас это скрывают. Недержание строительной пыли, которую пущают в глаза, и эф-фект, эф-фект для дилетантов из правительства! Не понимаю не идиотизма, а идиотизма в высшей степени!

— Все повторяется в этом мире. Лидируют не сократы.

— К несчастью. Тем не менее меня не поражает, а приводит в бешенство то, что в проекте гениального козинского «Гидроцентра» и Академии наук доказывается высокая эффективность строительства еще одной мощной пиковой гидростанции — Чилимской. Да ведь она, родимая, не получит полного использования ни на 15-м, ни на 20-м году своего юбилея. Мощность, увы, не обеспечена водными ресурсами. Но — небескорыстны фейерверки «Гидроцентра»! Во имя чего пылепущание и обманы? Во имя власти ведомственной и денежной монополии в «экономическом преобразовании» Сибири. Хреновина! Я ведь изучил эти места. Строительство нанесет катастрофический ущерб! Затопят к едреной матери уникальные долины, на чем держится чилимское животноводство, уничтожат последние кедровые леса, редкие виды флоры и фауны, произойдет жуткое нарушение естественных и природных процессов. Это не имеет цены! Частенько Енисей вспоминаю. Когда строители рубили дорогу к Саяно-Шушенской ГЭС, было навсегда погублено столько мрамора, цена которого была равна стоимости самой ГЭС. Каково?

— Знакомо. Чтобы сорвать яблоко, руби все дерево. Родная технология.

— Но слушай дальше. Местные сторонники ГЭС говорят: «У нас будет море. Мы будем кататься на яхтах». Чудаки! Безгрешная наивность! Стоило бы им увидеть Саяно-Шушенское водохранилище, близкое будущему Чилимскому, они бы в обморок попадали, наивняки! Вместо белых парусов их ждет мертвая зона в пятьсот километров. Гнилое море с плавающими бревнами, с обезображенными берегами и останками затопленных селений. О чем же они мечтают, дубины стоеросовые? Горький опыт ничему не учит! Нет, «Гидроцентр» делает не ошибки. Какое-то запрограммированное, хитроумное уничтожение Сибири. Вот где смертельный парадокс! С криком о прогрессе наши тупоумные мужи из Академии в одно прекрасное время подписали смертный приговор Енисею. Бесподобный по запасу пресной воды титан и красавец почти загублен. Теперь, наконец — Чилим. И что меня поражает, Игорь? Бесчеловечность так называемой науки. По-моему, наша ученая братия давно деградирует. Но проектировщики настроены победоносно. Напор, наглость и поддержка на всех уровнях — от Академии до Генерального.

— Ты полностью в этом уверен?

— В чем то есть?

— В поддержке проекта на всех этажах.

— Милое, конечно, полное оптимизма сомнение. Ты еще надеешься на здравый смысл?

— До оптимизма мне далеко.

— Наши монополии согласия у народа не спрашивают. У них неограниченная концентрация экономического могущества. Государство в государстве. Не останавливаются ни перед чем. Ни перед какими природными законами. Поверь, Игорь, когда штудировал Чилимский проект, на каждой странице таращил глаза и от недоумения хотелось встать на карачки и залаять.

— Пожалуй, неудобная поза. И вряд ли кто поймет.

— Мне не до ерничества, Игорь! Тебе известно, что воды Чилима несут тяжелые металлы горных месторождений. В проекте ГЭС — вранье! Явно скрывают реальную опасность заражения водохранилища и реки самородной ртутью и медью в зоне затопления. Даже растяпу может удивить, что «Гидроцентр» почему-то взял в Одесском институте тропических морей заключение о безвредности ртути на основании того, что «она плохо растворяется в воде». Хохот в зале! А исследование лаборатории Всесоюзного НИИ океанографии показало, что уже сейчас содержание металла в промысловой ихтиофауне Чилима в тысячу раз выше, чем в воде. Можно представить смертельный процент отравления будущего «Чилимского моря»? Можно согласиться с тем, что будущее местного населения — неизлечимые болезни и больничная койка? Так вот. Ты сказал: война? Тихая война, необъявленная? А я готов на все.

«Он готов на все», — подумал Дроздов и посмотрел в окно на далекие огни спящего города; они напоминали угли костров, на которые наползал, окутывая улицы, черно-синий туман августовской ночи.

«Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста!..» — опять зазвучал в ушах умоляющий голос Мити, его задыхающийся кашель, и он с горьким неудовлетворением подумал: «Умиротворение в своем доме? Где оно? Что это — усталость от жизни? Тихая война? Нет, другое, другое...»

— Прости за лирику, — сказал Дроздов, — но вот я о чем подумал. Все мы связаны одной веревочкой. На все, пожалуй, есть закономерности. В море через шесть часов прилив и через шесть — отлив. Два раза в сутки. Поразительно! Это вроде дыхания моря, вроде вдоха и выдоха. Верно? Ну а мы? Похоже, что живем на каком-то искусственном дыхании. Откуда эта дурацкая закономерность?

— Существуем по р-революционным закономерностям, — ответил недобро Тарутин. — Сделать вдох и не делать выдох. Сделать выдох и не делать вдох. Аксиома: почти все наши проекты покорения природы — изощренная пытка своей матери, садистская казнь. Конечно, под гуманным лозунгом: все для блага народа. Закономерности? А тут тоже аксиома. Сильные мира сего давно поняли, что большинство людишек — обыватели, рабы своих желаний: брать, хватать, жевать, надевать. Поэтому у технократов развязаны руки. Полная свобода для применения пыток и казни.

— Положим, есть другая аксиома: без приличных штанов и босиком щеголять по морозу не будешь, — не согласился Дроздов. — Брать кроме как у земли неоткуда. Весь мир и мы плаваем в этой проблеме, как в отравленной свинцовой водице.

— В данном случае меня интересуют «мы». Кто «мы»? — пожал плечами Тарутин. — «Мы» — обще и расплывчато. Для девяноста процентов нашего брата моральной проблемы нет. Бери, грабь, шуруй... Без приличных штанов ты ходить не хочешь. А я, представь, патриархальный дикарь, и готов щеголять в дешевеньких примитивных брюках.

«У него не было, нет и не будет умиротворения, — подумал Дроздов. — Он болен навязчивой идеей».

— Ладно, давай без ерничества! Утверждение, Игорь, есть: разумная умеренность в потреблении ресурсов и возвращение земле всех долгов. Первое — очень простое и страусу известное. Сколько вырубил леса, столько и посади. Иначе лет через пятнадцать даже тайга превратится в мусор. Второе — посложнее. Взорвать к чертовой матери неоправдавшие себя равнинные плотины, ликвидировать загнивающие водохранилища и вместе с ними возникшие микроклиматы, где начинается туберкулез. Третье...

— На третье — кофе, — прервал Дроздов.

Из кухни вбежал с кофейником Улыбышев; на бегу нюхая воздух вздернутым носиком, воскликнул: «Ах, экзотический аромат!» — и бросил кофейник на подставку, замотал пальцами, подул на них, схватился за мочку уха.

— Невообразимо огненный, — сказал он, смущенно оправдываясь, и зазвенел чашками, расставляя их, но тут же, словно ударенный в затылок, оглянулся боязливыми глазами на Тарутина, выговорил запинающейся скороговоркой: — Николай Михайлович, я помешал разве?

— И я тоже думаю об этом, Яша.

Тарутин со скрещенными на груди руками, откинувшись к спинке дивана, смотрел на Улыбышева в задумчивости, и Улыбышев оробело пробормотал:

— Помешал, да?

— Помешал, — отозвался Тарутин невозмутимо. — Если ты, Яша, по своей милой откровенности, случайно предашь меня в кулуарном разговоре, то это ничего не значит. Я давно окружен недругами. И поэтому только лишний раз придется спеть романс «Мне бесконечно жаль моих несбывшихся мечтаний». Я имею в виду веру в тебя. Если же предашь в кулуарах не меня, а Игоря Мстиславовича, то я этого не прощу никогда.

— Почему вы это мне говорите? — растерялся Улыбышев, так краснея, что, казалось, выступят слезы. — Разве я подавал повод? Зачем вы меня оскорбляете? Я иногда спорю с вами, когда не во всем согласен... но я отношусь... отношусь к вам с таким пиететом... как ни к кому!..

— Что за слово? «Пиететом»! К чему так громко? — недовольно перебил Тарутин. — Предупреждаю тебя, потому что мания предательства стала сейчас как эпидемия гриппа. Предают друг друга и оптом, и в розницу, и ради красного словца. Последнее — самое распространенное.

— Вы не имеете права, Николай Михайлович! — визгливо крикнул Улыбышев и поперхнулся. — Вам разве не стыдно так подозревать! Вы пользуетесь моим уважением к себе! Я младше вас, но я ваш товарищ, а вы меня считаете, не знаю кем... совестно сказать! Я не предатель! Я бы умер, если бы кого-нибудь предал! Если бы даже меня пытали! Я больше не хочу в вас разочаровываться, Николай Михайлович! Я не хочу!.. Я слишком вас уважаю! Я не хочу! Я уйду лучше, уйду! Я не хочу!..

Выкрикивая все это, Улыбышев искал непокорными пальцами неуловимую пуговичку на затерханном пиджачке, потом торопливо попятился в переднюю, задергал головой, обозначая прощальные кивки, после чего на худеньких ногах, обтянутых джинсами, кинулся к двери.

Тарутин непроницаемо сказал ему вслед:

— Спокойной ночи, Яша.

Дроздов, не ожидая ребяческой обидчивости Улыбышева, этого вспыльчивого самолюбия, уже сожалея о его уходе, досадливо упрекнул Тарутина:

— Ради чего обидел мальчика по-хамски? В общем, Николай, святой и угодник вряд ли из тебя получится!

— Каким мать родила, — ответил Тарутин. — И это, видишь ли, архаично. Ладно. Давай выпьем кофе. Я хочу тебе кое-что сказать.

Он упруго оттолкнулся руками от дивана и, раздражающе сильный, с крепкой, круглой шеей, открытой распахнутым воротником рубашки, задвигался около стола, сосредоточенно разливая кофе, затем подал чашку Дроздову и, помешивая ложечкой в своей чашке, спросил наконец:

— Ты не задумывался, с какой стати тебе назначил встречу Битвин?

— Признаться: до конца нет.

— Тебе хотят предложить пост директора института. Наверняка.

— В корне ошибаешься. Для этого места уже подготовлен Чернышов.

Тарутин проговорил твердо:

— Не имеет значения. Битвин наверняка будет прощупывать тебя насчет директорства. И это очень важно. Битвин, по-моему, симпатизирует тебе. Академия — на стороне Чернышова.

— Для меня вопрос решен, — сказал Дроздов. — Я не хочу влезать в хомут. В последние годы я устал, Николай.

— Если ты просто устал, то я устал смертельно.

Тарутин допил кофе, поставил чашку на стол и опустился на диван, отвалил к спинке голову, утомленно полуприкрыл веки, выговорил не без обычной усмешки:

— Недавно понял, что можно умереть от всеобщего кретинизма и тоски. Заранее благодарю за то, что ты придешь на мои похороны уже будучи директором.

— С удовольствием, — зло ответил Дроздов. — И принесу венок с надписью: «Великому клоуну пессимисту от скорбеющего друга». Мне, Николай, неловко слышать о твоих чудачествах. Хочешь удивить институтских секретарш? Носишь какую-то веревку в «дипломате»!

— Кто тебе сказал? Что за веревка? Ах, да, Федяев! — воскликнул Тарутин и захохотал. — Вот жалкий поганец, сморчок в вельветовых брюках! Да, веревка, веревка! Летом заставил его два раза переделать глупо написанную бумагу о Ладоге, а он в истерику: «Вы меня мучаете, вы меня травите, вы меня доведете до самоубийства!» Положил перед ним листок бумаги: «Пишите обвиняющее меня письмо. Я наложу положительную резолюцию!» А он, мой милый алкаш, уставился на меня похмельными глазками и даже стал икать: «От вас повеситься можно, только веревки нет!» На следующий день принес ему веревку в «дипломате», говорю: «Мой вам подарок, пользуйтесь». Теперь он трясется, улыбается и бледнеет, увидев меня. Но — никаких истерик. И ясно — распускает слухи.

«Он пришел к чему-то решенному для себя. Он не хочет ни с кем худого мира», — подумал Дроздов и с хмурой озабоченностью сказал:

— Николай, ты слишком открыт и создаешь вокруг себя зону ненависти. Ходишь по острию ножа.

— В таком случае я глупец. Не хочу создавать флер любви вокруг себя. Унизительно и незачем.

— И хочешь сказать, что начхать на ненависть против себя?

— По крайней мере — она естественнее. Здесь все ясно. Впрочем, у тебя сын, а я один как перст. И повторяю: не боюсь я, поверь, ни хрена — ни ненависти, ни костлявой старухи. Я уже раз бывал на этой земле («Почему он сказал «бывал»?»). Тогда она была сказочной. Помню даже последний город, в котором когда-то жил. Помню даже солнечные улицы, фонтаны, дворцы, сады. Хочешь, начерчу подробный план этого чудесного города?

Говоря это, он не засмеялся, и не было оттенка шутки ни в голосе, ни в его лице, сохранившем усталое выражение спокойной серьезности.

— Знаешь, Николай, я тоже немного мистик, заразился в тайге.

А два мистика — это уже много, — сказал Дроздов, иронией разрушая серьезность его убеждения, но в сознании между тем отпечатывалось: «Какое все-таки странное у этого «парня из тайги» сочетание: эта седеющая русая челка, как у патриция, и эта безоглядная грубоватая независимость. А отец, кажется, из забайкальских казаков, то ли агроном, то ли лесник, мать — сельская учительница; обоих уже нет в живых. Личной жизни у него не получилось. Николай один».

— Ладно, положим так, — сказал Тарутин в раздумчивом согласии. — Я, возможно, слишком открыт, значит — недруги мои сильнее. В последнее время особенно. Но это меня не пугает. Я подтверждаю, Игорь: я готов на все.

— Давай держаться, Николай.

— Дико в наше время быть в заговоре, — проговорил Тарутин с отвращением. — Но только в этом спасение. Я прошу тебя помнить об одном: зла на тебя я не держу. Я хотел бы быть с тобой в союзе, если, конечно, ты не уходишь в сторону. Двое — уже кое-что. Первое условие союза: мы восстаем против всех соглашательских ничтожеств из Академии и восстаем против монополий...

— Не забывай, что двое — это лишь двое. Не преувеличивай возможности.

— Второе. Ты должен стать директором института. Должен, Игорь.

— Не так давно ты готов был обвинить меня в карьеризме.

— Изменились времена — изменились нравы. Выхода нет.

Глава тринадцатая

А был ли это сон?

...Он проснулся от осторожного скрипа двери, от холодка, потянувшего по лицу, плохо соображая, вскинулся на полатях, спросонок увидел кольцами дымящийся лунный свет, который снаружи ломился в избу крутым столбом, падал на деревянный выщербленный пол.

Почему-то дверь была полуоткрыта, там лунным провалом стыло безмолвие. Никто не входил, не слышно было живого дыхания, и он вдруг почувствовал ледяное прикосновение страха к затылку.

По дороге на строительство он заночевал один в избе, совершенно пустой, много лет назад брошенной, в конце разрушенной деревни на берегу Нижней Тунгуски. Вокруг на тысячи километров простиралась предзимняя тайга, мнилось, без единой души, немая, мертвая, залитая неживым светом, оцепенелым на неподвижных вершинах, как будто никогда не бывало обвального октябрьского ветра и никогда по целым дням дьявольскими накатами не шумела эта глухомань, доводя в темные ночи до исступления.

«Что это почудилось мне? Открыта дверь? Что случилось? И почему так тихо?»

Уже давно привыкший к вселенскому ночному гулу и реву, он сидел на полатях, оглушенный тишиной, давящей омертвелостью страшного в своей огромности пространства, окружавшего его каким-то тошнотным предчувствием. Он неподвижно смотрел на лунный свет, шевелящийся толстыми кольцами удава в полуоткрытой двери, где не было ни звука, ни шагов, стараясь мучительно понять, почему она оказалась открытой и кто и как открыл ее. Он помнил, что вечером запер на ночь дверь тяжелым засовом, хоть и был не робкого десятка. Он не хотел на ночь рисковать здесь, зная, что в этих богом забытых местах ходит народ разный и лютый.

«Что со мной? Галлюцинация, что ли?» — соображал он и для бодрости выругался вслух пересохшим голосом, окликнул хрипло:

— Кто там? Кто за дверью? Кто?..

Он подождал минут пять, сидя напряженно на полатях, потом, пересиливая себя, со стиснутыми зубами осторожно сполз на пол и на

носках бесшумно стал продвигаться вдоль стены к мертвенной лунной пустоте, чтобы закрыть дверь, опасаясь, что кто-то затаившийся на крыльце вихрем ворвется с оружием в избу и он окажется бессильным.

Спиной прижимаясь к стене, он наконец подкрался вплотную к двери и, сдавливая дыхание до барабанных ударов сердца, долго вслушивался в угрожающее безмолвие снаружи и вдруг в слепой решимости, что бывало в тайге не раз, изо всей силы настежь распахнул ногой дверь и крикнул дико и страшно:

— А ну, кто там, входи!.. Входи, говорят!..

На крыльце никого не было. И ни души, ни тени на пустынном берегу. Все замерло в дымно-голубом ночном воздухе. Луна огненно горела над тайгой тайным одиноким зраком. Внизу мерещилась застывшая, остановленная сатанинской силой Тунгуска, вспыхивала гигантскими фантастическими зеркалами, направленными во Вселенную.

И ему стало жутко в этом зловещем лунном онемении между землей и небом, в этой полной беззвучности во всем мире. И, дрожа от беспричинного страха, в нервном ознобе он плотно закрыл дверь, нетвердыми руками на ощупь проверил прочность скоб, накрепко задвинул полупудовый язык железного засова, затем лег, глубоким дыханием успокаивая сердцебиение. Уже лежа внезапно вспомнил пропавшую несколько лет назад в горной тайге геологическую партию, найденную в ущелье нашими вертолетчиками. Семь человек, — две девушки и пятеро молодых парней без следов насильственной смерти лежали и сидели в разных позах возле, видимо, только что расставленной палатки, лица были обезображены страхом, нечеловеческой мукой, повернуты в одну сторону с остекленелыми глазами, будто увидено было одновременно всеми нечто чудовищное, роковое, гибельно неотвратимое...

«Вот оно пришло... И я начинаю бояться тайги, — думал он, глядя в темноту и смутно видя там изуродованные ужасом лица незнакомых геологов, окостеневших одинаковым выражением перед смертью. — Чертовщина лезет в голову, а я, здоровый мужик, раскисаю как сопляк».

И он попытался расслабиться и закрыть глаза, вытягиваясь на жестких полатях, пробуя усилием воображения представить вечернюю Москву, сентябрьский, сыплющий в веерах фонарей дождичек, мокрые зонтики на Театральной площади, прилипшие листья к черному, как графит, асфальту, мелькающие по листьям острые каблучки женских сапожек.

И насилием над собой он вскоре забылся, поплыл одурманенный сладкой тоской по дому, этому несбыточному ноеву ковчегу, не однажды спасавшему его в припадках одиночества, особо тяжкого в тайге осенью, от которого можно сойти с ума.

Невозможно было знать, сколько продолжалось забытье, две минуты или два часа, только проснулся он, точнее — испуганно вскочил, услышав тихий протяжный скрип двери, и в ту же секунду ударил по глазам круто клубящимся туманом голубоватый свет, вливающийся снаружи в дверной проем.

«Что такое? Опять? Кто здесь? Кто?» — И почти теряя рассудок в обезумелом страхе, хватаясь за единственное и ненадежное оружие — подаренный проводником эвенком охотничий нож, — он закричал с угрозой смертного предела:

— Кто там? Кто там? Кто там?..

В ответ — неподвижность, ни единого шороха. Никто не входил. Полураскрытая дверь беззвучно впускала сияющую лунную духоту. Тогда, обливаясь жарким потом, он упал спиной на полати и, зажмурясь, лежал так в бесчувственном состоянии отрешения. Он не помнил, что проходило в его сознании, но раз почудилось вблизи невнятное скользящее движение, потом вроде бы кто-то темный наклонился над

ним, быстро и зорко вглядываясь, даже повеяло душным погребным запахом, земляным ветерком, и трудно стало дышать. Но когда, очнувшись, он открыл глаза, то перед ним низко темнел закопченный потолок — и тягостное удушье начало постепенно отпускать.

А утро было ветреным, звучным, солнечным, и он не мог вспомнить, кто приходил к нему и кто ушел, не тронув его ни болезнью, ни болью, ни насилием.

«Может быть, приход ко мне той ночью был ошибкой? Скорее всего — так. Но в ту ночь умерла Юлия».

Много спустя, уже далеко от тайги, живя в Москве, он хорошо понимал, что никакие запоры, никакие двери не смогут никого спасти, остановить то, что входит без стука вместе с лунным светом, дождем, темнотой, безмолвием. Да, в ту ночь, когда умерла Юлия, должен был или мог умереть и он, и те полураскрытые двери были сообщением ему...

...Во сне он вспоминал этот сон с такой горечью потери, случившейся с ним беды, с такой безвыходной молодой любовью к Юлии и тоской по Мите — слабенькому, зеленоглазому своему сыну, которому он не в силах был ничем помочь, а Митя так плакал и так мучился в приступе астмы («Папа, ну, пожалуйста! Ну, пожалуйста!»), что Дроздов сам, задыхаясь, проснулся со стоном, не понимая, зачем эта мука и почему звонил в темноте комнаты телефон.

«Снова жуткая нереальность. Мой сон или действительность, смерть Юлии, астма Мити и зачем-то телефонный звонок. Что сейчас? Глубокая ночь? Рассвет? Кто звонит? Тарутин? Я вернулся от него в два часа...»

Еще окончательно не стряхнув давящую вязкость сна, он спустил ноги с постели и, не поймав тапочки, пошатываясь спросонок, пошел босиком к письменному столу и здесь, не зажигая света, ощупью нашел трубку, выговорил, преодолевая мешающую в горле хрипотцу:

— Слушаю. Ты, Николай?..

И неестественно едкий, остренько-бритвенный голос с ненавистью и придыханием самоистязающего порочного отрока как будто брызнул мутной струей в трубку:

— Мразь! Отступи! На тебя играем в карты!

Сейчас же зачастили скачущие гудки, и почудилось: с трусливой поспешностью трубку бросили на аппарат где-то в пропахшей мочой автоматной будке, и Дроздов увидел в эту секунду маленькие крысиные глаза, злобно блеснувшие за темным стеклом уличной кабины.

«Так. Прекрасно. Это уже ново, — скользнуло у Дроздова, и вмиг сознание стало ясным, трезвым. — Кто-то мог ошибиться телефоном? Но — чушь, фантастика! Что за угроза? В связи с чем?»

В тишине вкрадчиво, бессонно постукивали часы возле телефона, и в темноте он различил на циферблате фосфорически мерцающие стрелки. Было четыре часа, самая нерушимая, самая покойная пора на переломе ночи. Город еще спал, не шелохнувшись ни единым звуком: ни шелестом шин, ни гулом трамвая. На балконе металлической полосой недвижно белели под невидимой луной перила.

«Да какая угроза? В связи с чем?»

Сон пропал. Дроздов надел тапочки, накинул халат и вышел с зажженной сигаретой на балкон, в зябкую свежесть холодеющего воздуха. Небо было студено, ярко, звездно. На западе Большая Медведица висела в предутренней стылости, над дальними крышами. Дроздов не нашел той крупной звезды, на которую обратил внимание возле дома Тарутина. Но он увидел над головой Кассиопею, знакомую по долгим ночам в тайге, — «свадебное» это созвездие всю осень передвигалось в зените, а в полночь серебристо горело посредине Млечного Пути с торжественным величием.

«В Сибири я смотрел на небо иначе: иногда с праздным интересом, чаще — угадывая погоду на завтра, — подумал Дроздов. — А теперь нашел Кассиопею и неизвестно для чего вспоминаю чьи-то слова: взирай на этот свадебный венец долго, чтобы впитывать энергию и быть везучим и счастливым. Везучим и счастливым. Значит, есть страх перед чем-то? Мне стало тяжко нести крест, который лег на меня в последние годы? И больной Митя — тоже крест? И многое из того, что происходит, — тоже? Так о каком везении речь? Душевное равновесие, гармония — вот прекрасное и надежное убежище. Где же оно, равновесие и свобода навсегда? Все зависит от нас самих? И все хорошо, все хорошо, свободен, освобожден навечно?..»

Он посмотрел вниз, на меркло желтеющий под фонарем в пропасти улицы асфальт, почувствовал сладко-тягучий холодок в животе, как бывало и в детстве, когда смотрел с высоты, мгновенно замерз на сыром воздухе и, закутываясь в халат, в эту минуту услышал за спиной телефонный звонок.

«Нет, значит, не случайно!» Он быстро вошел в комнату, быстро снял телефонную трубку, но сказал сверх меры спокойно: «Да», — и тотчас где-то в чужой квартире или автоматной будке спешно повесили трубку, лишь коснулось слуха и оборвалось свистящее дыхание. «В этом нечто намеренное. Нет, здесь не ошибка связи...» И Дроздов, докуривая сигарету, сел в кресло, теперь не сомневаясь, что два звонка не могут быть ошибочны, случайны (первый — воздействующий, второй, подтверждающий первый), что в этой нелепой ночной угрозе действие и злоба каких-то неизвестных недругов, мстящих за что-то, в ненависти объявивших ему тайную войну с угрожающим предупреждением. «Гнусавый голос подростка — декорация... — продолжал думать Дроздов, припоминая интонацию голоса в трубке. — «Мразь! Отступи!» Но кто купил этот голос? Кто он? Что ж, каждый ненавистник — потенциальный наемник. Немыслимо и печально. Кто же из моих коллег может так ненавидеть меня? И за что? И сколько их, недругов? Глупость и безумие!..»

Это было первое, пришедшее в голову, но любое предположение не имело никаких внушительных опор, и Дроздову вдруг стало невыносимо тошно. Это была не боязнь, не опасение, а злое брезгливое чувство, раз пережитое им в молодые годы, когда после окончания института он неопытным, поэтому чересчур строгим инженером сталкивался на стройках в Сибири с работягами разными, и «за непослушание паханам» был даже проигран бывшими уголовниками в карты, однако, по стечению обстоятельств, проигравший «московского инженера» сам был избит до полусмерти своими дружками за воровство в бараке и из больницы на стройку не вернулся.

«Кто-то угрожает мне с упредительным расчетом, но — кто он за измененным телефонным голосом? — соображал Дроздов, сидя в холодноватом сумраке комнаты, по-прежнему не зажигая света. — В респектабельном институте кто-то хочет «проиграть меня в карты». Все в этом мире повторяется. Фарс. На Енисее мне угрожали почти теми же словами — только на клочке бумаги. Так что же это? Какая цель? В чем? В ком? С чем это связано? И почему именно сегодня ночью звонок?..»

(Окончание следует)

ПОЭЗИЯ

Неизвестная поэзия русского зарубежья

«МЫ, КАК ПИСЬМО В ЗАКЛЕЕННОМ КОНВЕРТЕ...»

Пять лет борьбы, поисков истины, полемики, сенсационных публикаций прошли не бесследно: роковая граница, от которой мы начинаем отсчет российской трагедии, вопреки всем усилиям «детей Арбата», сдвинута с 1937 года в глубь истории лет на двадцать, а то и дальше. Попутно сделано великое дело и для русской поэзии: можно сказать, что в полном объеме из исторического небытия извлечены имена Николая Клюева и Марины Цветаевой, Владислава Ходасевича и Георгия Иванова, Владимира Набокова и поэтов есенинской плеяды. На очереди книги Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Ивана Елагина, Бориса Поплавского — значительных поэтов первой и второй эмиграции.

Затягиваются раны и язвы гражданской войны, все естественнее становится наше ощущение того, что «красные» и «белые» — дети одной несчастной матери-России (за исключением разве что интеллектуально-политической банды профессиональных революционеров-интернационалистов).

В далеком городе Сан-Франциско, в одном из гостеприимных семей русских изгнанников первого поколения, русская женщина Лариса Красовская подарила мне книжечку стихотворений, видимо, своей подруги Виктории Янковской, книжицу с горьким названием «По странам рассеяния». Я перевернул обложку. С фотографии на меня глядела крепкая, смуглая девушка с большими печальными глазами. Она, как Афродита, выходила из пены морского прибоя в простеньком ситцевом купальнике с грубым ожерельем на загорелой шее, с охотничьей одностволкой в руке. И столько было в ее запечатленном движении силы, свободы, здоровья, что меня просто прожгла мысль: «Вот какой была Россия, которую кремлевская ленинско-троцкистская власть вышвырнула за родные пределы, вот каким было поколение моей матери, изношенное в эпоху строительства социализма». Эпиграфом к книжице были слова неизвестного мне поэта Алексея Ачаира, наверное, тоже изгнанника:

И за то, что нас Родина выгнала,
Мы по свету ее разнесли...

«Родина» — так и было написано с большой буквы.

В числе поэтов, кто нес «по свету» Россию, русскую душу и русское чувство,— правнучка Боратынского, потомок одной из самых славных дворянских воинских фамилий Отечества, потомственный терский казак... Родословная поэтов второй военной эмиграции не столь впечатляюща: они все-таки дети уже наполовину перемолотого тоталитарным режимом народа, но что их роднит с поэтами «первой волны» (в отличие, скажем, от третьей),— так это цельное ощущение себя русскими по духу. И оно, это ощущение, превыше всех исторических или политических веяний, неизбежно живущих в поэзии каждого из них... Родина для них — превыше политики, идеологии, обиды.

В последние годы я не раз выступал в среде настоящей русской эмиграции первых двух волн — в Америке, в Австралии, в Европе. И не раз ко мне тут же подходил какой-нибудь старик или старушка, от избытка чувств вытирающая слезы на глазах, и дарили стихотворную книжку или рукопись — свою, своего родственника или знакомого, ушедшего из жизни. Не великие то были таланты, но ведь что-то заставляло этих людей писать, мыслить, предаваться «мукам творчества», издавать за свой счет книги в суровом и деловом западном мире, весьма равнодушном к их творчеству. Порой то были книги-реликвии, на которых стояли дарственные надписи, сделанные уже выцветшими от времени чернилами. Их отрывали от сердца, как драгоценности, только ради того, чтобы людям, создавшим эти книги, хоть в таком обличье вернуться на родину, чтобы Россия узнала, как мучились, отчаивались, боролись за место под солнцем в странах рассеяния — в Китае, во Франции, в Америке, в Индонезии, в Аргентине — да во всем мире! — выброшенные в мировое пространство «интернациональной» тоталитарной волей ее отлученные дети, чтобы, поведав нам о своем крестном пути, они в чем-то остерегли, в чем-то поддержали нас в новое смутное время. Изнывая от нужды, от борьбы за существованье, от тяжелой ностальгии, они трогательно и целомудренно продолжали любить свою заблудшую, больную родину, по-христиански прощали ей (но не режиму!) все обиды и верили свято и бескорыстно в ее Возрождение, не надеясь при жизни увидеть его.

Я читал их исповеди, полные горькой любви и веры, и с печалью думал о том, что нашим современным вольным и невольным русофобам не мешало бы поучиться этому святому чувству у двух самых обездоленных поколений русской эмиграции...

Что же давало им силы не только выжить, но и написать о своих судьбах, какая энергия двигала их пером? Несомненно, что, кроме энергии патриотизма, еще и вера в Высшую Волю, в замыслы Провидения, вера в искупление перед ликом Творца грехов человеческих.

И невеликие поэты могут быть пророками. Разве не пророчески сегодня звучат стихи Владимира Петрушевского о неизбежном покаянии России за то, что она позволила шайке профессиональных революционеров организовать зверское убийство царя и его близких. Мне не по душе идея Возмездия, даже и справедливого, если оно становится делом только рук человеческих. Но то, что сегодня многим духовным потомкам идеологов, гонителей и палачей, раздувавших и осуществлявших изгнание из России под страхом гибели (да, именно об этом шла речь, а не о запрещении каких-либо изданий или ограничении приема в вузы) лучших сыновей и дочерей ее; то, что их духовным и семейным потомкам в последнее время становится неуютно жить у нас на родине; то, что они сбиваются в стаю отлета, пополняя волну третьей эмиграции, — в этом можно угадать предначертание Высшей Воли, берущей на себя разрешение узлов, затянутых человеческой историей, казалось бы, намертво. «Мне отмщенье и Аз воздам». Вспоминается также в ответ на ходячее мнение о том, что все преступления революции вершились руками самой русской черни, быдла жестокого и неграмотного, еще одна евангельская истина: «Горе тому, кто соблазнит малых сих». Страшна документальная правда стихов Ивана Савина о братьях, расстрелянных в Крыму вместе с десятками тысяч русских юношей, сдавшихся в плен в ответ на обещание амнистии:

Ты кровь их соберешь по капле, мама,
И, зарыдав у Богоматери в ногах,
Расскажешь, как зияла эта яма,
Сынами вырытая в проклятых песках.

Да, юнкеров расстреливали, кроме профессиональных чекистов, и рядовые неграмотные красноармейцы, бывшие крестьяне. Но приказ им на этот расстрел отдавали «палачи Крыма» Бела Кун и Розалия Самуиловна Землячка, выполняя пожелание Л. Троцкого, который заявил, что ноги его не будет в Крыму, пока там останется хоть один белогвардеец. Были расстреляны из пулеметов и свалены в братские могилы десятки тысяч сдавшихся на милость победителя русских юношей, не желавших покидать Россию. А попробовал бы кто из насильно мобилизованных крестьян не выполнить садистский приказ — он тут же лег бы в эту же страшную яму, тут же встал бы в обреченную шеренгу.

Стихи о трагедии русской молодости, отчаянно боровшейся за Россию против «интернациональных сил», нельзя читать без содрогания даже сегодня, спустя семьдесят лет после кровопролития.

И мы, духовные внуки и уже правнуки этого поколения, обязаны пережить душой их трагедию, чтобы воссоединить рассеченную душу России. Не зря же они писали о своей судьбе не только с отчаянием, но и с надеждой:

Забвенье нам не суждено до смерти,
Мы как письмо в заклеенном конверте,
Которого нельзя не получить...

Нам нет покоя, не для нас забвенье,
И может быть, по Божьему Веленью
Мы снова будем жертвой искупленья —
Спасенья Твоего, Великая Страна...

Это стихи из книги «Неугасимое» Ольги Скопиченко, семнадцатилетней девушкой ушедшей с берегов Волги из родового именья в Добровольческую армию. Я получил эту книгу в Америке, по-моему, от ее родственницы. Помню дрожащие руки старой женщины, умоляющий взгляд, в котором, как мне казалось, я угадал: «Возьмите, прочитайте! Это — ее последняя надежда вернуться в Россию!»

Наш долг — вернуть книги, имена, судьбы на родину. Особенно сейчас, когда опыт страданий и мук, через горнило которых прошли целые поколения, поможет нам не предаться отчаянию, не растерять любви к Родине, несмотря на все ее грехи. Стыдно нам опускать руки, узнав, что они, умирая в чекистских застенках, скитаясь в тропических джунглях, подметая улицы европейских городов, молили Бога о спасении Отчизны, утешались русскими песнями, верили в будущее и писали книги-завещания, не зная, когда они, как невостребованные письма, дойдут до потомков. Верили, что — дойдут. Многое, что сказано в этих книгах, мы обязаны были бы освоить своим сердцем и своим умом, но они помогли нам и сделали за нас эту жертвенную работу, чтобы мы, не теряя времени и сил, пошли дальше к подлинной духовной свободе несчастной земли нашей.

Снова янтарною рожью
Пахарь наполнит гумно.
Снова по-русски, по Божью
Будет нам жить суждено.

(В. Петрушевский).

Публикацией стихотворений И. Савина мы открываем новую рубрику «Неизвестная поэзия русского зарубежья» и надеемся в 1991 году познакомить читателей с творчеством О. Ильиной, В. Петрушевского, О. Скопиченко, В. Янковской, И. Буркина, Б. Филиппова, И. Смолянинова и других поэтов, никогда не печатавшихся у нас. Настала пора распечатать «заклеенный конверт» и прочитать завещание.

Станислав КУНЯЕВ.

ИВАН САВИН
(1899—1927)

Родился в Одессе в семье чиновника, жил в Полтавской губернии.

Вся семья Савина была сметена ураганом революционных событий и гражданской войны. Два старших брата были расстреляны в Крыму. Третий брат Николай, пятнадцатилетний мальчик, был убит в бою, четвертый, Борис,— погиб под Каховкой. Иван Савин попал в плен в Джанкое, когда лежал в тифозном госпитале. Чудом он спасся от расстрела.

В 1922 году его выпустили в Финляндию (по отцу он был финном), где Савин прожил до самой смерти.

В 1926 году в Белграде была издана его первая стихотворная книга «Ладонка», которая потом дважды переиздавалась и которая стала любимой книгой русских изгнанников. Иван Савин писал также замечательную прозу — автобиографическую повесть «Плен», «Правда о 7000 расстрелянных», которые нельзя до сих пор читать без душевного волнения. В короткий срок он стал одним из любимых поэтов Белого воинства. О его творчестве с восхищением отзывались А. Амфитеатров, Ю. Айхенвальд, Ю. Терапиано, Г. Струве, И. Елагин, И. Бунин, который писал: «И вот еще раз вспоминая я его потрясающие слова, и холод жуткого восторга прошел по моей голове и глаза затуманились странными и сладостными слезами: «Всех убиенных помяни, Россия, когда приидеши во царствие Твое». Этот священный, великий, будет, будет и лик Белого воина, будет и Богом и Россией сопричислен к лику Святых, и среди тех образов, из коих этот лик складывается, образ Савина займет одно из самых высоких мест... То, что он оставил после себя, навсегда обеспечило ему незабвенную страницу в русской литературе: во-первых, по причине полной своеобразности его и их пафоса и, во-вторых, по той красоте и силе, которыми звучит их общий тон, некоторые же вещи и строки особенно» «Возрождение», Париж, июль, 1927 год).

Из книги «Ладонка»

* * *

Все это было. Путь один
У черни нынешней и прежней,
Лишь тени наших гильотин
Длинней упали и мятежней.
И бьется в хохоте и мгле
Напрасной правды нашей слово
Об убиенном короле
И мальчиках Вандеи новой.
Всю кровь с парижских площадей,
С камней и рук легенда стерла,
И сын убогий предал ей
Отца раздробленное горло.
Все это будет. В горне лет
И смрад, и блуд, царящий ныне,
Расплавятся в обманный свет.
Петля отца не дрогнет в сыне.
И крови нашей страшный грунт
Засеяв ложью, шут нарядный
Увьет цветами — русский бунт,
Бессмысленный и беспощадный...

1925

* * *

Кто украл мою молодость, даже
Не оставил следа у дверей!
Я рассказывал Богу о краже,
Я рассказывал людям о ней.

Я на паперти бился о камни.
Правды скоро не выскажет Бог.
А людская неправда дала мне
Перекопский полон да острог.

И хожу я по черному свету,
Никогда не бывав молодым,
Небывалую молодость эту
По следам догоняя чужим.

Увели ее ночью из дому
На семнадцатом детском году.
И по-вашему стал, по-седому,
Глупый мальчик метаться в бреду.

Были слухи — в остроге сгорела,
Говорили — пошла по рукам...
Всю грядущую жизнь до предела
За года молодые отдам!

Но безмолвен ваш мир отсиявший.
Кто ответит! В острожном краю
Скачет выжженной сталью укравший
Неизвестную юность мою.

1925

* * *

Законы тьмы неумолимы.
Непреклонен хор судеб.
Все та же гарь, все те же дымы,
Все тот же выплаканный хлеб.

Мне недруг стал единоверцем:
Мы все, кто мог и кто не мог,
Маячим выветренным сердцем
На перекрестках всех дорог.

Рука протянутая молит
О капле солнца. Но сосуд
Небесной милостыни пролит.
Но близок нелукавый суд.

Рука дающего скудеет:
Полмира по миру пошло...
И снова гарь, и вновь тускнеет
Когда-то светлое чело.

Сегодня лед дорожный ломок,
Назавтра злая встанет пыль,
Но так же жгуч ремень котомок
И тяжек нищенский костыль.

А были буйные услады
И гордой молодости лет...
Подайте жизни, Христа ради,
Рыдающему у ворот!

1924

* * *

Брату Борису

Не бойся, милый. Это я.
Я ничего тебе не сделаю.
Я только обовью тебя,
Как саваном, печалью белою.

Я только выну злую сталь
Из ран запекшихся. Не странно ли:
Еще свежа клинка эмаль.
А ведь с тех пор три года канули.

Поет ковыль. Струится тишь.
Какой ты бледный стал и маленький!

Все о семье своей грустишь
И рвешься к ней из вечной
спаленки!

Не надо. В ночь ушла семья.
Ты в дом войдешь,
никем не встреченный.

Не бойся, милый, это я
Целую лоб твой искалеченный.

1923

* * *

Помните! Хаты да пашни.
Луг, да цветы, да река.
В небе, как белые башни,
Долго стоят облака.
Утро. Пушистое сено
Медом полно. У воды
Мельница кашляет пеной,
Пылью жемчужной руды.

Помните! Вынырнул вечер,
Неповторимый такой.
Птиц многошумное вече,
Споря, ушло на покой.

Тени ползут как улитки
В старом саду. В темноте
Липы шуршат. У калитки
Странник поет о Христе.

Помните! Ночью колеса
Ласково как-то бегут.
Месяц прищурился косо
На полувысохший пруд.
Мышь пролетела ночная.
Выплыл из темени мост,
С неба посыпалась стая
Кем-то встревоженных звезд.

1924

У последней черты

И. Бунину

По дюнам бродит день сутулый,
Ныряя в золото песка.
Едва шуршат морские гулы,
Едва звенит Сестра-река.

Граница. И чем ближе к устью,
К береговому янтарю,
Тем с большей нежностью и грустью
России «здравствуй» говорю.

Там, за рекой, все те же дюны,
Такой же бор к волнам сбежал,
Все те же древние Перуны
Выходят, мнится, из-за скал.

Но жизнь иная в травах бьется
И тишина еще слышней,
И на кронштадтский купол льется
Огромный дождь иных лучей.

Черкнув крылом по глади водной,
В Россию чайка уплыла —
И я крещу рукой безродной
Пропавший след ее крыла.

1925

Колыбельная

Брату Николаю

Тихо так. Пустынно. Звездно.
Степь нахмуренная спит
Вся в снегах. В ночи морозной
Где-то филин ворожит.
Над твоей святой могилой
Я один, как страж, стою..
Спи, мой мальчик милый,
Баюшки-баю! ..

Я пришел из дымной дали,
В день твой памятный принес
Крест надгробный, что связали
Мы тебе из крупных слез.

На чужбине распростертый,
Ты под ним — в родном краю...
Спи, мой братик мертвый,
Баюшки-баю...

В час, когда над миром будет
Снова слышен Божий шаг,
Бог про верных не забудет;
Бог придет в ваш синий мрак,
Скажет властно вам: Проснитесь!
Уведет в семью Свою...
Спи ж, мой белый витязь,
Баюшки-баю...

1922

* * *

Братьям моим Михаилу и Павлу

Ты кровь их соберешь по капле, мама,
И, зарыдав у Богоматери в ногах,
Расскажешь, как зияла эта яма,
Сынами вырытая в проклятых песках.

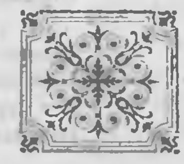
Как пулемет на камне ждал угрюмо,
И тот, в бушлате, звонко крикнул:
«Что, начнем!»
Как голый мальчик, чтоб уже не думать,
Над ямой стал и горло проколол гвоздем.

Как вырвал пьяный конвоир лопату
Из рук сестры в косынке и сказал: «Ложись»,
Как сын твой старший гладил руки брату,
Как стыла под ногами глинистая слизь.

И плыл рассвет ноябрьский над туманом,
И тополь чуть желтел в невидимом луче,
И старый прапорщик, во френче рваном,
С чернильной звездочкой на сломанном плаче,

Вдруг начал петь — и эти бредовые
Мольбы бросал свинцовой брызжущей струе:
Всех убиенных помяни, Россия,
Егда приидеши во царствие Твое...

1925



Депутатская трибуна

БОБРОВ В. Л.,
депутат городского Совета

БЕРЕЖЛИВОСТЬ— ЧЕРТА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

Горбачев да Ельцин, Попов да Собчак, Собчак да Попов, Горбачев да Ельцин...

М. Ульянов
(речь на XXVIII съезде КПСС).

Захар Павлович все ходил и думал, что война — это нарочно властью выдумано: обыкновенный человек так не может. Поспали бы его к германцу, когда ссора только началась, он бы враз с ним уговорился, и вышло бы дешевле войны. «А то умнейших людей послали! Захар Павлович[1] не мог себе представить такого человека, с каким нельзя бы душевно побеседовать. Но там, наверху, — царь и его служащие — едва ли дураки. Значит, война — это несерьезное, нарочное дело. И здесь Захар Павлович становился в тупик: можно ли по душам говорить с тем, кто нарочно убивает людей, или у него прежде надо отнять вредное оружие, богатство и достоинство!»

Борис Николаевич, выступая на XXVI съезде КПСС в очередь за С. Ф. Медуновым, свою речь посвятил благам, «которые реально дает развитой социализм советским людям». «Все это, — утверждал Борис Николаевич, — результат мудрого коллективного разума, титанического труда, несгибаемой воли и непревзойденного организаторского таланта Коммунистической партии, ее боевого штаба — Центрального Комитета и Политбюро во главе с товарищем Леонидом Ильичом Брежневым. (Аплодисменты.) Отчетный доклад Центрального Комитета партии XXVI съезду — важнейший вклад в теорию марксизма-ленинизма. Он дает осмыслить пройденный путь, открывает величественные перспективы».

Далее, отметив особую силу влияния ЦК и лично товарища Леонида Ильича Брежнева на каждого коммуниста («каждый из нас постоянно ощущал»), поддержав «политику твердого отпора агрессивным проискам империализма» (шла афганская война) и ратуя в текущих делах за усиление партийного влияния, еще раз остановившись на «исключительной дальновидности и прозорливости ЦК КПСС», Борис Николаевич закончил следующим образом: «У нас нет иных целей, кроме целей партии», обещав «за это грандиозное и прекрасное будущее бороться со всей революционной страстностью и непоколебимой преданностью делу Коммунистической партии» и сорвав продолжительные аплодисменты.

Речь Б. Н. Ельцина на XXVII съезде: «...атмосфера большевистского духа», «по ленинским конспектам», «партийная совесть», «настоящие партийцы», «твердо и страстно», «во имя правды социализма в мире». А где же... Ах, вот! Критика ЦК: ослабление партийного влияния на развитие литературы и искусства. Нет, не то. Вот: двойная мораль в сегодняшних условиях нетерпимы и недопустимы. Наконец-то! «Двойная мораль» в сегодняшних условиях (!) — нетерпимы и недопустимы». И далее: «Делегаты могут меня спросить: почему же об этом не сказал, выступая на XXVI съезде партии? Ну что ж. Могу ответить, и откровенно ответить: видимо, тогда не хватило смелости и политического опыта (аплодисменты)». Вот это самое. Видимо. И аплодисменты. Хотя есть и неясности. Почему: в современных условиях? Или о смелости. Тоже непонятно. Может быть, смелости собрать волю в кулак и — не сказать: «исключительной дальновидности и прозорливости». Ни в коем случае этого не говорить! Или хотя бы убрать: исключительной. Просто: дальновидности и прозорливости. «Исключительной» — убрать. Или, может быть, «не хватило» смелости сказать о том, как снес ипать-

[1] По-видимому, герой романа А. П. Платонова «Чевенгур» (Прим. ред.).

евский дом в Свердловске — место бессудного расстрела царской семьи. Чтобы никаких следов. По приказу. Как не выполнить! Партийная совесть. Твердо и страстно. Во имя правды социализма в мире.

А насчет политического опыта — зря. Это скромность. Как раз опыта-то хватило.

Эти детали несущественны. Ясно одно: автор этих «речей» не в состоянии исполнить практически никакую должность. Кто бы добровольно стал общаться с таким человеком? Или что—эти речи написаны нарочно и предполагается, что их никто не слушает и не читает? То есть их как бы нет. Так, по-видимому, и обстоит дело.

При социализме у каждого должна быть должность. Тогда, может быть, сторожем? При условии: не давать ружья. Или депутатом. Еще лучше — президентом. Но, конечно, опять же, если это нарочное, несерьезное дело.

Не все со мной согласятся. И это естественно. Например, народные депутаты Собчак А. А. и Попов Г. Х. не согласятся. На днях, выступая по телевидению, они очередной раз призывали друг друга к консолидации: время смутное, противники перестройки наступают, и нам, честным людям [2] (Собчаку и Попову), нужно объединяться.

В 1971 г. молодой ученый Собчак А. А. представил к защите диссертацию на тему «Руководство местных Советов депутатов трудящихся бытовым обслуживанием населения» (по материалам Узбекской ССР). «В основу диссертации положены высказывания по данному вопросу основоположников марксизма-ленинизма, решения съездов и пленумов ЦК КПСС, статьи и речи руководителей КПСС и Советского государства». Прошу внимательно прочесть начало этого предложения еще раз. Невероятно! Как богата окружающая действительность! Как сложно это выдумать и как легко встретить в жизни. Как там у А. Вампилова: «Жизнь всегда умнее всех нас».

В диссертации «дано новое определение понятия бытового обслуживания, предусматривающее как количественное, так и качественное развитие службы быта и содержащее конкретную характеристику функций бытового обслуживания». Далее приводится текст определения, являющийся основным вкладом диссертанта в науку. Это место, единственное в автореферате, выделено жирным шрифтом: «Под бытовым обслуживанием населения понимается комплексная деятельность отрасли народного хозяйства, которая объединяет предприятия и организации, оказывающие на основе индивидуального заказа услуги по ремонту и восстановлению различных изделий и изготовлению новых, а также услуги санитарно-гигиенического характера и по созданию бытовых удобств».

Диссертант не ограничился теоретическими разработками и внес большой практический вклад в проблему. Он выносит на защиту следующую рекомендацию: «Учитывая возрастающие задачи службы быта, следовало бы чаще рассматривать на сессиях местных Советов вопросы выполнения постановлений и решений об улучшении работы предприятий бытового обслуживания населения, включать в повестку дня Советов информацию о ходе выполнения предыдущих решений».

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: «Трудящимся — отличный сервис» (в соавторстве), «Советы депутатов трудящихся», 1967, № 11; «Удобно и выгодно» (там же), 1969, № 6; «Поиск находками красен» (там же), 1968, № 5.

Нет, все-таки это невероятно. По-видимому, это какой-то другой Собчак А. А. Кажется, даже женщина... Хотя вот это: «учитывая» и «следовало бы», с соответствующей интонацией... В общем, трудно сказать.

Пожалуй, только одно можно сказать с определенностью: невозможно переоценить ту помощь, которую диссертант оказал предприятиям бытового обслуживания, Советам и узбекскому народу.

1974 год. «Режим экономии и хозяйственный расчет», издательство «Лесная промышленность», автор Собчак А. А., стр. 25: «Социалистическая система хозяйствования создает необходимые предпосылки для последовательного осуществления режима экономии во всех хозяйственных звеньях и всеми работниками. Смысл понятий «бережливость», «экономное ведение хозяйства» определяется целями, которые при этом преследуются. В условиях капитализма бережливость диктуется эгоистическими интересами собственников, а потому не выходит за рамки отдельных предприятий или иных хозяйственных единиц; она кончается там, где кончаются интересы предпринимателя. Экономное ведение хозяйства в масштабе всего общества при капитализме объективно невозможно, неосуществимо.

Иное дело — социалистическое хозяйство. Его цель как раз и состоит в максимальном удовлетворении народнохозяйственных интересов, интересов и нужд трудящихся. Именно это и позволяет говорить, что «бережливость — черта коммунистическая».

Перечитайте снова. С интонациями, которые хорошо знакомы каждому ленинградцу. Да, это их народный депутат. Делегат XXVIII съезда КПСС от рабочих. Так он представился телезрителям: да, я выдвинут рабочим коллективом и на этом съезде представляю интересы рабочих. В докторской диссертации «Правовые проблемы хозяйственного расчета в промышленности СССР», защищенной в 1973 г., знакомый металлический звук: «Выяснение экономической сущности хозяйственного расчета должно основываться на взглядах В. И. Ленина». Четкость в знании правил игры. Выяснение сущности должно основываться на взглядах В. И. Ленина. Должно. На взглядах В. И. Ленина. Должно. Это уже совсем рядом с: «когда вы говорили неправду, — тогда, когда... или тогда, когда?» Пронизывающий, бессонный взгляд чекиста, допрашивающего врага народа.

Действительно: когда?

«Бережливость — черта коммунистическая».

Где-то это уже было...

Ах, да: «Трудящимся — отличный сервис», «удобно и выгодно», «поиск находками красен».

Будущие народные депутаты пылали горячей любовью к социалистическому соревнованию:

А. А. Собчак: «Особенно важная роль в борьбе за экономное рачительное хозяйствование принадлежит различным формам социалистического соревнования».

Г. Х. Попов: «Соревнование — наиболее активная форма восприятия плановых директив».

Стиль Г. Х. Попова, как мы видим, столь же афористичен. Но он обладает какой-то особой плавностью, округлостью (произносить с доброжелательно-снисходительной улыбкой вождя народов): «Соревнуясь за перевыполнение плана, каждый трудящийся голосует за социализм». Цитата взята из книги, изданной Московским университетом!

Основной заботой Г. Х. Попова всегда была общественная собственность:

«Социализм превратил благодаря общественной собственности всех тружеников в членов единого коллектива».

«Отказываться» от общественной собственности на средства производства, а значит и от централизованного планового ведения общественного хозяйства, — писал профессор Е. Либерман, — было бы бессмысленно, и не только по идеологическим, но и совершенно реальным экономическим соображениям».

«При социализме господствует общественная собственность. Ей внутренне присуща планомерность. Планомерность предполагает познание и использование объективных законов экономики. Планомерность устраняет рыночные механизмы регулирования экономики, анархию и конкуренцию».

«Следует обратить внимание на одно из важных принципиальных различий между хозяйственными механизмами управления при социализме и капитализме. Оно состоит в том, что объективно существующий вне нашего сознания хозяйственный механизм управления социалистической экономикой по своей природе оптимален, рационален во всем — большом и малом, максимально эффективен. В нем нет места для недостатков, диспропорций, расточительного отношения к ресурсам, природе. Это в полном смысле слова — идеальный механизм, что предопределено объективными преимуществами социализма — работой трудящихся на себя и свое общество, планомерность, отсутствие социальных преград техническому прогрессу и др. Таково исходное достоинство хозяйственного механизма управления экономикой социализма, обеспечивающее ему высшую прогрессивность».

«...Объективно существующий вне нашего сознания хозяйственный механизм управления социалистической экономикой», «в нем нет места для недостатков», «это в полном смысле слова — идеальный механизм». Вы сразу угадали рукоделие М. Жванецкого, исполняемое А. Райкиным? И ошиблись.

Это научный труд члена-корреспондента АН СССР Бунича П. Г.

Или вот попробуйте угадать автора следующих строк: «Только на основе централизованного народнохозяйственного планирования, ядром которого является установление оптимальных темпов и пропорций в развитии социалистической экономики, можно обеспечить общественно-целенаправленное развертывание хозяйственной деятельности отдельных производственных ячеек...», «теоретическим фундаментом планирования темпов и пропорций в развитии социалистической экономики является марксистско-ленинская теория».

Это — С. С. Шаталин, докторская диссертация. В диссертации обосновывается подход, «принципиальной основой которого является рассмотрение социалистической экономики как сознательно (планомерно) оптимизируемой». И — чтобы уж не было кривотолков — «она всецело опирается на важнейшие партийные документы».

Всецело. Вот так.

«Экономическая политика КПСС и Советского государства всегда была направлена на решение задач повышения эффективности общественного производства и, как следствие, роста уровня жизни советских людей. В этом наша страна добилась гигантских успехов, имеющих всемирно-историческое значение».

А это уже членкор АН СССР С. С. Шаталин, ныне всем известный академик.

Эта «наука» подготовила прекрасную смену. Взгляните в диссертацию С. Б. Станкевича. «Методологической основой диссертации послужили труды основоположников марксизма-ленинизма, анализ современной эпохи, данный в материалах съездов КПСС, а также документы Коммунистической партии США, труды ее руководителей». В диссертации дан критический разбор моделей, с помощью которых ученые США объясняют политическое поведение законодателей. «Этим схемам противопоставляется марксистское, историко-материалистическое, классовое объяснение политических столкновений в Капитолии».

Когда вы видите, как народный депутат С. Б. Станкевич пробивается к микрофону, чтобы в очередной раз твердо и страстно заявить об общечеловеческих ценностях, не верьте. Это — ряженый. В своей диссертации он защищал классовые ценности и смотрел на окружающую действительность глазами руководителей Коммунистической партии США.

Ученые Московского университета внесли значительный вклад в сельское хозяйство. Откроем работу кандидата экономических наук Емельянова А. М., ныне зав. кафедрой экономики сельского хозяйства МГУ, академика, народного депутата СССР, тоже честнейшего человека (ну, вы его знаете!) «Развитие общественных отношений в деревне».

«В данной брошюре рассматриваются вопросы совершенствования общественных отношений в деревне и перерастания их в коммунистические». «С переходом к ком-

[2] Впервые у А. П. Чехова: «Я женщина честная» (Прим. ред.).

мунизму личное подсобное хозяйство будет постепенно утрачивать свое значение и отомрет окончательно».

А вот «Методическое пособие по курсу «Основы экономики и управления сельскохозяйственным производством» (Изд-во «Экономика», 1974 г.):

«Социализм на деле показывает, как много дает человеку новый общественный строй. Рабочий класс капиталистических стран имеет теперь живой пример, раскрывающий преимущества социализма в улучшении материального и социального положения трудящихся».

Вот так они получали звания и должности.

Воистину «обыкновенный человек так не может».

И попробуйте возразить. На обвинения в адрес народного депутата академика Заславской Т. И. в причастности к разрушению деревень группа академиков, выступив в защиту обвиняемой, высоко отозвалась о ее научных заслугах: та всю жизнь занималась вопросами правильного распределения прибыли в колхозах, за что и удостоена столь высокого звания.

Как-то в беседе с одним ленинградцем, доктором химических наук, сразу после II съезда народных депутатов СССР, я спросил: «Видимо, очень быстро выяснится лживость доклада о тбилисских событиях. Как они (Собчак А. А., Васильев Б. Л. и др.) будут себя чувствовать?» — «А они перестроятся. В конце концов поднимут кампанию: травят честную интеллигенцию». Он говорил о них с симпатией. Я выразил сомнение. Он посмотрел на меня с сочувствием. По-видимому, он был прав. Сценарий очевиден: в очередной раз, по представлении доказательств уголовных преступлений Гдляна и Иванова, те выступят с неожиданным заявлением, что И. К. Полозков — коммунист и, следовательно, брал взятки, доказательства — в сейфе, сейф спрятан, и что их преследуют за то, что они подошли к стенам Кремля; попытки лишить их депутатских полномочий пресечет народный депутат от рабочих А. А. Собчак, заявив, что надо сначала разобраться, не брал ли взяток генеральный прокурор, и только потом решать другие вопросы, и что такой подход находится в соответствии с последними достижениями юриспруденции, а он, ученый, добавит, что все его рабочие-избиратели выходят из КПСС, потому что не хотят состоять в одной партии с взяточником; поэт-пародист А. Иванов (между нами, он не только поэт, но и честнейший человек!) напишет прозу о том, что все Кузьмичи берут взятки, и потребует от редакции за строчку в долларах; член Пен-клуба Татьяна Толстая даст интервью органу «честных» людей — газете «Известия», и заявит с присущей ей наследственной интеллигентностью, что она не уверена в том, что Иван Кузьмич принесет лично ей счастья; народный депутат РСФСР Б. А. Куркова соберет у себя на «Пятом колесе» народных депутатов СССР Ю. Афанасьева и того же А. Собчака, и они скажут, что они честные люди (я должен извиниться перед Бэллой Алексеевной, что не привел цитат из Ю. Афанасьева, но этого просто не выдержит бумага); и только Д. Кугультинов горестно заметит, что невинных людей, томящихся в заключении, никто не защитит.

И тут я подхожу к основной мысли, ради которой, собственно, и написаны эти заметки. Почему так много «честных» людей в наших высших органах власти? Почему Собчаки представляют интересы рабочих, а не они сами?

Печальная история.

Академик Д. С. Лихачев снисходительно поучает О. Сулейменова, как надо понимать патриотизм.

Академик А. Д. Сахаров одобрительно отзывается о выборе претендента на премию имени Сахарова. Он же считает возможными оскорбительные выпады в адрес армии на основании услышанной передачи западного радио [3].

Кинематографист А. Адамович написал массу гневных статей, в которых постоянно жалуется, что лучшие свои годы он был «невыездным». Конечно, это ужасно. Но вы можете себе представить такого рода апелляции к общественности в такой ситуации со стороны А. Чехова или А. Платонова? А. Адамович очень удивится, если узнает, что Л. Толстой считал ненормальным, когда писание повестей и романов становится профессией, и не согласится, конечно, с Л. Толстым. Но знать это нужно: тогда сразу изменится тон статей, — он станет менее базарным.

Неинтеллигентность в среде интеллигенции, кажется, становится нормой.

Я уж не говорю о Ю. Н. Афанасьеве, А. М. Емельянове, Т. И. Заславской, Н. П. Шмелеве, Б. Н. Ельцине, Г. Х. Попове, А. А. Собчаке, причислить которых к интеллигенции можно только нарочно. Сейчас это — профессиональные борцы против партаппарата, выступающие на митингах с грузовиков с целью сокрытия, что именно они в течение всей своей жизни и были плотью и кровью этого аппарата. Их партийные посты, ученые степени и звания — не что иное, как партийные клички, не более. Академик Емельянов А. М.! Академик Заславская Т. И.! Академик — это у них такая партийная кличка. Для конспирации они сейчас скопом выходят из КПСС.

Уникальным в отношении интеллигентности является I съезд народных депутатов РСФСР, почти сплошь состоящий из «умнейших» людей.

---

[3] А. Д. Сахаров утверждал, что в Афганистане функционирует следующая система: советские летчики расстреливают попавших в окружение своих же солдат, чтобы они не могли сдаться в плен.

Образцом для русского интеллигента является отношение к армии, продемонстрированное А. П. Чеховым в «Трех сестрах». И вдруг такое заявление человека, по-видимому, искренне считающего себя русским интеллигентом (на Западе различают понятия: интеллигент и русский интеллигент). В этот момент было тревожно: я опасался, что армия изменилась. Академик А. Д. Сахаров, может быть, этого не сознавал, но его выступление было провокационным: он был запрограммирован на пощечину. Это был акт концентрированного выражения презрения к собственному народу, и «честные» люди стоя приветствовали академика Сахарова. Но офицеры были на высоте. А. П. Чехов, видимо, навсегда прав.

«Если в меня как члена высшего органа власти России сделан плевок, то я не намерен утираться». Сказано с достоинством.

«Если мы в очередной раз вытремся, то грош нам цена». Это московский интеллектуал на общественных началах Миронов В. П.

«Мы не вытерли плевка», — отвечает ему редактор независимой демократической газеты Линькова В. В.

Так и ходят, не вытерши...

Спектаклем умело дирижирует, конечно же, Борис Николаевич. Депутаты явно хотят ему понравиться.

«Мы промолчали, когда у москвичей оттяпали Садовое кольцо... Не исключено, что может быть принято постановление весь Петербург считать собственностью КПСС. Или пока мы здесь мучаемся, как перевести слово «импичмент», могут Симбирск объявить собственностью КПСС. Или хуже того: Лондон или Женеву. Тогда неизбежны международные конфликты. Поэтому я считаю, что все эти акты являются ущемлением суверенитета России».

Сказано неплохо, довольно литературно, с нужной долей истерии, но, судя по лицу председательствующего, можно бы и получше.

Телевизионный комментатор из Мурманска Гуревич Л. В. [4] пошел на рекорд: «...когда я шел на съезд, то подумал о том, что, может статься, в понедельник нас просто не пустят в Кремль». Прекрасно!

Качество исполнения существенно (важно не только «что», но и «как»): в Комитет по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству записалось 10 человек, в Комитет по международным делам — 180, вакансий же около 30 (шесть человек на место). Борис Николаевич может походатайствовать.

Выбрали комиссию по этике: 9 человек, все из «Демократической России» (в этой фракции зарегистрировано около 5 процентов депутатов). На протесты Борис Николаевич отечески увещевает: «какая тут необходимость, чтобы в такой комиссии были представлены все фракции, все течения, все наши 30 депутатских групп? Это совесть наша, а не политические убеждения, и этика отношений». Демократы, учитесь!

«Совесть наша»!

«Политические убеждения»?

«Этика отношений»...

Конец съезда по ТВ не так интересен: ловко скомпонованные трансляции.

Напоминает монтаж пребывания Б. Н. Ельцина в США: самые интересные места (публика в зале, визжащая от восторга) показаны скупо. Руководитель штаба избирательной кампании Б. Н. Ельцина суммирует впечатления избирателей: «Подумаешь, ну и что тут такого, на свои же деньги выпил. Зато американцев очаровал». Да, индустрия развлечений в США поставлена хорошо: американцы умеют развлекаться.

От этого парламента России можно ожидать только очевидного: принятия решений, которых нельзя не принять, непринятия решений, которых нужно принять, и, под флагом консолидации, объявления войны всех против всех.

Для того чтобы разрядить душную атмосферу, которая возникает всегда в обществе умнейших и честнейших людей, приведу слова Л. Толстого, которые имеют непосредственное отношение к поставленному вопросу: «Жизнь трудового человека с его бесконечно разнообразными формами труда и связанными с ними опасностями на море и под землею, с его путешествиями, общением с хозяевами, начальниками, товарищами, с людьми других исповеданий и народностей, с его борьбою с природой, дикими животными, с его отношениями к домашним животным, с его трудами в лесу, в поле, в саду, в огороде, с его отношением к жене, детям не только как к близким, любимым людям, но как к сотрудникам, помощникам, заменителям в труде, с его отношениями ко всем экономическим вопросам, не как к предметам умствования или тщеславия, а как к вопросам жизни для себя и семьи, с его гордостью самодовления и служения людям, с его наслаждениями отдыха... нам эта жизнь кажется однообразной в сравнении с теми маленькими наслаждениями, ничтожными заботами нашей жизни не труда и не творчества, но пользования и разрушения того, что сделали для нас другие».

Представим себе, что нашей страной управляет Президентский совет из 6 (обыкновенных, как сказал бы Захар Павлович) человек: народные депутаты СССР Т. Г. Авалиани, А. П. Айдак, Л. И. Сухов, В. А. Ярин, от ученых — например, Ким Е. У. из Омска и кто-нибудь из писателей, скажем, В. И. Белов, Д. Н. Кугультинов, Б. И. Олейник или В. Г. Распутин. Предположим, что и высшие органы власти Союза и республик также состоят из обыкновенных людей: на три четверти — представители рабочих и крестьян, остальные — представители интеллигенции [5]. Так же как и Захар Павлович точно знал, что он враз с германцем уговорится, так и я не могу себе представить, чтобы такой Президентский совет «враз не уговорился» бы по любому принципиальному вопросу.

Как бы проходил, скажем, съезд народных депутатов РСФСР? Он, конечно, не принимал бы никаких деклараций, не менял конституции, не делал никаких выпадов или даже боксерских стоек против кого бы то ни было.

А что бы он делал?

Во-первых, и это главное, обменялся бы соображениями по выбору приоритетов. По-видимому, остановился бы на сельском хозяйстве, экологии, культуре, образовании и медицине.

---

[4] Ох, уж эти телевизионные комментаторы! Какие заискивающие реверансы приходится исполнять нынче И. Фесуненко и его коллегам, еще недавно приветствовавшим ввод ограниченного контингента войск в Афганистан.

[5] На возможные провокации, истерики типа «бьют интеллигенцию» не обращать внимания: кто бы стал неуважительно относиться к интеллигенции, увидев хотя бы раз такие устройства, как самолет или телевизор, или прочитав хотя бы несколько строк А. Платонова или М. Цветаевой.

Изменил бы структуру Совета Министров таким образом, чтобы он мог обеспечить реализацию приоритетов.

И все. Вообще средства употреблял бы самые простые. Например, не стал бы мгновенно глобально пересматривать школьную программу, а ввел бы в курс литературы рассказы А. Платонова «Июльская гроза», «Корова», «Одухотворенные люди» и Ф. Абрамова «Пролетали лебеди», «Материнское сердце», «Старухи». И уже ни у кого больше не будет недоуменных вопросов, как же нам относиться к своему прошлому, и катастрофически пойдет на убыль количество «честных» людей.

Каких-либо конфликтов между республиками или между различными народами трудно ожидать, потому что везде бы была власть обыкновенных людей, примерно те же приоритеты, и для их реализации нужна доброжелательность. При возникновении ссоры президентские советы враз бы уговорились, «и вышло бы дешевле войны». Это и естественно, потому что члены советов, состоящих из обыкновенных людей, относились бы ко всем вопросам, в том числе и экономическим, «не как к предметам умствования и тщеславия, а как к вопросам жизни».

КПСС понимала необходимость рабочих и крестьян в органах власти. Однако дозировала этот процесс таким образом, чтобы держать в руках контрольный пакет акций. Высокий процент «обыкновенных» людей в высших органах власти необходим для того, чтобы, во-первых, не повторять прошлого и, во-вторых, пресечь необоснованные или навязываемые экономические эксперименты.

Процесс формирования таких органов власти также не является сложной проблемой, особенно если учесть то соображение, что выбирать нужно не из тех, кто рвется защищать интересы трудящихся, а из тех, которые всегда известны и которых удастся уговорить, убедить (как, скажем, Авалиани, Распутина, Сухова). Я полагаю, что любой Президентский совет типа указанного выше без труда предложил бы процедуру выборов, которая бы впоследствии уточнялась. Она бы исключала как старый, назначенческий вариант, так и «демократический», который приводит к власти многочисленных собчаков либо просто шизофренических личностей, и скорее всего была бы не универсальной, а совершенно разной в разных регионах и у разных народов.

Конечно, в парламентах Севера и Запада (в терминологии Запад — Восток, Север — Юг) преимущественно юристы. И понятно почему. Население США составляет около 5 процентов от населения мира, они используют 40 процентов всех природных ресурсов и выбрасывают 70 процентов всех отходов, отравляющих окружающую среду. И это только одни США.

Такой степени эксплуатации история человечества еще не знала. Юристы должны обосновать законность этой эксплуатации, помочь держать мир в этом состоянии, обеспечить диктуемый экономический порядок, такую систему цен, при которой любая страна Севера и Запада пользовалась бы этими завоеваниями.

И это никакой не рынок, а обыкновенный разбой: нужные цены на основные виды сырья устанавливаются под неослабным контролем номерного флота; в отсутствие такого контроля (или в обществе с другой системой ценностей) они были бы в несколько раз выше. Допускаются небольшие отклонения от установленных таким образом цен, носящие рыночный характер, и поэтому вся система отношений считается рыночной, хотя по существу она не является таковой. Другими словами, имеет место аналогия с римским правом, основная суть которого сводилась к тому, что оно не распространялось на рабов. С тех пор, когда килограмм золота менялся на бутылку спирта, изменения произошли косметические: разработана ослепительная американская улыбка.

Кажется, об этом сейчас позволяет себе говорить только Ф. Кастро, за что и вызывает такой гнев Ч. Айтматова. Хотя еще совсем недавно профессора Е. Либерман и Г. Попов всем бы разъяснили, что помощь Кубе совершенно необходима «не только по идеологическим, но и совершенно реальным экономическим соображениям»: исчезни Куба с политической карты, и цены, скажем, на нефть сразу чудесным и непонятным образом упадут.

Когда У. Фолкнера спрашивали, как там насчет равноправия, он отвечал, что американцы нормально относятся к неграм, но так как раально равноправие приведет к тому, что каждый белый потеряет по десять центов за каждую штуку товара, то на это никто не согласится.

Недаром США так не любят Кастро. Что касается Ч. Айтматова, то он, видимо, перестроился и теперь исповедует десятицентовую религию.

Представляется, что указанный Президентский совет не ставил бы своей целью догнать Америку, избежал бы войны в Афганистане, не допустил бы «перестройки».

Первая цель недостижима хотя бы потому, что если все страны будут потреблять на человека столько энергии, сколько потребляет США, то через несколько лет на Земле не осталось бы источников энергии, нефти, угля, газа. В России никогда не будут жить так, как в Америке. Однако несомненна обязанность обеспечения для сограждан достойной жизни. Жизнь американца не может быть названа таковой: США по отношению к остальному миру выполняют ту же роль, что и КПСС в худшие свои годы по отношению к своему народу.

Что касается афганской войны, то она является, по-видимому, следствием того невероятного напряженного состояния, в котором Север и Запад держат весь мир, и особенно СССР, чтобы обеспечить бесперебойный поток ресурсов и источников энергии для своих нужд.

Отечественная война.
Хиросима и Нагасвки.
Вьетнамская война.

Умело поддерживаемые США очаги напряженности во всем мире (это называется, кажется, рычагами стабилизации рынка).

Я что-то не помню, чтобы кто-либо из «честных» людей требовал международного суда, аналогичного нюрнбергскому, над авторами Хиросимы и Нагасаки. Кажется, они просто стали еще больше уважать США. Все это стояло перед глазами людей, принимающих решение о вводе войск.

Одним из инициаторов ввода войск в Афганистан был А. А. Громыко. Несомненно, это хорошо известно М. С. Горбачеву, он в Секретариате ЦК с 1978 г. и в Политбюро с 1979 г. В 1985 г., начиная «перестройку», Горбачев рекомендует Громыко на пост главы государства. Я не знаю, есть ли доля вины Горбачева в афганской войне. Более того, не исключено, что самый строгий суд установил бы, что нет вины и Громыко. Однако я уверен, что Президентский совет, как сейчас принято говорить, национального доверия сумел бы избежать войны в Афганистане. Не исключено, что в затягивании войны определенную роль сыграла деятельность академика Сахарова. Направленность этой деятельности, нацеленность ее на интересы США лишний раз убеждали руководство страны в правильности принятых решений.

Современная очередная вариация судьбы Павлика Морозова.

Термин «перестройка» выработан умнейшими людьми потому, что он ничего не означает. Он удобен, так как в нем нет никакого содержания. Он дает прекрасную возможность каждому трактовать его по-своему и произвольно менять трактовку. Некоторые считают, что перестройка — это когда Президент СССР работает по совместительству советником Президента США по странам Восточной Европы. Другие, патриотически настроенные граждане, считают, наоборот, что это когда Президент США работает по совместительству советником Горбачева по гласности и экономическим вопросам.

Трудно сказать.

Может быть, так. А может быть, совсем иначе.

Может быть, это просто затянувшаяся смена поколений в КПСС.

Или это как-то связано с инопланетянами.

Трудно сказать.

Передача власти Советам, «советизация» — это понятно. А «перестройка» включает советизацию или нет?

Неизвестно. Иногда на словах — да. На деле же, по-видимому, нет. На деле скорее — «приватизация». Но кому же не ясно, что после приватизации уже не будет никакой советизации. Судорожное принятие массы законов с целью коренным образом изменить экономические отношения, успеть сделать это до того, как вновь избранные Советы встанут на ноги и разберутся, что к чему, — так в общих чертах выглядит стратегия перестройки.

Это хорошо понятно тем немногочисленным депутатам в Верховном Совете СССР, которые представляют «обыкновенных» людей. Вокруг них — особая атмосфера. Пренебрежительное, иногда — презрительное отношение к рабочим депутатам, активно стимулируемое газетой «Известия», стало обыденным в Верховном Совете. На ясный и простой вопрос депутата Л. И. Сухова «демократ», член Политбюро, ныне член Президентского совета А. Н. Яковлев ответил, что он не понимает вопроса.

И, поразительное дело, никто из руководства Коммунистической партии, Политбюро, не может произнести слово «коммунизм». По-видимому, слово иностранное — трудное для произношения. Поэтому, если говорят, то: «...ческая перспектива». А раз не произносят, то и забыли, что оно означает. Тогда встает депутат Сухов и напоминает. Тут же вскакивает один из собчаков и — твердо и страстно: опять этот Сухов предлагает все разделить поровну! Все знают, что это ложь, что ничего подобного он не предлагает, и — молчат.

Однако уже само присутствие таких депутатов до сих пор спасало страну от многого, в частности от «шоковой терапии». «Честные» люди их побаиваются, они чувствуют, что это какой-то новый «социалистический» или, как там его, «советский» человек, и что это реальность.

Воронежский писатель А. Платонов и его герои, которых он так любил, слесарь харьковского тракторного завода Ивач Павлович Смирнов или вот эти странные депутаты Авалиани, Айдак, Ким, Кугультинов, Олейник. И другие. И несть им числа.

Реальность.

Понятно, что Горбачев выбрал правильную стратегию: опору на поддержку руководителей ведущих стран Запада. В любом другом случае у него не было бы шансов сколько-нибудь длительное время продержаться в высших эшелонах власти. Это, по-видимому, и есть суть перестройки.

Но, кажется, это несерьезное дело слишком дорого обходится стране.

Однако любой Президентский совет национального доверия не поддержит душной волны антикоммунизма, поднятой «честными» людьми. Как сказал один известный антикоммунист: «Хуже коммунизма может быть только антикоммунизм».

г. Дзержинский Московской области.

ЛЕВ ГУМИЛЕВ:

«МЕНЯ НАЗЫВАЮТ ЕВРАЗИЙЦЕМ...»

Предваряя новую историческую рубрику «Летопись России: история в лицах» (ее открывает в № 3 статья Вадима Кожинова), мы предлагаем вашему вниманию беседу журналиста Андрея ПИСАРЕВА с наиболее ярким, интересным историком нашего времени Львом ГУМИЛЕВЫМ, идеи которого во многом неожиданны, а зачастую расходятся с общепринятым представлением о русской и мировой истории.

А. П.: Лев Николаевич, давайте начнем с «истоков». Сегодня Вы представляете единственную серьезную историческую школу в России. Последней такой школой было евразийство — мощное направление исторической мысли первой половины нашего века, представленное такими именами, как Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Г. В. Вернадский, отчасти Л. П. Карсавин и Г. П. Федотов. Насколько евразийцев можно считать предшественниками теории этногенеза Л. Н. Гумилева?

Л. Г.: Вообще меня называют евразийцем — и я не отказываюсь. Вы правы: это была мощная историческая школа. Я внимательно изучал труды этих людей. И не только изучал. Скажем, когда я был в Прага, я встречался и беседовал с Савицким, переписывался с Г. Вернадским. С основными историко-методологическими выводами евразийцев я согласен. Но главного в теории этногенеза — понятия пассионарности — они не знали. Понимаете, им очень не хватало естествознания. Георгию Владимировичу Вернадскому как историку очень не хватало усвоения идей своего отца, Владимира Ивановича.

Когда мы говорим «история» — мы просто обязаны отметить или упомянуть, какая это история, история чего? Существует простое перечисление событий — это хроника; есть история экономическая, описывающая производство материальных благ; есть история юридическая, достаточно развитая в России в XIX веке, изучающая эволюцию общественно-политических институтов; есть история культуры, военного дела и так далее. Я занимаюсь этнической историей, которая является функцией природного процесса — этногенеза и изучает естественно сложившиеся несоциальные коллективы людей — различные народы, этносы. В чем принципиальное отличие этнической истории от исторических наук, изучающих социальные структуры? Этническая история от всех прочих отличается прежде всего дискретностью, прерывистостью. Происходит это потому. что сам процесс этногенеза (как, впрочем, и всякий другой природный процесс) конечен и связан с определенной формой энергии, открытой нашим великим соотечественником В. И. Вернадским,— энергией живого вещества биосферы. Эффект избытка этой энергии у человека ваш покорный слуга назвал пассионарностью. Любой этнос возникает в результате определенного взрыва пассионарности, затем, постепенно теряя ее, переходит в инерционный период, инерция кончается, и этнос распадается на свои составные части.

А. П.: Лев Николаевич, расскажите о приложении теории этногенеза к русской истории.

Л. Г.: Даже в общих чертах это достаточно долгий разговор. Начать, видимо, нужно с того, что история Древней Руси

и России — результат двух разных взрывов пассионарности, двух разных пассионарных толчков. Взрыв пассионарности, который вызвал к жизни Древнюю Русь, произошел в I веке нашей эры от Южной Швеции (движение готов) к устью Вислы и к Карпатам, где жили тогда предки славян; затем он прошел через территорию современной Румынии — Дакии: даки были сожжены этой пассионарностью, потому что бросились воевать с могучей Римской империей, в результате этой войны они, по существу, были все истреблены. Далее этот взрыв прошел через Малую Азию и Палестину, где возникло православное церковное христианство, позднее оформившееся в Византийскую империю. Далее этот же толчок прослеживается в Абиссинии (Аксум). Все это случилось, повторяю, в I веке. А ведь именно к этому времени (I—II вв.), как доказал еще мой покойный учитель, профессор Артамонов, появились первые археологические памятники, которые можно отнести непосредственно к славянам. Вот этот-то славянский (а вернее, славяно-готский) этногенез и породил позднее древнюю Киевскую Русь. И вот здесь я должен еще раз обратиться к этнологии.

Этнос — долгоидущий процесс, определяемый тремя параметрами: пространственным (географическим ландшафтом), временным (изменение пассионарности от рождения до распада через определенную последовательность фаз) и контактным (взаимодействие с другими этническими системами, которое вызывает смащение, нарушение прямого процесса).

Продолжительность этногенетического процесса, асли считать с инкубационным периодом жизни этноса в начале и с инерционным в конце,— около полутора тысяч лет. Так же случилось и со славянами. В середине своего развития, в так называемой фазе надлома, они раскололись на отдельные племена и народы, хотя и продолжали ощущать свое единство, по-прежнему пользовались общепринятым языком. Но и языки, и культуры постепенно, но неуклонно расходились: чехи и поляки оказались католиками, сербы и болгары стали православными, но противниками Византии; языческие полабские славяне были покорены немцами, хотя до восемнадцатого века на берегах Эльбы говорили на славянских языках.

Часть древних славян двинулась на Восток, дошла до рубежа Днепра и до озера Ильмень. Эта часть и была этнической основой древнерусского периода славян. Естественно, при своем расселении славяне, встречаясь с соседними народами, брачились с ними, включая их в свою этническую систему. Так, если по правому берегу Днепра жили славянские племена славян и древлян, то на левом берегу жили, к востоку от Чернигова, сабиры — северяне, которые сменили свой древний язык (неизвестно какой) на славянский и вошли в состав Киевской Руси. К XIV—XV векам славянского единства уже не существовало, но память о нем сохранилась. В XV веке чешские гуситы пытались вернуться к православию, поведанному у них еще святым Мефодием. Но так как Византия была слаба, а России как целого государства не существовало, это им не удалось — они остались в рамках западноевропейских суперэтносов и очень сильно пострадали от этого. Если во времена Яна Гуса чехов в Богемии было три миллиона, то после битвы на Белой горе в 1618 году их осталось всего 800 тысяч. Причиной такой страшной убыли генофонда была победоносная война 1419—1458 гг. В победоносных войнах люди так же гибнут, как при поражениях.

Понимаете, сама проблема разрыва этнической традиции, проблема этнических упадков потому и сложна, что нынешнее истолкование истории идет на уровне начала XIX века. В то время во всех науках господствовал прямолинейный механистический эволюционизм, ныне отброшенный даже в зоологии и замененный мутогенезом. Поскольку с таких позиций необъяснимы летальные исходы огромных цивилизаций, то виноватыми в гибели, например, Римской империи, считали то варваров, то христиан, то рабов и рабовладельцев, но никак не самих римлян. А ведь причина гибели Римской империи и ее культуры гнездилась именно в них, хотя считать их виноватыми тоже неправильно: ведь нельзя жа обвинять старика в том, что он не занимается боксом или альпинизмом, ссылаясь на больное сердце.

Римляне к IV веку разучились воевать и даже защищаться. Достаточно вспомнить, что после разорения Рима вандалами в 455 году римляне обсуждали не как восстановить город, а как устроить цирковое представление: на большее они уже не были способны. А вождю герулов — Одоакру они подчинились в 476 году без сопротивления.

Римский пример не единственный способ гибели «цивилизации». Византия погибла мужественно и трагично. Следовательно, гибель можно выбирать, хотя сам выбор всегда бывает подсказан ходом событий далекого прошлого. Все системы, возникшие при пассионарном толчке, распадаются, но каждая по-своему...

А. П.: Таким образом, в соответствии с Вашей теорией, Древняя Русь закончила свое существование примерно в XIV—XV вв. Законный вопрос: откуда же взялась Россия — та Россия, в которой мы с Вами живем?

Л. Г.: Новая русская этническая целостность — результат толчка XIII века, который прошел несколько восточнее предыдущего толчка I века. Он прослеживается от Финляндии через Белоруссию (между Вильно и Москвой), через Малую Азию, которая тогда уже была в руках турок (толчок породил там могучую Османскую империю) и до Абиссинии, которая снова восстановилась из обломков предыдущей Аксумской эпохи. Точнее определить дату толчка и его географию мы не можем, но мы можем назвать первых пассионариев, которые создали две великие державы — Литву и Россию: Александра Невского в России и князя Миндовга в Литве. Вся история Литвы начала XIV века,

то есть до Гедимина,— период небольших смут, непорядков, распрей, все более кровопролитных и жестоких,— начало пассионарного подъема. Силы вновь возникших и обновленных этносов уходили на междоусобные войны. В этом отношении судьбы Великого княжества Литовского и Великого княжества Владимирского были различны. Дело в том, что в XIII веке из Монголии пришли войска Батыя.

А. П.: Здесь, в оценке и интерпретации этого события, Вы, наверное, согласитесь,— основной пункт Ваших расхождений с большинством историков: как западнического, либерального, так и патриотического (например, А. Кузьминым или В. Чивилихиным) направлений.

Л. Г.: Соглашусь, но здесь есть известная разница. Что касается «западников», то мне не хочется спорить с невежественными интеллигентами, не выучившими ни истории, ни географии. В науке считается правильным только эмпирическое обобщение, то есть непротиворечивая версия, опирающаяся на все известные факты. Повторю лишь факты, которые я приводил неоднократно.

В XIII веке всех монголов было около 700 тысяч человек: воинов же 130 тысяч. Воевали они на трех фронтах: в Китае, где было около 60 млн. населения в империи Цзинь и 30 млн. в империи Южная Сун; в Иране с его 20-миллионным населением и в Восточной Европе с населением в 8 миллионов, из которых хорошо обученное войско составляло более 110 тысяч человек. А кроме этого — камские булгары, мордва и половцы. Понятно, что перебросить на Запад в 1236—1237 гг. монголы могли лишь очень небольшое количество войск. Замечательный эрудит, знаменитый археолог, профессор Николай Веселовский определяет их как 30 тысяч человек, и, по-видимому, столько их и было. Естественно, с такими силами Батый завоевать Россию, в которой было 110 тысяч вооруженных воинов, не мог. Его поход в 1237—1240 годах—не более чем просто большой набег, причем целью этого набега было не завоевание России, а война с половцами, с которыми у монголов уже была кровная месть, степная вендетта. Так как половцы крепко удерживали линию между Доном и Волгой, то монголы применили известный тактический прием далекого обхода — и совершили кавалерийский рейд через Рязанское, Владимирское княжества, затем взяли Козельск, страшно истребив его население, затем перешли к Киеву, который, собственно, и защищать-то никто не стал: князь бежал, а воевода не смог собрать войско, потому что после троекратного разгрома соседними русскими княжествами Киев превратили в руины. Затем монголы ушли на Запад.

Возникает вопрос: чем была вызвана такая жестокая расправа с Козельском, который монголы прозвали «злым городом». В названии — разгадка. Монголы «злыми» называли города, в которых убивали их парламентеров. Убийство парламентера, с точки зрения монголов, было тягчайшим преступлением. При Калке были убиты монгольские послы, и в числе их убийц был Мстислав, князь Черниговский. Конечно, можно возразить, что горожане не виновны в преступлениях князя, но у монголов было чрезвычайно развито понятие коллективной ответственности: если жители данного города признают своего князя, они делят его судьбу.

Аналогичный случай имел место в 1945 году. Когда наши войска окружили Будапешт, всем было ясно — город не устоит. Чтобы избежать разрушения города и напрасного кровопролития, была предложена капитуляция. Три советских парламентера договорились об условиях капитуляции с венгерским командованием. Но на их обратном пути немецкий патруль дал автоматную очередь по машине. Шофер успел дать газ, машину внесло в наше расположение, и наши солдаты и офицеры нашли в ней трех умирающих товарищей. После этого удержать войска от приступа было невозможно. Я в это время был под Берлином, но если бы я был под Будапештом, то, смею Вас уверить, что и меня бы не удержали, ибо я вполне разделяю мнение, которое монголы пытались насадить во всем мире: личность посла неприкосновенна. Но если в связи с западнической концепцией «ига» у меня вопросов не возникает, то признание этой концепции историками национального направления поистине странно. Даже непонятно, как историки смеют утверждать, что их трактовка в этом случае патриотична? Значит, отряд кочевников без баз, без пополнений, с постоянной нехваткой стрел, которые надобно расходовать, побил и покорил наших предков?! Да ведь если маленький Козельск так долго сопротивлялся, то очевидно, что силы нападающих были невелики. Это были далеко не триста тысяч, как предполагали либеральные историки прошлого века. А ведь именно у них позаимствовал эту цифру Чивилихин. Реальная величина, как мы уже говорили, на порядок меньше. Никак не пойму, почему люди патриотично настроенные так обожают миф об «иге», выдуманный, как показал В. Каргалов, в XVI веке немцами и французами, чтобы перетянуть на свою сторону белорусов и украинцев.

Ведь и говорить о завоевании России монголами нелепо, потому что монголы в 1249 году ушли из России, и вопрос о взаимоотношениях между Великим монгольским Улусом и Великим княжеством Владимирским ставился уже позже и решен был уже в княжение Александра Невского, когда он, договорившись сначала с Батыем, потом подружившись с его сыном Сартаком, а затем и со следующим ханом, убийцей Батыя и Сартака — мусульманином Берке, добился выгодного союза с Золотой Ордой, которая располагалась в низовьях Волги. Вокруг Сарая, который лежал между Волгоградом и Астраханью, около села Селитряного, расстилались широкие и, в общем, ненаселенные степи, так что никакого давления политического или военного Орда на Владимирское княжество оказывать не могла. И не оказывала. Более того. В это время в самом монгольском Улусе вспыхнула гражданская война. Батый удержался только потому, что Александр Невский дал ему свои дополнительные войска, состоящие из русских и аланов, что и помогло Батыю выиграть распрю с великим ханом Гуюком, умершим во время похода. Сил у Батыя после ссоры с родственниками, по авторитетным источникам, было всего 12 тысяч человек монгольских воинов, разделенных между тремя большими ордами, которыми руководили братья Батыя. Четырех тысяч монголов для того, чтобы контролировать такую огромную территорию, было, естественно, мало. Вести войну с такими силами совершенно невозможно. Поэтому ордынские ханы — Батый, Берке, Менгу-Тимур прежде всего искали надежных союзников. Но союзники были нужны и России, потому что в это время (1245 г.) на Лионском соборе папа Иннокентий IV объявил крестовый поход против схизматиков — греков и русских. Во время столкновений русских с немецкими крестоносцами в Прибалтике немцы, захватив город, обращали местное население — латышей и эстонцев — в крепостных рабов, а русских, включая грудных детей, поголовно вешали. Против русских немцы вели истребительную войну. Александр Невский остановил наступление шведов в 1240 году, через два года он выиграл сражение на Чудском озере, и это отсрочило неизбежный конец. Александру нужны были союзники для того, чтобы противостоять крестовым походам, последствия которых были хорошо известны на примере разгрома Византии, похода в Палестину, Антиохию, всех тех зверств, которые крестоносцы учиняли на захваченных в своей первой колониальной войне территориях. И он сумел заключить союз с Золотой Ордой. Польза от этого была колоссальная. Небольшая Прибалтика служила удобным плацдармом для всего западноевропейского рыцарства — в Прибалтику вливались вооруженные отряды из Франции, из Лотарингии, из Германии, скандинавских стран — орден, таким образом, мог создать любое войско для того, чтобы добиться победы над схизматиками. В 1269 году после битвы под Раковором (1268 г.), которую новгородцы выиграли, разбив немецкий отряд, немцы подготовились к решающему удару и сконцентрировали значительные силы для удара по Новгороду. И тогда в Новгород явились боевые порядки татарских всадников, и, цитирую, «немцы, замиришася по всей воле новгородской, зело бо бояхуся и имени татарского». Псков и Новгород были спасены. И действительно, военная техника у татар была гораздо выше европейской. Правда, у них не было тяжелых лат, но халаты в несколько слоев войлока защищали от стрел лучше железа. Кроме того, дальность полета стрелы у английских лучников, лучших в Европе, была 450 метров, а у монголов до 700 метров, ибо они имели сложный лук, клееный, с роговой основой. Кроме того, у монгольских лучников с детства специально тренировали определенные группы мышц. В общем, Владимирское княжество устояло несомненно только благодаря тому союзу, который Александр Невский заключил с золотоордынскими ханами.

Трудно ему было. Большинство современников, как это часто бывает, его не понимали. Умер он не от яда — это вымысел. Он умер в один год со своим союзником Миндовгом, который собирался сбросить немцев в Балтийское море. Миндовг умер, по-видимому, от руки убийцы или от яда убийцы в Литве, а Александр, как известно, умер в Городце, куда немецкие агенты проникнуть не могли, а татарам он был дорог как союзник и друг.

Возникает интересный вопрос: почему православная церковь объявила Александра Невского святым? Выиграть две битвы — довольно простое дело, многие князья выигрывали сражения. Александр Невский не был очень добрым человеком — он крепко расправлялся со своими противниками, — так что и это не повод для того, чтобы сделать его святым и почитать до сих пор — именно сейчас отслужили панихиду по Александру Невскому в память Невской битвы. Очевидно, главным послужил имеющий колоссальное значение правильный политический выбор, сделанный Александром. В его лице русские поняли: надо искать не врагов, которых всегда достаточно, а друзей.

В конце XIII века Золотая Орда на нижней Волге пережила очень много тяжелых потрясений: восстал темник Ногай; была длительная гражданская война, и в это время Смоленск, к которому монголы и близко не подходили, в 1274 году прислал послов с просьбой принять под свою руку город. Выражение «под свою руку» не должно обманывать читателя — так в те времена назывался оборонительно-наступательный союз. Дипломатический этикет XIII века предполагал, что просящий уже тем самым признает приоритет того, у кого он просит.

Но в начале XIV века случилось потрясение, стоившее Орде существования: царевич Узбек принял ислам, отравил своего предшественника хана Тохту и объявил ислам государственной религией Орды. Все подданные улуса Джучи — то есть Золотой Орды на Волге, Синей орды в Тюмени, Белой орды на Иртыше должны были принять ислам. Но подданные запротестовали, заявив: «Зачем нам вера арабов, когда у нас есть своя вера — яса нашего великого Чингисхана?». Вскипела гражданская война, в которой довольно многочисленное население Поволжья, уже обращенное в ислам, поддержало Узбека. Но по отношению к русским таких притязаний не было. Русских никто не собирался обращать в ислам. Это также показывает, что здесь мы имеем этнический симбиоз и союз двух крупных держав, нуждающихся друг в друге, а не покорение Руси Золотой Ордой. К этому времени в России князья — наследники уже разложившейся и уже загнивающей Древней Руси были постепенно оттеснены от власти митрополитами. Митрополит Петр, который в 1300 году с Волыни был приглашен в Россию править в стольном городе Владимире, был очень мягкий,

добрый и образованный человек. Этим он, естественно, вызвал неудовольствие среди своих подчиненных, которые по старому русскому обычаю начали писать на него доносы великому князю Михаилу Ярославовичу Тверскому. Тот созвал специальный Собор для того, чтобы на нем выяснить, действительно ли берет взятки митрополит Петр. И произошло нечто необычное. Вообще полагается, что на Соборе право голоса имеют только духовные лица. А на этом Соборе собралась паства. Это, кстати, чисто монгольский обычай — в Орде все верующие обладали равными в этом смысле правами. И паства сказала: «Да мы нашего владыку знаем. Никаких взяток он не берет. И вообще он очень скромно живет. Куда же он девает деньги?» А митрополит Петр действительно жил очень скромно, единственное у него было, говоря современным языком, хобби — он очень любил рисовать иконы, чем и занимался в свободное время. После всего этого митрополит Петр, очень обиженный, стал ездить в Москву, а не в Тверь. И в Москве его очень хорошо принимали. Постепенно центр духовной жизни сосредоточился в Москве. Наследник Петра, грек Феогност, был очень умным человеком. Однажды он поехал в западные владения, уже захваченные Литвой, с миссионерскими целями. Из этой поездки он чудом вернулся живым. Оказалось, что та часть огромного государства Древней Руси распалась на две части — одну, подчинившуюся добровольно татарам, и другую, захваченную Литвой — Гедимином, Ольгердом, Витовтом и Ягайло.

Вообще, литовцы нанесли значительно больше обид и оскорблений захваченным подчиненным Черной Руси, Белой Руси, Волыни (а поляки захватили Червленую Русь — Галицию), и везде русские оказывались в очень угнетенном состоянии. А татары, не желавшие принимать ислам, находили убежище на Руси. Главным образом они ездили в город Ростов — это был самый культурный город в Великороссии. Половину его населения составляли меря. В Ростове даже был большой храм Керемету — их богу. А на другой стороне, в центре города стоял храм Николая Угодника, в который ходила другая половина города — русские христиане. Посередине же был базар. И русские и меряне великолепно уживались друг с другом. А через некоторое время меря тихо и спокойно приняли православие. Кстати, фактически русские приняли православие тоже довольно вяло, долго оставаясь двоеверцами: они признавали и христианскую религию и нечистую силу, которую старались задобрить подарками. Такое двоеверие распространено до сих пор, когда люди считают, что не иадо ссориться ни с Богом, ни с дьяволом. С Богом — нехорошо, а дьявол может сделать что-нибудь неприятное. Священники, которых отправляли по деревням, были простые русские люди, и они великолепно понимали — дьявол-то есть! И поэтому они никак не наказывали двоеверов. Осуждали, но не наказывали. Поэтому это двоеверие стало религиозной основой Древней Руси. «Чистое» православие сохранялось только во Владимирской митрополии. В ней властвовал тогда наследник Феогноста митрополит Алексей (Бяконт), хотя чаще всего он жил в Москве. Его крестным отцом был не кто иной, как Иван I Калита. При Иване II, сыне Ивана Калиты, Алексей был фактическим правителем государства.

Здесь случилось событие, углубившее дружбу между Ордой и (теперь уже можно говорить) Москвой. В Орде жила вдова страшного тирана, беспощадного завоевателя и жестокого правителя Узбека. Звали ее Тайдула. Она была первая леди мусульманского мира. Во всех источниках о ней говорится как о женщине исключительно доброй, приветливой и красивой. Она никогда никому не делала зла, защищала людей от гнева своего мужа, а потом от гнева своего сыиа Джанибека, который, справедливости ради надо сказать, был в отличие от отца добрым и справедливым человеком. Но после смерти Узбека самым влиятельным человеком в Орде была Тайдула. И вдруг она ослепла. По-видимому у нее развилась обыкновенная трахома. Так как никакие шаманы помочь ей не могли, она обратилась к митрополиту Алексею. Он предложил ей приехать на границу, которая была около Тулы (кстати, позднейшее название города Тулы — от имени Тайдулы). Завел ее в церковь, освещенную восковыми свечами, долго читал молитвы и водой смазал ей глаза. То есть на самом деле это была не вода, а спирт, который в Москве уже умели делать. Известно, что трахома довольно легко убирается спиртом. И Тайдула прозрела. Этот случай укрепил дружбу между Золотой Ордой и Великим княжеством Московским. Дружба эта была крайне необходима, так как Литва со страшной силой давила на русские земли и подчинила себе уже и Киев — после битвы при Ирпени, и Чернигов, и Курск. Затем Витовт захватил Смоленск, Вязьму и Брянск. То есть литовцы имели гораздо больше силы, чем татары, и приносили Руси гораздо больше бедствий. Любопытно, что эта сторона русской истории историками XIX века замалчивается. Интеллигенция западнического направления считала, что говорить о притеснениях нас европейцами как-то нехорошо. И только Михаил Юрьевич Лермонтов две свои лучшие поэмы — «Боярин Орша» и «Литвинка» посвятил конфликтам русских именно с литовцами, а не с татарами, что соответствовало действительным историческим тенденциям. Летописи свидетельствуют, что набеги литовцев, хотя и пеших, были намного более жестокими, нежели набеги татарских разбойников, которых было много, как во всякой стране в то время, но которых наказывали сами татарские ханы.

И все было бы хорошо для Орды, если бы ие крайняя разношерстность ее населения. Правители так же зависят от своих подданных, как подданные от правителя. И когда отдельные татарские багадуры («богатыри») пытались укрепиться или в устьях Камы, среди камских булгар, или в лесах Мордовии, они на некоторое время получали самостоятельность.

А когда сын «доброго» Джанибека мерзавец Бердибек убил своего отца и захватил власть — в Орде появилась масса самозванцев, которых стали поддерживать отдельные племена: то ногаи, то булгары, то остатки куманов, то мордва — началась «великая замятня» в Орде. Но любопытно, что русские князья, даже во время «замятни», когда ханы менялись чуть ли не каждый год, продолжали возить «выход» в Орду — то есть тот взнос, на который Орда содержала свое войско, помогавшее в войнах с немцами, литовцами и всеми врагами Великого княжества Владимирского. Все это продолжалось довольно долго — до тех пор, пока в Орде совершенно не пала местная династия, местная власть. А потом из Орды выделилась Синяя Орда, которая была самой «дикой», самой отсталой, как у нас говорят, страной. Она сохранила еще древнюю доблесть и древнюю воинственность. Хызр-хан Синей Орды захватил Золотую Орду, и в этой распре погибла сама Тайдула, защитница русских. Затем Мамай, который опирался на Причерноморские степи и на половцев, не будучи чингисидом, стал сажать царевичей-чингисидов на престол и правил от их имени. Этот был выраженный западник. Он договорился с генуэзцами, получал от иих деньги. И на них содержал войско отнюдь не татарское, а состоящее из чеченов, черкесов, ясов и других народностей Северного Кавказа. Это было наемное войско. Мамай пытался наладить отношения с Московским князем Дмитрием, который был тогда очень мал, и за иего правил митрополит Алексей. Но тут вмешался Сергий Радонежский. Он сказал, что этого союза ии в коем случае допускать нельзя, потому что генуэзцы, союзники Мамая, просили, чтобы им дали концессии на Севере, около Великого Устюга. Они хотели постоянно покупать там меха. Сергий же всегда стоял на той точке зрения, что иикаких контактов нам с латинами иметь не надо, так как они народ лукавый, лицемерный, вероломный, и притом отнюдь не друзья Руси, а враги. В результате Московское княжество поссорилось с Мамаем и выступило на стороне законного хана Синей и Белой Орды Тохтамыша.

И вот тогда произошло событие, которое положило начало созданию иовой России, — Куликовская битва. Интересно, что князья — новгородские, тверские, суздальские и прочие — уклонились от участия в походе на Мамая, а население этих княжеств пришло к Дмитрию, как добровольцы. Союзником Мамая, кроме Генуи, была еще и Литовская Русь или Великое княжество Литовское. Великий киязь Ягайло Ольгердович привел 80 тысяч поляков, литовцев и русских на помощь Мамаю. Правда, ои опоздал, и, по-видимому, умышлеино, к моменту битвы. Но все равно Мамай был на рубеже победы. Конный удар на русские цепи оказался губительным и для передового полка, которым командовал воевода Мелик, и для пеших ратей. И только применение татарской тактики конного боя, использование засадного полка, вступившего в сражение в критический момент, когда мамаевцы потеряли строй, во главе с Владимиром Андреевичем Храбрым и Боброком Волынцем переломил ход сражения в пользу русских. Потери в этой резне были колоссальными. Было очень много раненых. Их положили на телеги и повезли домой. Что же делали наши милые западные соседи? Литовцы и белорусы догоняли телеги и резали раненых.

Простите, но я не понимаю: как можно изучать русскую историю и не видеть: где свои и где чужие? Это или умышленное замалчивание или полная неспособность к историческому мышлению.

Ведь союзником Дмитрия Московского был хан Тохтамыш. Когда Мамай, ускакавший с Куликова поля, собрал новое войско, то именно Тохтамыш с сибирскими войсками пришел в 1381 г. в Причерноморские степи и встретил Мамая, готового к бою. Но татарские воины Мамая, увидев законного хана, сошли с коней и передались Тохтамышу. Они не схватили Мамая, а дали ему убежать, ибо они не были предателями. Мамай ускакал к своим друзьям-генуэзцам в Кафу (Феодосию), но европейским купцам он перестал быть нужен, и они его убили. Так разнились понятия о чести и верности у цивилизованных европейцев эпохи Возрождения и евразийских кочевников Великой степи.

Свою оценку автор не навязывает — читатель волен принять любую точку зрения.

А. П.: Позвольте, Лев Николаевич, но ведь союзник Дмитрия Донского, Тохтамыш, уже в 1382 году разорил Москву...

Л. Г.: Да, тогда случилась беда, погубившая Тохтамыша, но не Москву. Суздальские князья, потерявшие право на Владимир, были настроены против Москвы. А интриги у них всегда осуществлялись одним способом: писанием доносов. И они донесли Тохтамышу, что Дмитрий хочет предать его и присоединиться к Литве. Тохтамыш был очень славный человек — физически сильный, мужественный, смелый, но, к сожалению, необразованный. Он был не дипломат — дипломаты все погибли во время «великой замятни». И ои поверил, ибо в Сибири не лгут: если свои же приходят и говорят про другого плохо — этому верят! Тохтамыш сделал иабег на Москву. Собственно говоря, взять Москву он никак не мог. Он переправился через Оку, подошел к Москве, в то время как все князья и бояре разъехались по своим дачам и жили там спокойно. Москва была укреплена каменными стенами. Взять ее было невозможно — у татар не было никаких осадных орудий, они двигались на рысях одной конницей. И тут сказалось отсутствие профессиональных военных и профессиональных правителей. Народные массы в Москве, как всегда у нас иа Руси, решили выпить. Они стали громить боярские погреба, доставать оттуда меды, пиво, так что во время осады почти все московское население было пьяным. Москвичи выходили иа крепостные стены и крайне оскорбляли татар непристойным поведением — они показывали им свои половые органы. Татар это ужасно возмутило. А когда в Москве все было выпито, москвичи решили, что больше воевать не

стоит, пусть татары договорятся обо всем и уйдут. И открыли ворота, даже не поставив стражу перед ними. Первыми прошли послы, за ними все татарское войско, и двадцать тысяч трупов лежало на улицах внезапно протрезвевшего города. Так было на самом деле — все это описано в летописях. Говорят, Тохтамыш сделал очень непристойный поступок. Но сделал его не столько он, сколько суздальские князья Василий Кирдяпа и Семен Дмитриевич. Они своим доносом вызвали резню. За время, пока татары стояли под Москвой, весть об этом прошла по всей стране. Бояре, воеводы, родственники князя собрали свои дружины и двинулись к Москве. Татары быстро спаслись бегством. После этого Тохтамыш «простил» Дмитрия и решил, что он заключил с ним полный мир. И все бы сошло Тохтамышу, если бы на него не напал Тимур. Тимур прошел от Самарканда до Волги, пользуясь весенним временем. Дело в том, что степь летом совершенно сухая и провести по ней лошадей нельзя. Но когда тает снег — вырастает травка. На юге снег тает, естественно, раньше, чем в середине и на севере. Поэтому каждый раз Тимур останавливал свое войско, выкармливал на свежей травке лошадей и делал следующий переход к тому времени, когда впереди вырастет трава. Таким образом он совершил головокружительный поход, который до него никто не мог совершить. Татары героически сопротивлялись. И потребовали, конечно, помощи от москвичей. Князь Дмитрий Донской уже умер к тому времени, а его сын Василий вроде бы повел московское войско, но защищать татар у него не было ни малейшего желания. Он повел его не спеша вдоль Камы, довел до впадающей в Каму реки Ик и, когда узнал, что татары, прижатые к полноводной Каме, почти все героически погибли, переправил войско назад и вернулся в Москву без потерь. Но на самом деле он потерял очень много, потому что сам он заблудился в степи, попал в литовские владения, был схвачен Витовтом и вынужден был купить свободу женитьбой на Софье Витовтовне, которая впоследствии причинила России много вреда.

Решающим событием в истории Золотой Орды и Великого княжества Московского была вторая экспедиция Тимура через Кавказ и сражение на реке Терек. Тохтамыш мобилизовал всех подчиненных ему татар — то есть организовал ополчение по типу чингисовского. Но качество его было далеко не то, что при Чингисхане. Несмотря на то, что это были прекрасные наездники, стрелки из лука, но им явно не хватало жертвенности. Говоря специальным термином, они не были способны на сверхнапряжение. А у Тимура была регулярная армия, составленная из гулямов — из удальцов, которые сражались за деньги, имели военную дисциплину, отменную выучку. Как всегда, армия оказалась сильнее ополчения. Тимур выиграл сражение. И, переправившись через Терек, прошел по Волге, уничтожая все татарские города. Но дальше Тимур не пошел, так как татары восстали у него в тылу, восстали черкесы на Кубани, восстал Дагестан. Тимуру спешно пришлось возвращаться обратно через Дербентский проход, после чего он ушел обратно в свои владения в прекрасный город Самарканд, оставив бывших своих офицеров из числа волжских татар, мурзу Едигея и царевича Темир-Кутлука. В это время Витовт решил развернуть наступление на Восток и захватить всю Россию. Он договорился с Тохтамышем, который сбежал к нему — больше некуда было бежать,— что он восстановит Тохтамыша на престоле Золотой Орды, а татары за это уступят Литве русские земли. Создалась огромная армия из литовских богатырей, польских шляхтичей, немецких рыцарей и, конечно, белорусов, которые тоже были мобилизованы.

Темир-Кутлук при помощи Едигея наголову разгромил лучшую армию Европы в 1399 году.

И в это время случилось событие, которое не следует упускать из виду. Витовт бежал, и сопровождал его некий казак Мамай (потомок того, погибшего, кажется, внук его). Шли они через какие-то леса, принадлежащие Мамаю, и тот заблудился в них. Три дня они бродили, и тогда Витовт, который был человек очень умный, сказал: «Хватит. Дам тебе княжеский титул, урочище Глину и город Глинск. Выведи!» И Мамай сразу вывел его. Потомком этого казака Мамая (а следовательно, и самого Мамая!) по женской линии был Иван Грозный. Мать его, Елена Васильевна Глинская, происходила из этого рода. Следовательно, когда Грозный истреблял бояр — потомков победителей на Куликовом поле, — он действовал логично как потомок Мамая. Он мстил за унижение своего предка. Конечно, он об этом не знал. Но ведь в этом-то и интерес! Так работает мироощущение на уровне логики событий!

Таким образом, можно сказать, что Орда внезапно возвысилась. Но почему-то Темир-Кутлук внезапно умер. В источниках сказано очень невнятно, что он проявил самовольство, то есть стал заботиться о своем народе, а не служить Тимуру. Через некоторое время, уже после смерти Тимура, в Орде ханом стал брат Темир-Кутлука — Шадибек. Витовт решил напасть на Москву. Это случилось в 1406 году. Он дошел до Тулы. Но Шадибек пришел с татарским войском, и Витовт немедленно отступил, наученный недавним опытом. Теперь мы можем спросить: так кто же помог Москве устоять против жестокого нажима с юга, из мусульманского мира, от Тимура, и с Запада, со стороны Витовта и Ягайлы? Кто же нам должен быть ближе: Ягайло, воины которого резали русских раненых после Куликовской битвы, или Шадибек, который в нужное время явился на помощь? Мне кажется, этот вопрос во всяком случае требует пересмотра. Не следует опускать тех событий, о которых я упоминал. А в обыкновенных учебниках XIX века либерального направления они опускаются. Для того, чтобы о них узнать, надо читать подробные сочинения вроде истории Соловьева, которая никак не интерпретирует, но по крайней мере упоминает эти факты.

И вот теперь мы можем поставить проблему: каким образом маленькое Московское княжество, имея таких представителей, среди которых были не только рачительный хозяин Иван Калита, но и беспринципный Юрий Данилович, бесхарактерный, мягкий Иван Иванович Красный, вполне заурядный как личность Дмитрий Донской, превратилось в ту Великую Русь, в наследии которой мы с вами живем?

А. П.: Действительно, каким образом?

Л. Г.: Кто видел, знает сегодня о таких этносах, как мурома, заволоцкая чудь? А ведь заведомо известно, что никакого истребления этих племен, довольно многочисленных, не было. Они просто смешались с пришлыми суздальскими и тверскими славянами, выучили русский язык и вошли в состав русских. Мы видим, что великороссы, как их было принято называть, или россияне, как их называют сейчас,— этнос, сложившийся из трех компонентов: славяне, угро-финны и татары, смесь тюрок с монголами. Татары-язычники, которые не хотели принимать ислам и бежали на Русь в большом количестве, оседали и в Рязанском княжестве, и в Московском, и, больше всего, в Ростове Великом, где, как я уже говорил, было смешанное население. Они стремились жениться на русских боярышнях. Их татарские красавицы крестились, чтобы выйти замуж за русских бояр. Образовался новый смешанный этнос, который никогда раньше не существовал. Здесь начало этногенеза — переход от инкубационного периода фазы подъема к его явному периоду. В результате получилось очень сильное этническое образование, в котором никогда не было вражды на национальной почве.

Могут сказать: как это так? Мы, потомки славян, всех, всегда побеждавшие, являемся наследниками каких-то татар? Но мы стали одерживать победы именно с того момента, как мы смешались. Впрочем, если подумать, выясняется, что все известные нам европейские этносы, да и азиатские тоже, возникли тем же способом. Чьи потомки англичане? Во-первых, мы должны учесть романизированных кельтов, которые были почти все перебиты, но их женщины рожали детей победителям. От англов, саксов и ютов. Те, в свою очередь, были разбиты норманнами, потомки которых поселились в Нортумберленде и до XX века говорили на норвежском языке; и датчанами, которые поселились на юге, пока их не выгнал Эдуард Исповедник; после этого прибыли нормандцы из северной Франции и плантагенеты из Анжу и Пуату. Все эти элементы смешались в единое целое, и оказалось, что это система, и такая сильная, что трехмиллионное английское королевство побеждало 18-миллионное французское во время Столетней войны. Кончилось это, правда, для них поражением, но больше чем через сто лет побед. Очевидно, смесь — первоначальное во время пассионарного толчка условие, без которого новый этнос возникнуть не может. Но как только этнос возник, сложился и формализовался, вся пассионарная его часть может смешиваться без вреда и даже с пользой для себя, а основная часть, сбросив избыток энергии, начинает кристаллизоваться в каких-либо определенных формах. Это случается в акматической фазе и, самое главное, в фазе надлома. Мы действительно знаем, что северяне, потомки древних севиров, досуществовали до XVII века: еще в смутное время они выступали против Москвы и против Василия Шуйского, поддерживая Болотникова, князя Шаховского и других.

Вот вам, кстати, еще один пример исторического мифа: «Смутное время — это крестьянская война». Но основную-то силу армии Болотникова составляли три рязанских пограничных полка, во главе которых стоял полковник Прокопий Ляпунов. И наоборот: Шуйского поддерживали, то есть Москву защищали, даточные люди — мобилизованные крестьяне. Таким образом, то, что мы пытаемся изобразить как крестьянскую войну, не отвечает этим известным, опубликованным в исторической литературе фактам.

Та же ситуация и с политикой Александра Невского. То, что Александр подчинился Орде, рассматривается как предательство христианского мира. Ранее об этом писали: польский ученый Уминский, немецкий католический историк Амман, недавно была опубликована новая серия западных работ, в которых осуждается Александр Невский. Когда спрашивают мое отношение к этому, я говорю: «Ну конечно, они осуждают — они же хотели русскими руками воевать против татар, а потом захватить обескровленную Россию безо всяких затрат. Конечно, они считают, что Александр Невский, который сорвал им эту колониальную операцию, поступил нехорошо. Но для России Александр — герой, святой и основатель новой российской целостности, которая существует до сих пор». «Но он подчинился татарам», — говорят они. Повторяю: в то время подчинение соответствовало дипломатическому этикету. Точно так же Богдан Хмельницкий подчинился царю Алексею Михайловичу. Но он остался и гетманом Украины с полным самоуправлением и со всеми привилегиями. Правда, с украинцев стали собирать теперь больше налогов, чем собирали поляки. Зато, вместо 20 000 казаков было записано в реестр — то есть освобождено от всякой крепостной зависимости — 60 тысяч. Но почему же тогда на Украине гетман Выговский — шляхтич русского происхождения, Юрий Хмельницкий, сын Богдана, Дорошенко — то есть почти вся казачья верхушка стремилась вернуться под власть Польши, основная масса казаков на Переславской раде заявила: «Волим царя восточного, православного»? Очень просто. В странах Запада не католики не имели гражданских прав и возможностей сделать карьеру. А в России православные были единоверцами, своими. И вот в этом — вторая причина подъема Москвы. У нас сложился институт связанный не с родовыми привилегиями, а исключительно по принципу личных способностей. Стать патриархом или митрополитом мог любой человек, если оказывался к этому способен. Это прежде всего относится к церковной

иерархии Московской митрополии. К XV веку церковная организация превратила Московское княжество из феодального в теократическое. И только в XVI веке, после попытки Ивана Грозного истребить все самое ценное, самое умное, самое талантливое, что было в России, за что он заплатил двумя проигранными войнами — Ливонской и Крымской, положение изменилось. Но все стало по-прежнему после изгнания поляков и возвращения Федора Никитовича Романова, в монашестве Филарета, к власти.

Дальнейшее настолько известно, что не хочется повторять. Но следует отметить, что легкость завоевания Сибири была связана с тем, что в отличие от англосаксов, французов и немцев русские в сибиряках видели людей равных себе и, если те подчиняются, — автоматически становятся равноправными членами сообщества, то есть государства. Татары, сибиряки получали право, так же как украинцы, занимать любые должности, вплоть до самых высших. Безбородко, который не знал русского языка, а говорил или по-латыни, или по-французски, или по-украински, был канцлером — то есть правителем империи! Алексей Разумовский был венчанным мужем царицы Елизаветы. Но брак их был морганатическим — их дети не имели права на престол. Кирилл Разумовский был гетманом всея Украины. Грузия п р о с и л а принять ее в состав Российской империи — то есть желала подчиниться России. Долгое время первые Романовы — Михаил, Алексей, даже Петр — не хотели принимать Грузию, брать на себя такую обузу. Только сумасшедший Павел дал себя уговорить Георгию XIII и включил Грузию в состав Российской империи. Результат был таков: в 1800 году насчитывалось 800 тысяч грузин, в 1900 их было 4 миллиона. Дело в том, что кавказские горцы, турки и персы постоянно совершали набеги на Грузию, уводили молодежь, юношей кастрировали и употребляли для разной канцелярской работы, а девушек уводили в гаремы. И когда русские войска защитили Грузию от горцев, она много выиграла от этого. Точно так же армян русские спасли от персидского гнета и от турецкого ига. Так же казахи обратились в правительство Анны Иоанновны с тем, чтобы она приняла их Малую Орду — наиболее активную и воинственную — в состав России. Их просьба была удовлетворена. Единственно, в чем их ограничили, — запретили воровать коней у русских. Их за это сажали и ссылали в Якутию, где они начинали так же грабить якутов (об этом очень хорошо написал Короленко). Откуда взялись буряты? Когда Монголия в XVII веке оказалась в безвыходном положении — с Запада ее терзали калмыки, с юга китайцы, они решили, что держаться дальше как самостоятельное государство они не могут. Часть их высказалась за то, чтобы признать власть желтого хана, то есть Маньчжурского императора и императора всего Китая, а другая часть решила выступить за Белого хана, за русского царя. Они перекочевали через горы, были приняты, и им были даны права казаков — то есть право не платить налогов, а охранять границу. Это их вполне устроило.

В Сибири воевода имел все права над жизнью и смертью своих подчиненных. Любого пойманного разбойника он мог повесить на первой попавшейся березе. Но инородцы, внесенные в ясачные списки, могли быть казнены только с разрешения Москвы. А Москва разрешения на казнь инородцев не давала. И даже когда один отчаянный бурят обратился в буддизм и решил поднять бурят на борьбу с русскими, его поймали, но Москва не дала разрешения на казнь. Так он и остался безнаказанным. Такое отношение к инородцам безусловно укрепило силы России. Я уже не говорю о сибирских мехах, которые ценились тогда как валюта: сибиряки приносили по одному соболю в год — это называлось ясак. Но когда пришлось воевать с Польшей, то казаки, большая часть которых были потомками крещеных половцев, помогли эту войну не проиграть. Когда, одержавший много побед Карл XII дошел до Полтавы, он вынужден был принять бой, потому что данные его разведки сообщили ему, что хан Аюка с калмыцкой армией идет сражаться против него. Он принял бой, который проиграл, для того, чтобы не иметь дела с калмыками. Но когда война затянулась, правительство стало посылать калмыцких, башкирских и татарских всадников через лед Ботнического залива — это была легкая конница. Легкая в буквальном смысле слова — всадники были одеты в шубы, на небольших конях. Обычная тяжелая кавалерия провалилась бы под лед. Несколько таких походов в большой степени приблизили мир со Швецией, по которому России отходила вся Прибалтика и город Выборг. Удивительно, что сейчас литовцы, эстонцы и латыши, которые хотят восстановить прошлое, не понимают, что если прошлое восстанавливать, то мы должны передать Прибалтику шведам, подлинным хозяевам этих земель? А с прибалтами мы даже не воевали — о чем же может идти речь?!

Для того, чтобы разобраться, нужно брать историю на широком фоне. Легче, стреляя из винтовки, попасть в дом, чем в пятак, который приколочен на стене дома. Только тогда можно получить верные результаты, когда мы имеем достаточно обильный и широкий материал. Эта методика, которая одно время применялась в Западной Европе, уступила в наше время место узкой специализации. А узкая специализация не дает возможность сделать верный и убедительный вывод — так как нет сопоставления на широком фоне и мы не можем знать, случайно ли это совпадение или закономерно. В книге «Этногенез и биосфера Земли» я показал, что этногенез есть закономерность природы, а не случайностей социального развития. Но для того, чтобы открыть эту природную закономерность, мы должны изучать фактическую историю, как науку о событиях в их связи и последовательности.

А. П.: Лев Николаевич, эту Вашу книгу простому смертному достать совершенно невозможно. Поэтому ответьте на такой, я убежден, интересующий многих вопрос. Сейчас очень многие и весьма громко говорят о близком конце русских. Что по этому поводу говорит нам теория этногенеза?

Л. Г.: Теория этногенеза говорит нам, что каждый этнос, самостоятельно развивающийся, не получивший ударов извне, проходит ряд определенных фаз. Сначала подъем пассионарности (об этом периоде развития русского этноса я рассказывал только что), он у нас длился вплоть до XVI века. В XVI веке наступил пассионарный перегрев. Это дало страшные последствия: опричнину, Смутное время, Раскол, восстание Разина, которое было отнюдь не крестьянским восстанием, а восстанием пограничных метисированных разбойников, стрелецкие мятежи; после всего этого пассионарность несколько спала, дошла до нормы: 18-й век — оптимальное в смысле пассионарности время. Конечно, ничего особенно хорошего в 18-м веке не было: безграмотные помещики, которые гоняли зайцев и лисиц, или недоросли, которые ездили в Париж и возвращались оттуда надутыми щеголями и довольно бестолковыми любителями всего западного. Но пассионарность, которая является обязательным условием для творчества, дала нам возможность победить даже Наполеона, армия которого превосходила русскую в три раза. «И вся Европа там была, и чья звезда ее вела!» — писал Пушкин. Война эта принесла жестокий урон уровню пассионарности нашего этноса. Лучшая часть русских людей служила в то время в армии офицерами или солдатами. И после битвы при Лейпциге, после взятия Парижа в 1814 году, Россия имела уже значительно ослабленную армию — герои погибли. После этого начались уже болезненные явления: с одной стороны, развитие сектантства в народе, с другой стороны, в верхних слоях общества развитие западнических направлений, масонства, в науке было немецкое засилье, потому что уже правительство Екатерины — это было западническое правительство, и Ломоносову пришлось уйти. Постепенно, но неуклонно количество пассионариев сокращалось. Лучше всего об этом написано в «Горе от ума»: Софья предпочитает пассионарному Чацкому, умнице, волевому, живому человеку, Молчалина, который будет спокойно служить и обеспечивать ее семью. Сменился идеал. Под идеалом я понимаю далекий прогноз. Они стали считать, что самое лучшее — обывательское существование: дойти до чеховских героев. Естественно, Россия ослабела, да еще очень много потеряла во время немецкой войны. Поэтому оказалось, что западнические влияния, то, что А. Тойнби называя оксиденталнзация (от английского occidentally — «на западный манер»), очень развились, что сыграло в нашей судьбе самую роковую роль.

А. П.: И все-таки, Лев Николаевич, если я в общих чертах правильно понимаю Вашу теорию, из нее следует: все сегодняшние беды нашей страны лишь кратковременный эпизод, после которого нас ждет пора «золотой осени» — спокойного и долгого «умирания» в течение нескольких столетий.

Л. Г.: Сегодняшние беды — неизбежный эпизод. Мы находимся в конце фазы надлома (если хотите — в климаксе), а это возрастная болезнь. Есть ли у нас шанс ее пережить? Да, есть. И то, что в связи с перестройкой происходит полное изменение императивов поведения, — это может пойти на пользу делу и помочь нам выйти из кризиса. Но сама перестройка — лишь шанс на спасение. Мы должны прежде всего осознать традиционные границы — временные и пространственные — нашей этнической общности, четко понять, где свои, а где чужие. В противном случае мы не можем надеяться сохранить ту этносоциальную целостность, которую создавали наши предки при великих князьях и царях московских, при петербургских императорах. Если мы сумеем эту целостность сохранить, сумеем восстановить традицию терпимых, уважительных отношений к формам жизни близких нам народов — все эти народы останутся в пределах этой целостности и будут жить хорошо и спокойно.

Однако не исключена возможность, что при распаде, внешнем вторжении — военном или экономическом, когда у нас разрушится стиль нашей жизни, стереотипы поведения, изменится наша суперэтническая ориентация — нас постигнет судьба арабского халифата. Там широкие межэтнические контакты происходили на суперэтническом уровне во всех областях жизни: в войске, на базаре и в гареме, даже в мечетях — сунниты, шииты, хариджиты, в вокруг них христиане, огнепоклонники, евреи, язычники всех оттенков и дуалисты-сарматы. Переизбыток этнической пестроты столь же опасен, как ее отсутствие: оптимальна мера внутри суперэтноса в границах ландшафтного региона, в нашем случае совпадающая с границами нашего государства.

Хочется думать, что судьба арабского халифата минует наше Отечество. Однако возможно это лишь в том случае, если мы не будем поддаваться уже испытанным соблазнам и благодушествовать как в разговорах о нашем национальном величии, так и в самобичевании по поводу нашей «отсталости» от Европы.

Что такое «отсталость»? Здесь это же просто разница возраста. И действительно, толчок, приведший к рождению Западноевропейского («христианского») мира произошел в VIII веке нашей эры. Благодаря этой «отсталости», благодаря избыточным силам этнической молодости западноевропейцы и победили в конечном счете восточное православие в 1204 году, когда варварски ограбили Константинополь. Поскольку наш, «русский» пассионарный толчок имел место в XIII веке, то по отношению к Европе мы действительно моложе на целых 500 лет, и это вещь вполне объективная. Как всякая естественная данность, наша молодость, конечно, не может и не должна быть поводом для мазохизма, ибо сознательное стремление к своей старости (а значит, и смерти) — нонсенс.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

История Отечества: документы и судьбы

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ

ПО СЛЕДАМ КРАСНОГО ТЕРРОРА

ОБ ИСТОРИКЕ С. П. МЕЛЬГУНОВЕ И ЕГО КНИГЕ

Эпиграфом к Истории я бы написал: «Ничего не утаю. Мало того, чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно — умалчивая».

Л. Н. Толстой.

Время течет быстро. Минуло уже пять лет, как под воздействием новых политических веяний разжегся фонарь исторической гласности, призванный высветить пребывавшие ранее в тени моменты отечественной истории, в первую очередь послеоктябрьской поры. Однако странное дело: пробиваясь сквозь толщу времени, свет этого фонаря по воле невидимых режиссеров слепяще ударил по периоду с конца 20-х годов и почти замер перед первыми годами Советской власти. Многое из тех лет так и осталось мерцать в неясной полутьме, ожидая своего счастливого часа. И, пожалуй, наиболее явно такая несправедливость бросается в глаза по одной теме, зияющей на историческом небосводе как черная дыра, которая, все поглощая, почти ничего из своего плена не выпускает. Тема эта — красный террор.

Настала пора приподнять наконец над красным террором таинственную завесу, а чтобы сделать это не откладывая и как можно более широко и полно, мы вынуждены вновь прибегнуть к неиссякаемой кладовой русского зарубежья. Тема красного террора неизбежно занимала в литературе русской эмиграции значительное место, однако из всего до сих пор написанного на эту тему на первый план несомненно выходит книга С. П. Мельгунова «Красный террор в России. 1918—1923».

Сергей Петрович Мельгунов... Без преувеличений можно сказать, что это имя для подавляющего большинства советских людей является еще более таинственным и незнакомым, чем сам красный террор. И, безусловно, многих читателей поразит, что Мельгунова по праву можно назвать крупнейшим историком русского зарубежья. Загадочность нового имени, встающего в ряды возрожденных из пепла забвения, объясняется просто: за семь десятилетий после высылки историка из страны на его Родине не было опубликовано ни одной даже самой краткой его статьи или заметки. И вот советский читатель может познакомиться сразу с целой книгой историка, да еще на такую щекотливую тему. Однако обо всем по порядку.

С. П. Мельгунов родился 25 декабря 1879 года в старинной, но изрядно обедневшей дворянской семье. Его отец Петр Павлович Мельгунов, московский педагог и историк, близкий друг В. О. Ключевского, стал знаменит благодаря своему учебнику «Первые уроки истории», неоднократно переиздававшемуся и вызывавшему восхищение лучших умов России. И хотя из-за развода родителей Сергей отца почти не знал, ему было суждено пойти по его стопам. В 1893 году П. П. Мельгунов умер, не оставив своей многочисленной семье почти ничего, кроме прекраснейшей библиотеки.

Полубедственное состояние вынудило Сергея уже с седьмого класса гимназии содержать себя самого, пробуя свои силы в журналистике и переводах. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, учась лишь на первом курсе историко-филологического факультета Московского университета, он становится сотрудником «Русских ведомостей» — самой популярной и влиятельной из газет начала века. Около 10 лет сотрудничал Мельгунов в этой газете, пройдя путь от автора на случайные сюжеты провинциальной хроники до обозревателя по темам истории и церкви. Этот опыт и определил в конце концов особенность творческого облика Сергея Петровича, не ставшего после окончания университета в 1904 году «чистым», академическим историком, а гармонически соединившего в себе неослабевающий интерес к истории, профессиональную журналистику и активную общественную деятельность.

Главным предметом своего внимания историк Мельгунов сразу же выбрал историю русской церкви, прежде всего старообрядчества, сектантства. Из-под его пера на эту тему вышли следующие труды, получившие высокую оценку современников: «Церковь и государство в России» (2 кн.), «Религиозно-общественные движения в России в XVII—XVIII вв.», «Религиозно-общественные движения в России XIX в.», «Старообрядцы и свобода совести», «Великий подвижник и протопоп Аввакум», «Москва и старая вера». Кроме того, свет увидели книги Мельгунова «Дела и люди александровского времени», «Из истории студенческих обществ в русских университетах», «Студенческие организации 80—90-х гг. в Московском университете» и многочисленные статьи.

Мельгунов становится признанным авторитетом по вопросам истории церкви в России и на этой почве сближается с Л. Н. Толстым. Во время одной из встреч великий писатель настаивал: «Бросьте вы эту ерунду «Русские ведомости», они вас совсем испортят», уговаривая Мельгунова посвятить себя «исключительно изучению религиозных движений в России, может быть единственному положительному и самому важному в современной общественной жизни». Однако историк не внял этому совету, а, наоборот, все более расширял сферу своих интересов. Под его редакцией вышли многотомные коллективные труды, составляющие гордость русской истории: «Великая реформа 19 февраля 1861 г.» (7 т.), «Отечественная война и русское общество» (6 т.), «Масонство в его прошлом и настоящем» (3 т.). Эти издания были богато иллюстрированы во многом благодаря уникальной исторической коллекции, собранной Мельгуновым. К числу заслуг последнего можно отнести также составление и редактирование «Книг для чтения по истории нового времени» (7 т.), «Рассказов по русской истории», сборников «Из нашего прошлого», брошюр «Популярной исторической библиотеки» и т. д., носивших просветительский характер.

Постепенно все больше сил Мельгунова стали поглощать издательские дела, в которых проявился его незаурядный организаторский талант и яркая творческая натура. Он участвовал в создании издательств «Народное право» и «Свободная Россия», организации первого в стране Союза книгоиздателей, однако истинным его детищем стало издательство «Задруга» — совершенно исключительное явление в российском книгоиздании. Оно представляло собой кооперативное товарищество, насчитывавшее около 600 членов — писателей, общественных деятелей, ученых, рабочих двух типографий издательства, каждый из которых являлся пайщиком и совладельцем «Задруги». За более чем десятилетний период существования товарищество выпустило свыше 500 самых разнообразных книг.

В 1913 году совместно с известным историком В. И. Семевским Мельгунов организовал журнал «Голос минувшего» и редактировал его на протяжении десяти лет. В течение всего этого времени (вышло 65 томов) журнал пользовался заслуженной славой крупнейшего русского исторического журнала.

Политические симпатии Мельгунова склонялись к народническим кругам, группировавшимся вокруг «Русского богатства». В 1907 году он принял деятельное участие в создании народно-социалистической партии, став затем товарищем председателя ее ЦК. «По своим воззрениям,— писал Мельгунов,— эта партия отличалась от других социалистических партий тем, что в основу она клала не классовую борьбу, а интересы человеческой личности как таковой... Партия не могла иметь широкого развития в буйное время революции, когда на сцену выступила демагогия. Но ее умеренный социализм, ее непрерывная защита интересов государства как целого, интересов нации («превалирование над всем национальной и государственной точки зрения» — так формулировал свое кредо историк) привлекло в ее ряды многих лучших представителей русской демократической интеллигенции».

В Февральской революции Мельгунов увидел осуществление давней мечты всех борцов за свободу. Он активно поддерживал Временное правительство, редактируя вместе с другими лидерами народных социалистов — В. А. Мякотиным и А. В. Пешехоновым партийные газеты. Однако из-за своей загруженности историк отказался от весьма лестного предложения Министерства внутренних дел занять пост московского комиссара.

Раскаты Октябрьской бури были встречены Мельгуновым крайне враждебно. В своих воспоминаниях он назвал годы, последовавшие за этим событием, «убийственным прозябанием». Историк откровенно признался, что с первых дней революции стал «непримиримым врагом советской власти» и вел против нее «активную борьбу». На этом пути его ждали 23 обыска, 5 арестов, 6 месяцев жизни на нелегальном положении, полтора года заключения в тюрьмах, страшная угроза расстрела. Вся эта одиссея имеет прямое отношение к книге «Красный террор в России», и, думается, на ней стоит задержаться более подробно, тем более что в своей книге автор почти ни словом не обмолвился о собственном знакомстве с гримасами «революционного насилия».

Чем же было вызвано резкое неприятие Мельгуновым новой власти? Это чрезвычайно важно уяснить, чтобы понять те принципы, отталкиваясь от которых историк считал возможным критиковать большевиков. Обратимся к его показаниям во время четвертого ареста в 1920 году. В них Мельгунов, продолжавший считать

себя социалистом, утверждал, что ни в Европе, ни в России еще не созрели предпосылки для «пролетарской революции», а «при таких условиях опыт социалистического строительства вне объективных условий времени... является общественным преступлением — преступлением перед потомством. При подобной оценке вопрос о методах, при помощи которых проделывается опыт, выдвигается на первый план. Многие из идей, осуществляемых властью, я разделяю, но все ее методы мне органически ненавистны, так как все то насилие, которое мы наблюдаем, не находит себе никакого исторического оправдания. И в жизни получается лишь какая-то карикатура даже на коммунизм — нарушается элементарное основание так называемого научного коммунизма. Я не могу примириться с тем исключительным произволом, который царит ныне во всех отраслях жизни, с той... системой террора, которая возведена в принцип государственного строительства до последнего времени».

В заявлении в президиум Особого отдела ВЧК от 10 июля 1920 года Мельгунов писал на ту же тему: «Будучи врагом всей политики Советской власти, я все же деятельность большевиков объяснял своего рода общественным фанатизмом, узко воспринятой политической догмой! И органически ненавистный мне террор я выводил из того же ложного, с моей точки зрения, миропонимания... Когда вы убиваете людей, вы говорите, что уничтожаете врагов во имя великого будущего. Я отрицаю за людьми право так строить будущее». Историк признавал, что «коммунистическое правительство... опирается на инстинктивное чувство массы и идет по пути нового социального строительства. Последнее я, конечно, никогда не отрицаю и всецело бы сочувствовал, если бы пути были не ошибочны, а методы не так узко деспотичны. Я не верю в возможность осуществления таким путем социализма».

Как видим, Мельгунов расходился с большевиками не по вопросу о целях преобразования общества, а по вопросу о путях и методах достижения этих целей, и конечно неприятие им новой власти никак нельзя объяснить «дворянским происхождением» или «классовой злобой» отъявленного «контрреволюционера». Скорее речь здесь должна идти о твердом следовании историка принципам нравственности, свободы и социальной справедливости, которые отстаивались представителями умеренного крыла народническо-социалистического движения. Эта твердость и обусловила в конечном счете «контрреволюционность» Мельгунова как в его взглядах, так и политических действиях. Думается, сегодня, в отличие от печально памятных лет, мы должны признавать, что такая позиция, несмотря на ее крах в те дальние годы не только в индивидуальном плане, но и в широком историческом масштабе, имела свою громадную, выстраданную правду. В истории далеко не все, что терпит поражение, изначально ложно, бесперспективно. И мы обязаны ныне отдать должное тем, кто, идя против течения, теряя при этом свободу, Родину, жизни и все же проигрывая, пытался сдерживать приближение неминуемого, окрашенного в черные цвета насилия и народной трагедии. Да и что кроме уважения может вызывать решительность людей, которые, видя поругание своих святых идеалов и ценностей, не отсиживались по углам, не замыкались в словоблудие и вздохи по утраченному, а, рискуя всем, предпринимали реальные действия, пусть часто неумелые и напрасные, против порочной, по их пониманию, власти.

В своих воспоминаниях, появившихся в печати только после смерти историка, Мельгунов раскрыл те тайны собственной «контрреволюционной» деятельности, за которые дорого бы заплатили чекисты. Узнай они тогда об этих секретах, участь Мельгунова была бы куда печальнее. Уже в первые месяцы после Октября он решительно высказывался за политическую линию народных социалистов, нацеленную против какого-либо компромисса с Советами, любого «соглашения с партией большевиков» и «участия в административной власти». Эти свои взгляды Мельгунов публично высказал в газете энесов «Народное слово» в статье с показательным заголовком «Борьба до конца». За эту статью газета была тотчас же закрыта.

Страстным желанием историка становится сплочение антибольшевистских сил, он предпринимает для этого действенные шаги, неоднократно встречается с близко знавшим его П. А. Кропоткиным, по его словам, «государственником в лучшем смысле слова», поддерживает тесный контакт с Б. В. Савинковым. Весной 1918 года оформляется одна из наиболее сильных контрреволюционных организаций «Союз возрождения России», включившая в себя представителей левого фланга антибольшевистского фронта — энесов, правых эсеров, меньшевиков оборонцев, левых кадетов. Мельгунов занимает в союзе руководящее место: как и Н. Н. Щепкин, он является фактическим заместителем председателя союза В. А. Мякотина, а после отъезда последнего на юг становится одним из двух лидеров московской группы союза.

В условиях конспирации «Союз возрождения» налаживает переправку на Добровольческий юг офицеров, обзаводится своей военной организацией. После некоторых колебаний руководители союза приходят к мысли о целесообразности интервенции в страну союзников России по Антанте «для продолжения борьбы с немцами и воссоздания русской антибольшевицкой государственности». От союзнических миссий «Союз возрождения» получает на развертывание своей деятельности более 1 миллиона рублей, часть из которых была переправлена в Добровольческую армию, другая часть — 300 тысяч рублей — была лично передана Мельгуновым Савинкову.

До поры до времени в ЧК об этой активности известного историка не ведают вовсе: на виду его работа в качестве руководителя «Задруги» и редактора «Голоса минувшего». В этих условиях первый арест Мельгунова, произошедший в ночь на 1 сентября 1918 г., сразу же после покуше-

ния на Ленина и убийства Урицкого Л. Каннегисером (он назвал себя энесом, что не могло не отягчать дальнейшей судьбы руководителей этой партии, в том числе Мельгунова), был лишь ярким проявлением того «истерического террора», когда в ответ на посягательство на жизнь вождей революции без разбора арестовывали и расстреливали почти исключительно совершенно невинных людей. Мельгунов попадает на Лубянку, 11, в помещение бывшего страхового общества «Якорь», в это, по его словам, «царство латышей! и притом латышей, почти не говоривших по-русски», а затем в Бутырку. Здесь ему пришлось испытать на себе не только жуткие бытовые тягости (в камере на 100 человек было утрамбовано 300), но и пытки бессонных ночей, когда то одного, то другого соседа уводили на расстрел, и думалось, что следующим будешь ты сам.

Однажды ночью в камерной двери в очередной раз лязгнул ключ, сердце замерло, и наш герой действительно услышал то, чего боялся: «Мельгунов здесь? Без вещей по городу». По тогдашней тюремной терминологии, это означало расстрел, но вскоре выяснилось, что это также один из приемов чекистов лучше подготовить арестованного к допросу, который провел заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией Н. А. Скрыпник. Когда же Мельгунов вернулся в тюрьму, его сокамерники были немало удивлены: быстро разнесшаяся по Бутырке молва уже похоронила историка, и хорошо хоть она не вышла за стены тюрьмы и не донеслась до его жены.

В октябре 1918 года у Сергея Петровича состоялась удивительная встреча с самим Ф. Э. Дзержинским. Предоставим историку слово: «Я... встретил простого, средней руки провинциального интеллигента. И как это ни странно, очень скоро роли наши как бы переменились. В обличительных тонах стал выступать допрашиваемый. И, видимо, слова о мерзости красного террора, о массовых убийствах, якобы произведенных по требованию возмущенных московских рабочих, о бессмысленности расстрела представителей «старого режима» за покушение социалистки еще больно задевали новоявленного чекиста, не успевшего скинуть целиком одеяния старого революционера. Чекистская тога не покрывала еще остатков совести и разума бывшего польского соц.-демократа. Взбудораженный, он бегал по комнате, и я ухитрился в это время из обвинительного досье, лежавшего на столе, незаметно взять документ, уличавший моих друзей в «контрреволюционных» замыслах. Взволнованный Дзержинский даже этого не заметил. Слова о крови били еще по его нервам. Не все человеческое было ему таким образом чуждо. Он, конечно, сознавал, что сентябрьская резня (террор в сентябре 1918 г. — *С. Д.*) вовсе не вызвана требованием населения и что она отнюдь не являлась попыткой «разумно (?!) направить карающую руку освобожденных и раскрепощенных рабочих масс». Так утверждал впоследствии (записка 1922 г.) Дзержинский».

В конце бурной трехчасовой беседы председатель ВЧК заявил, что Мельгунов будет освобожден тотчас же, без возвращения в тюрьму, так как за него поручился большевик П. Г. Дауге. «Провожая меня в коридор,— вспоминал историк,— Дзержинский спросил: не поинтересуюсь ли я узнать, кто второй из коммунистов поручился за меня (полагалось два поручительства), и сказал: «я»! Последовала молчаливая сцена, так как я решительно не знал, что следовало сказать по этому поводу. Для Дзержинского это был красивый жест!»

Позднее выяснилось, что за Мельгунова хлопотали также коммунисты В. Д. Бонч-Бруевич, П. М. Керженцев, В. Н. Подбельский, В. М. Фриче, Д. Б. Рязанов, А. В. Луначарский, К. И. Ландер: в их глазах он представлялся еще близким им по духу социалистом. Однако не прошло и десяти дней, как историк вновь оказался на полтора месяца в Бутырке. Получив уведомление о необходимости получить в ЧК отобранные при аресте вещи, ничего не подозревая, он пришел на Лубянку и был вновь арестован по ордеру, подписанному Я. Х. Петерсом. Оказалось, что еще на допросах Петерс сильно невзлюбил Мельгунова, подозревая его в причастности к заговору Локкарта, и, как только Дзержинский уехал в командировку, тут же распорядился арестовать «заговорщика». В судьбу опального историка опять пришлось вмешиваться «сильным мира сего» в лице Х. Г. Раковского, к которому с письмом обратился хорошо знавший Мельгунова и высоко ценивший его В. Г. Короленко. Показательно, что именно Мельгунов сыграл позднее видную роль в публикации после смерти писателя в Париже, в заграничном отделе издательства «Задруга», его известных писем к А. В. Луначарскому.

В третий раз Мельгунов был арестован в марте 1919 года по ордеру Особого отдела ВЧК и выпущен всего лишь через десять дней под поручительство И. И. Скворцова-Степанова и П. М. Керженцева. Однако за это время с историком произошли два довольно любопытных инцидента.

Когда Мельгунова пришли арестовывать чекисты, для упрощения этой процедуры он предложил комиссару не проводить обыск всего его огромного архива и библиотеки, а просто опечатать несколько комнат. Тот, поколебавшись, согласился, но у него не оказалось с собой печати, хотя сургуч был. И здесь историк сделал опрометчивый шаг, предложив опечатать комнаты находившейся у него печатью масонской ложи «Астрея», возникшей в Москве в 1907 г. Так и поступили, но печать комиссар вдруг решил забрать с собой. «Я никак не мог себе представить,— писал Мельгунов позднее,— что из-за этого может разгореться целый сыр-бор. В Особом отделе решили, что эта печать современной ложи, с которой я имею какие-то таинственные связи. Заподозрено было и нахождение у меня многих масонских знаков. Мне пришлось разъяснять; жене моей пришлось привезти два тома, изданных под моей и Н. П. Сидорова редакцией, «Масонство в прошлом и настоящем», чтобы доказать, что у меня имеется к ма-

соисту обычный литературно-научный интерес».

Волны от этого пустякового, казалось бы, случая расходились еще долго, давая чекистам пищу для утверждений, что в белогвардейском лагере действуют масоны. Что касается самого Мельгунова, то он никогда масоном не был. В своих книгах и статьях историк неоднократно писал о попытках вовлечь его в масонские ложи (разговоры на эту тему с ним вел сам А. Ф. Керенский), не вызывавшие у него никакого доверия. «Я считаю вредным облечение подобными формами деятельности русской оппозиции»,— признавался Мельгунов.

Однако зададимся каверзным вопросом: откуда это большевики, в частности чекисты, были так сведущи в масонской символике, распознав в печати, изъятой у Мельгунова, откровения «вольных каменщиков»? Не мерцает ли здесь одна из скрытых пока от исторического взгляда тайн большевиков? Допросы Мельгунова по масонским делам вел начальник Особого отдела ВЧК М. С. Кедров, кстати говоря, несколько лет проведший в эмиграции. Как подчеркивал историк, «Кедров больше всего интересовался разгадкой, существует ли теперь масонство в России или нет».

С Кедровым связано и другое неожиданное приключение, пережитое в ЧК Мельгуновым. Однажды на допросе к начальнику Особого отдела принесли кипу каких-то документов. Историк поинтересовался, что это за документы, и получил ответ, что это бумаги одной из местных организаций партии эсеров и что в ЧК часто попадают еще более интересные документальные материалы. Например, недавно поступил архив из могилевской Ставки Николая II как Верховного главнокомандующего. У Мельгунова мелькнула дикая мысль, и он попросил Кедрова ознакомиться с этим архивом. Немного подумав, чекист ответил: «Хорошо. Вы получите документы на одну ночь при условии никому их не показывать».

И вот Мельгунов всю ночь при электрическом свете в камере, где содержалось 15 человек, знакомился и делал выписки с официальной и полуофициальной переписки Ставки, переговоров по прямому проводу, автографов Николая II. Здесь им и был обнаружен, в частности, уникальный документ о гарантиях для себя и своей семьи, которые требовал император от Временного правительства во время своего отречения (позднее этот документ был опубликован историком за границей). На следующий день Кедров заявил, что он хочет издать архив Ставки, и спросил, не поможет ли ему в этом Мельгунов. Тот ответил категорическим отказом: «С большевиками невозможна никакая совместная работа».

Выйдя на свободу, Мельгунов неотступно ждал нового ареста, его все сильнее стали изматывать постоянные обыски. «С лета 1919 года мы все ходили под угрозой...— писал он впоследствии.— Мы продолжали свое дело. Жили легально и, может быть, даже слишком беспечно и открыто». В это время чекисты уже вышли на след «Союза возрождения» и других контрреволюционных организаций. 29 августа 1919 года был арестован Н. Н. Щепкин. Узнав об этом, Мельгунов решил срочно уехать с женой в деревню под Серпухов, и сделал это не напрасно: дважды его приезжали арестовывать на московскую квартиру, оставив там на 6 недель засаду. Начались полгода мучительной нелегальной жизни: историку пришлось изменить внешность, поменять паспорт, преобразиться в бухгалтера и переезжать с женой с места на место. В конце концов «прятание по углам» надоело, и Мельгунов через знакомых большевиков, в том числе Л. Б. Каменева и Д. Б. Рязанова, попросил узнать, можно ли ему безопасно для себя выйти из подполья. Получив положительный ответ, он вернулся в середине февраля 1920 года в свою квартиру и... был тут же арестован.

Арест произвел особоуполномоченный Особого отдела ВЧК Я. С. Агранов. Как вспоминала жена историка П. Е. Мельгунова, «он был очень эффектен: шлем на голове с спускающейся на плечи кольчугой, весь до зубов вооруженный, за ним два солдата стукнули об пол прикладами». Сразу чувствовалось, что дело намного серьезнее, чем при предыдущих арестах. П. Е. Мельгунова скоро узнала от знакомых об отзыве на сей счет наркома юстиции Д. И. Курского: «Дело плохо, не исключена возможность военного суда, тогда грозит расстрел, возможна тоже ликвидация дела прямо Особым отделом, это еще хуже». Прасковья Евгеньевна кинулась искать заступничества у кого можно, написала письмо В. Г. Короленко, но все было тщетно.

Теперь оснований для пребывания Мельгунова в тюрьме чекисты видели предостаточно. Вот выдержка из характеристики на него, представленной Аграновым Дзержинскому 19 марта 1920 года: «С. П. Мельгунов является руководителем и идейным «вождем» Союза возрождения, центром которого была Москва... Мельгунов, несомненно, является одним из самых активных врагов пролетарской революции. Бешеная ненависть его к Советской власти и коммунистической партии, его чрезвычайная непримиримость поражает даже его друзей по заговору, таких убежденных монархистов, как О. П. Герасимов, кн. С. Е. Трубецкой и др. ... Мельгунов убежден в неизбежном для Советской власти в ближайшем будущем 9-м Термидоре и в этом духе настраивает своих товарищей по камере».

На этот раз Мельгунову суждено было пробыть в заключении целый год: полгода в одиночках внутренней тюрьмы Особого отдела ВЧК и полгода в Бутырке. Как раз в это время заканчивалось становление новой тюремной системы, явившейся, по словам историка, «уже продуктом коммунистического творчества», и он в итоге стал свидетелем всех этапов развития этой системы, начиная от первых ее робких шагов в 1918 году, когда действовала еще традиция старого режима. Однако опыт, пережитый им, имел и свои особенности. Как признавался Мельгунов, «я был всегда в тюрьме «привилегированным». Писатель-демократ, так или иначе числившийся в социалистических рядах, имевший достаточные личные связи по своему прошлому с теми, кто стоял у верхов власти, неизбежно попадал в несколько другое положение, чем всякий иной тюремный обитатель». Главная привилегия историка состояла, по его словам, в том, что большевики «всегда давали возможность работать, допуская широко передачу книг и письменных принадлежностей. Единственно, за что я могу чувствовать к ним хоть некоторую благодарность».

Трудно поверить, но Мельгунов умудрился написать в одиночном заключении большую работу о Великой французской революции, так и оставшуюся неизданной, воспоминания о своей жизни до мировой войны, целый ряд мелких статей и заметок. Позднее, в эмиграции, он опубликовал часть написанного с пометкой «Камера 33. Внутренняя тюрьма Особого отдела ВЧК».

Тем временем страсти вокруг Мельгунова и других арестованных почти одновременно с ним разгорались действительно нешуточные. Проводивший следствие Я. С. Агранов с первых шагов разбирательства увидел уникальную возможность развития дела в сторону широкомасштабного процесса, и этот процесс через полгода действительно состоялся. Он вошел в историю как процесс по делу так называемого «Тактического центра» и представлял собой самый крупный политический процесс первых лет Советской власти.

Нити этого процесса вели в август 1919 года, когда чекисты вышли на след контрреволюционной организации «Национальный центр», состоявшей преимущественно из кадетов. В. И. Ленин перед началом операции по аресту руководителей центра дал указание Ф. Э. Дзержинскому обратить на операцию «с у г у б о е внимание. Быстро и энергично и п о ш и р е надо захватить» (Ленинский сборник XXXVII, с. 167). «Захватили» действительно «широко» — около 700 человек, в том числе бывшего члена Государственной думы, кадета, председателя «Национального центра» Н. Н. Щепкина, внука знаменитого актера, руководившего также наряду с Мельгуновым «Союзом возрождения». Недолгое следствие выявило, что помимо «Национального центра» в стране действуют и другие антибольшевистские организации — известный нам «Союз возрождения» и «Совет общественных деятелей», объединявший представителей правых политических сил. Но состав этих организаций остался тогда неизвестен, дело «Национального центра» было фактически закрыто, окончившись расстрелом без судебного разбирательства многих обвиняемых (около 150 человек), в том числе Н. Н. Щепкина.

Однако в феврале 1920 года ЧК были арестованы член коллегии Главтопа Н. Н. Виноградский и профессор С. А. Котляревский, которые дали самые откровенные показания о деятельности всех контрреволюционных организаций и их руководящих лицах, среди которых фигурировало и имя С. П. Мельгунова. Виноградский даже сообщил о том, где скрывался Мельгунов, каковы его финансовые дела и что у него есть «потайной архив». Самое же главное в показаниях двух арестованных заключалось в их сообщении, что примерно с апреля по сентябрь 1919 года в Москве действовал так называемый «Тактический центр», объединивший контрреволюционные организации. В него входили от «Национального центра» — Н. Н. Щепкин, О. П. Герасимов и С. Е. Трубецкой, от «Совета общественных деятелей» — Д. М. Щепкин и С. М. Леонтьев, а от «Союза возрождения» — тот же Н. Н. Щепкин и С. П. Мельгунов. Получалось, что «Тактический центр» выступал в роли «высшего органа», руководившего деятельностью чуть ли не всего контрреволюционного подполья. Такая находка сулила чекистам невиданные перспективы.

На основании важных показаний вновь «захватили» довольно густо. За решеткой оказались все руководители «Тактического центра», за исключением расстрелянного Н. Н. Щепкина. Чудеса изворотливости проявил Агранов, отрабатывая, по сути, первый сценарий подготовки громкого политического процесса, который затем десятки раз брался за основу в 20-е и 30-е годы. Основными кирпичиками, составляющими этот сценарий, стали явные провокационные действия следователя, использование им информации доносчиков, упор на собственные признания обвиняемых, а не на документы, выбивание раскаяния и покаяния подсудимых самыми различными приемами.

Агранов использовал в роли «наседки» предателя Н. Н. Виноградского, который поочередно переводился из камеры в камеру и подробнейшим образом доносил обо всех своих откровенных разговорах с обвиняемыми. Уже на первом допросе Мельгунов был поражен удивительной «ласковостью», уважительностью следователя и его знанием самых мелких деталей расследуемого дела. Предъявив историку показания Н. Н. Виноградского и С. А. Котляревского, Агранов уверял его, что дело это «чисто историческое» и оно не может иметь каких-либо последствий, что большевики проявляют теперь гуманизм, и поэтому Мельгунова с его друзьями ждет вскоре амнистия. Нужно только дать показания. Такой же тактики следователь придерживался и с другими обвиняемыми, и, как ни странно, эта незамысловатая тактика «сработала».

А. И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ», рассказывая о деле «Тактического центра», обращал внимание на то, как «легко попадалась на чекистский крючок и сдавалась и гибла русская интеллигенция», оказавшаяся неподготовленной к встрече с изощренным механизмом следственной машины ВЧК. Упомянул он и о самом Мельгунове, что тот «без юмора ставит в упрек следователю Якову Агранову... *обман* его и других подследственных, ловкое дураченье, о котором он считает, что «большего издевательства надо мною быть не могло»... И Мельгунов, столь проницательно потом объяснявший немало исторических лиц русской революции, тут сам легко попадается: подтверждает участие в «Союзе возрождения» тех

лиц, которые как будто уже прояснились из письменных показаний, ему предъявленных. И вообще «стал давать более или менее связные показания» — как рассказ, без выделения следовательских вопросов».

В воспоминаниях, на которые ссылался Солженицын, Мельгунов прямо признавался в своей собственной ошибке и ошибке других обвиняемых: «Так простоваты оказались мы...» Он объяснял свое поведение следующим образом: «Все будущие участники процесса во время предварительного следствия не держались тактики молчания, и не только о себе, но и о других... После первого допроса у меня было тяжелое раздумье о том, как поступить и как себя держать на следствии. Но дело действительно было уже в полном смысле исторически: приходилось нести ответственность за прошлое, не действенное в настоящем. Следователь знал все, что мог я ему показать с фактической стороны. Казалось поэтому, что принципиальным неговорением я без нужды отягчаю свою судьбу и, может быть, судьбу других, не склонных, как я видел, занять позицию отрицания... Когда стоишь перед возможностью расстрела, не всегда думаешь об истории. Может быть, просто во мне недостаточно было того чувства революционного сознания, которое диктует поведение на суде».

Справедливости ради следует подчеркнуть, что в своих показаниях, часть из которых вошла в «Красную книгу ВЧК» (т. 2, М., 1920), переизданную в 1990 г., Мельгунов повторил лишь факты уже известные следствию, не назвал никаких новых имен, всячески принижал роль «Союза возрождения» («Маленькое внутреннее удовлетворение дает сознание, что власть так и не узнала о составе «Союза возрождения» и его реальной деятельности», — писал он позднее) и разбивал главный козырь следствия о «Тактическом центре». Он утверждал, что организации с таким названием, «с особой какой-то платформой, тактикой, отдельной деятельностью», этакого центрального «заговорщического центра» вообще не было, а были лишь несколько нерегулярных встреч представителей трех организаций: «Предполагалось, что представители групп будут здесь передавать точки зрения своих групп для осведомления и для передачи на обсуждение групп. Никаких решений здесь принимаемо не могло быть, да и фактически не принималось. Все сводилось, в сущности, к информации...»

Такие показания путали Агранову все карты. И он прибег к крайнему средству воздействия на историка — аресту его жены, якобы замешанной в контрреволюционной деятельности. Мельгунов объявил в качестве протеста голодовку, которую продолжал 17 дней. Как вспоминала П. Е. Мельгунова, «на семнадцатый день его вызвал Ягода, который в это время быстро поднимался по служебной лестнице и был на ножах с Аграновым. С. П. еле дотащился к нему. Спросив о причинах голодовки, о которых он якобы не знал, Ягода дал слово освободить меня, прислал к С. П. врача и взял с него обещание кончить голодовку». Жена историка была выпущена на свободу, а он сам в силу чрезвычайно ослабленного состояния (температура его тела упала до 34°, сильно отекли ноги) был помещен в лечебный изолятор Бутырки.

Лопнула в конце концов и другая провокация Агранова в отношении Мельгунова. Во время обыска на квартире историка было обнаружено большое количество карточек с подробными сведениями о жизни и деятельности различных участников революционного движения в России, в том числе большевиков. Следователь попытался представить эти карточки как свидетельство того, что Мельгунов и его единомышленники составляли списки коммунистов, подлежащих уничтожению или в результате террористических актов, или после свержения Советской власти. Мельгунову стоило огромного труда доказать затем на суде, что это всего лишь подготовительные материалы к «Словарю революционных деятелей», задуманному им еще в марте 1917 года и готовившемуся легально к изданию в «Задруге». Позднее, во время пятого ареста историка, у него были обнаружены в ряду других фотографии, запечатлевшие Ф. Э. Дзержинского с чекистами, что послужило поводом для разработки особой версии о якобы подготовлявшемся Мельгуновым покушении на председателя ВЧК. Однако и этот замысел, к счастью, тоже скоро лопнул.

Из самого краткого описания следствия по делу «Тактического центра» уже вырисовывается зловещая фигура чекиста Якова Сауловича (по некоторым данным Соломоновича) Агранова (настоящая фамилия Сорендзон), стоявшего в ряду виртуозов следственных дел, долгие годы набивавших руку на провокационных приемах и откровенных фальсификациях. Следующей удачей Агранова стало «таганцевское дело» 1921 года. Арестованный профессор В. Н. Таганцев 45 дней хранил полное молчание, но затем Агранов уговорил его подписать с ним соглашение, согласно которому подследственный должен был дать самые полные показания о деятельности его группы и всех ее участников, а следователь обязался быстро завершить следствие, передать дело в гласный суд и гарантировал, что «ни к кому из обвиняемых не будет применена высшая мера наказания». В результате по «таганцевскому делу»... без суда было расстреляно в три приема 61, 18 и 8 человек, в том числе и Н. С. Гумилев, которого Агранов допрашивал лично.

Любопытно, что, работая с 1919 года в ВЧК, Агранов был одновременно секретарем Совета Народных Комиссаров и так называемого Малого СНК: его подпись стоит под многими постановлениями вместе с подписью В. И. Ленина. Дальнейшими вехами служебной карьеры Агранова, дотянувшего в 1935 году даже до поста первого заместителя наркома внутренних дел, стали расследование им обстоятельств антоновского мятежа на Тамбовщине, дела ЦК правых эсеров и дела Я. Блюмкина, подготовка процессов по делам «Промпартии» и «Трудовой крестьянской партии», виртуозные допросы убийцы Кирова Л. Николаева, руководство работой по разоблачению и осуждению «врагов народа» Л. Б. Каменева, Г. Е. Зиновьева, Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, М. Н. Тухачевского и многих других. Как видим, рука одного и того же режиссера-постановщика тянется от первого громкого политического процесса по делу «Тактического центра» до череды сногсшибательных процессов 1936—1938 годов. Какая показательная, тесная связь времен!

Агранов долгое время специализировался на ловле именно интеллигентских заблудших душ, и нетрудно догадаться, почему его постоянно «тянуло» к литературно-богемным кругам. Он считался приятелем многих доверчивых писателей, начиная от Б. Пильняка и кончая В. Маяковским. Тень изворотливого чекиста ставила зловещую точку в судьбах сотен людей (успешная попытка выяснить причастность Агранова к убийству Маяковского была недавно предпринята В. Скорятиным в «Журналисте», 1990, №№ 1, 2, 5), пока он сам не был в августе 1938 года осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в «контрреволюционной деятельности» и не отправлен вслед за своими бывшими подопечными. В 1955 году при проверке дела Агранова Главная военная прокуратура не нашла оснований для его реабилитации ввиду того, что он допускал систематические нарушения социалистической законности. Может быть, сегодня стараниями «Мемориала» эта «жертва» сталинского террора все же будет реабилитирована? Кто знает...

С 16 по 20 августа 1920 года большая аудитория Политехнического музея в Москве представляла невиданное зрелище: здесь слушанием дела «Тактического центра» фактически открывалась целая эпоха публично-показательных процессов над врагами Советской власти. «Сама уже зала с красным сукном, с толпящимися везде чекистами, солдатами ВОХРы в шишаках производила впечатление», — вспоминала П. Е. Мельгунова. Дело рассматривалось Верховным революционным трибуналом в составе 3-х судей и двух их заместителей (четверо из пяти — чекисты) под председательством Н. К. Ксенофонтова. Обвинение поддерживал сам «огненный» революционер и трибун Н. В. Крыленко. На скамье подсудимых 28 человек: помимо 4-х руководителей «Тактического центра» (О. П. Герасимов умер в тюрьме во время следствия) — Д. М. Щепкина, С. М. Леонтьева, С. Е. Трубецкого и С. П. Мельгунова — широко известные в России профессора Н. К. Кольцов, В. М. Устинов, Г. В. Сергиевский, В. С. Муралевич, П. Н. Каптерев, общественные деятели В. Н. Муравьев, Н. М. Кишкин, Д. Д. Протопопов, С. Д. Урусов, В. Н. Розанов, экономист и кооператор Н. Д. Кондратьев, фабрикант С. А. Морозов, дочь Л. Н. Толстого А. Л. Толстая и другие.

Как писал Мельгунов, «весь процесс был построен на песке» прежде всего потому, что, кроме показаний обвиняемых, в деле не оказалось никаких улик, «ни одного документа». Но это не смущало главного обвинителя, который уверял, что подсудимые должны были «лечь костьми» за Советскую власть и что всякая иная мысль есть «мысль о государственной измене». «И даже если бы... обвиняемые здесь, в Москве, не ударили бы пальцем о палец,— говорил он,— все равно: в момент ожесточенной борьбы... даже разговоры за чашкой чаю (А. Л. Толстая лишь ставила самовар и подавала этот чай «заговорщикам» на своей квартире.— *С. Д.*) о том, какой строй должен сменить падающую якобы Советскую власть, являются контрреволюционным актом... Во время гражданской войны преступно не только всякое действие, всякий шаг, подготовляющий реставрацию иного порядка... преступно само бездействие».

Позднее Крыленко утверждал, что на процессе проявилось «полное раскаяние» и «сплошное самобичевание» подсудимых, однако он забыл отметить, что каялась и самобичевала себя, признавая Советскую власть, лишь часть обвиняемых: Н. Н. Виноградский, С. А. Котляревский (сразу же после суда они оказались на свободе и были прекрасно устроены на советской службе), а также С. Д. Урусов, В. М. Устинов, В. С. Муралевич, Г. В. Сергиевский, М. С. Фельдштейн и Н. Д. Кондратьев. Другие вели себя достойно и сдержанно. «Очень смело держалась Александра Львовна, погубившая себя последним словом, в котором заявила, что, будучи последовательницей отца, суда не признает и считает его насилием, особенно большевицкий суд»,— писала о дочери великого писателя, получившей три года концлагеря, П. Е. Мельгунова.

То же самое можно сказать о поведении на суде и самого Мельгунова, оказавшегося центральной фигурой процесса. Он справедливо писал позднее о своих выступлениях в зале суда, что «ни искренних, ни неискренних потоков раскаяния, которые видел Крыленко в устах многих подсудимых, ни каких-то заявлений «о переломе своих убеждений» — там нет». Вот показательная выдержка на этот счет из стенографического отчета суда:

«К р ы л е н к о. ...Я формулирую так, что вы не можете примириться с данной формой власти и что она должна быть так или иначе уничтожена, сметена и заменена другой.

М е л ь г у н о в. Всякая власть демократическая будет для меня более приемлема, чем советская власть.

К р ы л е н к о. И в тех условиях, в которых вам приходилось действовать во второй половине 1920 г., вы считали, что все из окружавших и боровшихся с советской властью более приемлемы?

М е л ь г у н о в. Нет, потому что, когда я стал узнавать, что при Деникинской власти начался белый террор, то для меня он не был тоже приемлем. Может быть, органически я к красному террору относился более враждебно. Я не принадлежу к тем людям, которые думают, что советская власть может существовать длительный период, и если вы ставите дилемму: генералы или советская власть,— то я такой дилеммы не ставил: для меня никакая реакционная власть не приемлема.

Крыленко. Практически перед вами стояла дилемма: советская власть, Колчаковская или Деникинская власть.

Мельгунов. Я в своих показаниях сказал, что я считал, что всякая политическвя власть будет лучше советской прежде всего с той точки зрения, что политически ее свергнуть будет гораздо легче».

Особенно откровенно, «без сомнений и страхов», Мельгунов сказал все, что хотел, в своем последнем слове, когда Крыленко уже потребовал для руководящей «четверки» «Тактического центра» расстрела. Он предсказал большевикам термидор и выразил свою глубокую веру в их окончательную гибель.

Ждать оставалось только самого худшего. Готовясь к смерти и не желая быть расстрелянным, Мельгунов попросил жену принести ему яд. Прасковья Евгеньевна нашла возможность передать мужу крошечный флакончик с цианистым калием во время краткого свидания в перерыве между заседаниями суда. Но в ход событий вмешался его величество случай, припрятанный яд, к счастью, не потребовался, и на алтарь революции не была принесена еще одна жертва, которая могла лишить нас всего написанного впоследствии крупным историком, лишить так же, как мы лишились того, что подарил бы русской поэзии талант расстрелянного на творческом взлете Н. С. Гумилева.

Спасло обреченных счастливое стечение обстоятельств: дни процесса совпали с успехами Красной Армии, рвавшейся к Варшаве и готовой разжечь пожар мировой революции в Европе. В последний день процесса на нем в качестве своеобразного свидетеля выступил Л. Д. Троцкий. Завершая свою пылкую речь, он торжественно заявил, что «завтра Варшава будет взята», и, указав театральным жестом в сторону «четверки», закончил: «А эти нам теперь уже не страшны». В итоге Верховный революционный трибунал приговорил членов «четверки», в том числе Мельгунова, к расстрелу, но, принимая во внимание целый ряд обстоятельств, тут же постановил заменить им расстрел 10 годами тюремного заключения. Остальные подсудимые получили меньшие сроки заключения, часть из них была освобождена по амнистии или наказана условно.

Все пережитое и увиденное Мельгуновым на суде оставило у него горестные впечатления. Он вспомнил о своем опыте в 1931 году, когда в Париж из России донеслись вести о показательных процессах по делам «Промпартии» и «Союзного бюро меньшевиков», во время которых опять зазвучали покаянные речи многих подсудимых. Историк написал статью, в которой задался вопросом: «зачем большевики ставят» эти фальсифицированные, надуманные процессы? «Мне кажется, что всякий, хоть раз непосредственно столкнувшийся с советским «правосудием», с «революционной» судебной совестью чекистов, заседающих в трибуналах, неизбежно должен превратиться в Фому Неверного,— подчеркивал он в статье.— По своему опыту по делу «Тактического центра» лично я склонен не доверять ни одному слову официальных судебных отчетов. Фарс и трагедия переплетаются между собой. Когда читаешь показания подсудимых и их реплики на комедийном действии, именуемом большевицким судом, кажется, что между властью и подсудимыми осуществлен какой-то закулисный заговор. Власти нужен, по каким-то особым соображениям, этот «показательный» процесс, и подсудимые сознательно пошли «на клевету» на самих себя, приписывая себе действия, которые они совершать не могли. Покупают себе этим жизнь? Советское «правосудие», действительно, имеет одну своеобразную черту. Любой обвиненный в сознательном вредительстве и приговоренный даже к расстрелу через очень короткое время может оказаться на свободе, на своем старом посту и вновь с тем же успехом заниматься «вредительством»...»

Потекли месяцы заключения Мельгунова по установленному сроку, но за него стали хлопотать многие, и особенно активно В. Н. Фигнер, представлявшая Политический Красный Крест. Обеспокоен был судьбой историка и П. А. Кропоткин. Последнее, что он написал за несколько дней до смерти, было его обращение во ВЦИК о необходимости освободить Мельгунова для научных занятий. С таким же ходатайством во ВЦИК обратилась Академия наук. И вот 13 февраля 1921 года в воскресный день торжественных похорон вождя русских анархистов, в момент, когда процессия проходила мимо Бутырской тюрьмы, ее ворота распахнулись, и Мельгунов вышел на свободу.

Однако через год и три месяца, в конце мая 1922 года, историк был арестован снова в связи с процессом над руководителями партии эсеров, где он должен был дать показания как «свидетель». Но... боясь нежелательных выпадов со стороны Мельгунова, устроители процесса слова ему так и не дали, продолжая тем не менее держать историка в тюрьме.

Пока тянулся эсеровский процесс, в обеих столицах для высылки за границу формировались пространные списки неугодных Советской власти представителей интеллигенции — ученых, писателей, общественных деятелей, составлявших цвет образованных кругов России. Почти все из них ранее преследовались пролетарской властью, успели посидеть даже по нескольку раз в тюрьмах, подвергались угрозе расстрела. Вопрос о необходимости более широкого использования высылки за границу был поставлен В. И. Лениным в мае 1922 года при разработке Уголовного кодекса РСФСР. «По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)»,— писал он по этому поводу Д. И. Курскому (Ленин В. И., Полн. собр. соч., т. 45, с. 189). Претенденты на высылку определялись еще с февраля 1922 года, когда по указанию Ленина была начата с участием ВЧК массовая проверка на «контрреволюционность» издательств, периодических изданий, их авторов и сотрудников (там же, т. 54, с. 155—156, 198; Ленинский сборник XXXIX, с. 426). 19 мая 1922 года Ленин писал Дзержинскому: «К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу обсудить такие меры подготовки... Обязать членов Политбюро уделять 2—3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг... Собрать *систематические* сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей.

Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ». (Ленин В. И., Полн. собр. соч., т. 54, с. 265—266).

Видимо, дело поручили действительно «толковым» людям типа Агранова, и оно пошло быстро. К осени списки перевалили за две сотни имен, но, как сумела выяснить В. Н. Фигнер, в них не оказалось Мельгунова, так как он находился в данное время в тюрьме, а не на свободе. Пришлось испрашивать в ЧК «великую милость» включить историка в списки на изгнание. По этому поводу Мельгунова вызвал к себе В. Р. Менжинский. Как вспоминала жена Сергея Петровича, «Менжинский прямо сказал С. П., что большинство коллегии ГПУ за его высылку в Чердынь Пермской губернии (на дальний север). «Мы вас выпустим,— сказал он,— только с условием не возвращаться». «Вернусь через 2 года,— ответил С. П.,— вы больше не продержитесь». «Нет, я думаю, шесть лет еще пробудем». Потом Менжинский говорил о том, как хорошо понимает невыносимое существование С. П.: «Каждую ночь ждете звонка, да и работать вряд ли удается при таком количестве обысков. 20 у вас уже было? Все вверх дном, верно. Да, я вас понимаю»...

Накануне отъезда у выпущенного ненадолго из тюрьмы Мельгунова сделался острый приступ аппендицита. Из двух вариантов — уезжать в намеченный день или сделать операцию — историк выбрал первый: ГПУ могло во второй раз не разрешить выезд, и тогда пришлось бы ехать в Чердынь. Так и выпало покидать Родину больным и разбитым. Из Москвы выехали 10 октября 1922 года, а впереди ждали более 30 долгих лет жизни на чужбине.

Эмигрантский период в биографии Мельгунова, так же как и его «чекистская одиссея», достоин подробного описания. Однако в данной статье мы отметим лишь самые основные его вехи.

Поселившись в Варшаве, затем в Берлине, Мельгунов включается в бурную жизнь русского зарубежья, проявляя ту же широту интересов, энергичность и последовательность, что и в России. Уже весной 1923 года по его инициативе в Берлине было создано издательство «Ватага», явившееся как бы заграничным наследником закрытой в СССР «Задруги». Оно приступило к изданию историко-литературных сборников «На чужой стороне», редактировавшихся Мельгуновым и продолжавших традиции «Голоса минувшего». Финансовые затруднения позволили издать в Берлине только 9 томов сборника, остальные 4 тома были выпущены издательством «Пламя» в Праге, куда в 1925 году переехал Мельгунов. В 1926 году историк живет уже в Париже, где начинает выпуск под своей редакцией «журнала истории и истории литературы» под названием «Голос минувшего на чужой стороне». Проживая затем безвыездно во Франции вплоть до смерти в 1956 году, он участвует также в издании и редактировании журналов «Борьба за Россию», «Возрождение» и «Русский демократ».

Свою политическую активность Мельгунов направляет на объединение различных групп русской эмиграции для совместной борьбы с большевиками. Одно время он стоял даже во главе особой эмигрантской политической организации «Координационный центр». Но эта деятельность явного успеха не имела, как не давали ощутимых результатов и попытки сплотить эмиграцию, предпринимавшиеся другими политиками.

Главное же, что поглощало на чужбине силы и время Мельгунова, были его ежедневные, из года в год, занятия историей. Отбросив почти все свои старые увлечения, историк сосредоточивается исключительно на исследовании нескольких лет «русской смуты» XX века, выполняя данный себе еще в 1920 году зарок. В доносах провокатора Н. Н. Виноградского об этом зароке сказано следующее: «Мельгунов постоянно заявляет, что после выхода из тюрьмы он направит все свои силы, как историка, к тому, чтобы большевики не вошли с хорошим именем в историю. Для того у него уже имеется материал, и материалы он постоянно будет собирать!!!»

Начал историк с обращения к теме красного террора. За первые же статьи на эту тему через год после высылки из России он был официально решением ВЦИК лишен советского гражданства, в Москве был конфискован весь его личный архив и огромная библиотека, переданные в распоряжение Коммунистической Академии. Путь на Родину оказался отрезанным навсегда.

В последующие годы из-под пера Мельгунова выходят одна за другой все новые и новые книги, одно перечисление которых впечатляет: «Красный террор в России. 1918—1923» (1923—1924), «Н. В. Чайковский в годы гражданской войны. Материалы для истории русской общественности» (1929), «Гражданская война в освещении П. Н. Милюкова. Критико-библиографический очерк» (1929), «Трагедия адмирала Колчака. Из истории гражданской войны на Волге, Урале и в Сибири» (4 т., 1930—1931), «На путях к дворцовому перевороту. Заговоры перед революцией 1917 года» (1931), «Российская контрреволюция. Методы и выводы генерала Головина» (1938), «Как большевики захватили власть. Октябрьский переворот 1917 года» (1939), «Золотой немецкий ключ большевиков» (1940), «Судьба императора Николая II после отречения. Историко-критические очерки» (1951), «Легенда о сепаратном мире. Канун революции» (1957), «Мартовские дни 1917 года» (1961), «Воспоминания и дневники» (2 т., 1964).

Рассказывать о содержании этих книг нет смысла, их следует читать и анализировать. Надеемся, что уже недалек тот день, когда они дойдут до советского читателя и предстанут перед ним как яркая, насыщенная живым дыханием времени почти

4000-страничная хроника мятежных лет, переломивших судьбу России. Эту хронику отличает богатейшее использование исторических источников, объективная оценка происходившего, публицистическое биение авторской мысли и чувства, увлекательность его творческого почерка.

Если же к книгам Мельгунова добавить сотни статей, заметок, рецензий, опубликованных им в эмиграции, его работу по изданию исторических материалов, то особенно наглядным станет тот титанический труд по осмыслению эпохи революционных бурь, который выпало осилить историку. Он всегда шел в исторической науке своим независимым путем, защищая истину и откровенно высказывая критические суждения о многих эмигрантских авторах, писавших на исторические темы (это касалось П. Н. Милюкова, А. Ф. Керенского, А. И. Деникина, Н. А. Бердяева, Н. Н. Суханова, сменовеховцев, многих невозвращенцев типа Ф. Ф. Раскольникова и т. д.). Такая непреклонность не могла не прибавлять историку недружелюбно настроенных критиков, но и одновременно не поднимать его авторитет в глазах читателей.

Все написанное Мельгуновым за годы изгнания позволяет без какого-либо преувеличения называть его крупнейшим историком русского зарубежья, именно историком, а не мемуаристом на исторические темы. Таких мемуаристов особенно много дала русская эмиграция, и ни один из них, даже профессиональный историк П. Н. Милюков, не может сравниться с Мельгуновым по широте, глубине и объективности написанного.

Обратимся теперь более подробно к первой книге, написанной Мельгуновым в эмиграции и представляемой ныне читателю (по причинам экономии журнального объема при публикации книги опущены лишь авторские предисловия и послесловия). К созданию ее историка подвигло прежде всего чрезвычайно поразившее его за границей стыдливое умолчание о красном терроре в России, присущее не только «демократической» общественности западных стран, но и значительной части русской эмиграции. В одной из статей Мельгунов призывал: «Современники обязаны во имя своей личной чести протестовать против клейма, которое накладывает на них молчание в дни ужасов. Жить в такую эпоху и молчать — значит принимать на себя моральную ответственность за совершающееся».

10 мая 1923 года в Лозанне белогвардейцем Конради был убит полпред СССР в Италии В. В. Воровский. Это событие и подготовка процесса над участниками убийства вызвали всплеск интереса к теме террора — белого и красного, ибо Конради представлял свой террористический акт как месть за разгул «большевистского насилия», а в СССР поднялась волна разоблачения клеветы о якобы «страшном» красном терроре и зазвучали голоса, призывавшие в ответ на убийство Воровского провести массовые расправы над оставшимися в стране контрреволюционерами. Мельгунов по просьбе Обера, защитника обвиняемых на лозаннском процессе, представил ему необходимый материал о красном терроре, явившийся конспектом будущей книги и косвенно способствовавший оправданию подсудимых.

Непосредственная работа над книгой заняла всего лишь несколько месяцев: уже в декабре 1923 года она была закончена и выпущена в свет в январе 1924 года издательством «Ватага». Книгу ждал редкий читательский успех, что побудило автора немного дополнить ее и выпустить вторым изданием в том же году. В СССР книга была встречена крайне враждебно (в ГПУ ее назвали «клеветнической») и сразу же попала в разряд самых запрещенных изданий. Впоследствии она была переиздана на русском языке еще дважды — в Нью-Йорке в 1979 и 1989 году издательствами «Brandy» и «Телекс».

Поспешность, с которой книга писалась, наложила на нее неизгладимый отпечаток. Во-первых, автор вынужден был отказаться от первоначального замысла составить работу о терроре из трех частей, посвященных общему историческому обзору проблемы, красному террору и террору белому. Это, конечно, не могло не сузить широту охвата историком сложной темы и не сделать более оголенной, а потому и более уязвимой основную политическую направленность его труда. Мельгунову так и не суждено было специально обратиться к белому террору, чтобы высветить вторую, может быть, менее бросающуюся в глаза, но также весьма существенную сторону кровавой медали ожесточенного классового противоборства в России.

Во-вторых, по признанию самого автора, книга получилась «не отделанной литературно» и «появилась в печати с этой стороны преждевременно». Однако у Мельгунова не было ни физических, ни моральных сил придать ей «надлежащую форму».

В-третьих,— и это главное,— книга не приобрела, по оценке автора, «характер исследования. Это только схема будущей работы; это как бы первая попытка сводки, далеко, быть может, неполной, имеющегося материала. Только эту цель и преследует моя книга». Мельгунов несколько раз подчеркивал, что он не хотел давать объяснений явлению красного террора, а лишь стремился восстановить его картину в возможно более полном виде: «Я избегал в своей работе ставить вопросы теоретического характера. Они безбрежны. Мне надо было прежде всего собрать факты».

Такая отличительная черта книги может рассматриваться как ее основной недостаток, но в то же время и как ее главное достоинство. До сегодняшнего дня (время здесь кардинально ничего не изменило) эта книга представляет собой самую полную сводку фактического материала по красному террору, складывающуюся в подробную хронику шестилетней протяженности. И именно это обстоятельство определяет значение издания книги в нашей стране, где тема красного террора предстает для историков и тем более для читателей буквально нетронутой целиной. Надеемся, что, попав на подготовленную почву, книга послужит появлению всходов новых исследований, посвященных дальнейшей разработке истории революционного насилия первых лет Советской власти.

Следует пояснить, что упор Мельгунова в своей работе именно на фактическую сторону дела был связан не только с нехваткой времени для теоретического осмысления безбрежного материала, но и с особенностями творческой манеры историка. Он всегда считал факты прочной основой исторической науки и скептически относился к тем философствованиям по поводу истории, которые были оторваны от реальной почвы. «Логические соображения никогда... не убеждают, если они не основаны на фактах». «Факты сами по себе остаются фактами, как ни разно они понимаются в исторических исследованиях, по неизбежности всегда субъективных»,— писал Мельгунов. Он признавал наивными суждения о том, будто историк может быть совершенно беспристрастным: «История — не летопись, и на страницах своего труда историк революции творит тот же суд над людьми и событиями, что и современник. С той же субъективностью подходит он к оценке событий близкого и далекого прошлого. Его политические и общественные взгляды кладут всегда более или менее яркий отпечаток на восприятие той бурной революционной эпохи, которая является предметом его анализа и повествования. И бесполезно поэтому требовать от историка отвлеченного объективизма... Объективность историка лежит в иной плоскости — в методах его работы. История обязывает к рассмотрению всей совокупности того материала, который может быть и распоряжении исследователя».

Следуя этому правилу, фактическое содержание своей книги Мельгунов черпал из самых разнообразных источников: материалов, собранных им в России, советской печати, обширной эмигрантской литературы, иностранных изданий. Отдельно в этом ряду стоят документы Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, учрежденной А. И. Деникиным 11 декабря 1918 года и работавшей до марта 1920 года. Позднее часть этих документов, не использованных в книге, историк издал в Берлине и Париже.

Естественно, что источники, привлекавшиеся автором, различны по своей достоверности. Почти не вызывают сомнений материалы, вышедшие из советского лагеря: официальные документы ЧК, сведения советской прессы, высказывания и мемуары видных большевиков и т. д. Что касается материалов, имеющих отношение к антибольшевистскому лагерю, то сам историк неоднократно высказывал свое критическое к ним отношение: «Я не могу взять ответственности за каждый факт мной приводимый»; «Все это данные, за полную точность которых, конечно, ручаться нельзя»; «Ошибки неизбежны были в отдельных конкретных случаях, субъективны были, как всегда, индивидуальные показания свидетелей и очевидцев...». Однако Мельгунов подчеркивал неправомерность на этом основании вовсе отбрасывать сведения, «идущие из стана политических противников большевиков». Во-первых, ввиду их чрезвычайной важности, а во-вторых, в силу того, что пока весь собранный в книге материал «не может быть подвергнут строгому критическому анализу — нет данных, нет возможности проверить во всем его достоверность».

Прошло уже семь десятилетий после описанных Мельгуновым событий, а дело не только не прояснилось, но стало, пожалуй, еще туманнее. С тех пор утеряно и уничтожено неизмеримо больше, чем в первое пятилетие после Октября, а многое так и продолжает лежать под спудом в секретных хранилищах, что не позволяет критически проанализировать все, вошедшее в книгу. В этой ситуации мы должны отдать должное ее автору за его скрупулезность в подборе фактов (в силу важности этого вопроса в публикации полностью сохранены все указания источников, данные Мельгуновым) и его стремление установить истину «путем некоторых сопоставлений». Как признавался историк, «я повсюду старался брать однородные сведения из источников разных политических направлений. Такая разнородность источников и однородность показаний сами по себе, как мне представляется, свидетельствуют о правдивости излагаемого».

Начиная свою книгу, Мельгунов выразил пожелание, чтобы у читателей «хватило мужества вчитаться в нее». И действительно, чтение этой книги, как в 1924 году, так и сегодня, требует изрядного мужества, ибо не может не потрясать и шокировать. Смелость, с которой автор обратился к кровавым перипетиям революции, можно объяснить словами В. Г. Короленко, вынесенными Мельгуновым в качестве эпиграфа к первому изданию книги: «Страшная правда, но ведь правда...» В этом отношении (так же, как и в некоторых других) работа историка имеет большое сходство с «Архипелагом ГУЛАГ» А. И. Солженицына.

Работу Мельгунова, как и исследование Солженицына, отличает самое резкое неприятие революционного насилия, самый строгий суд над проявлениями красного террора. Правда, первое произведение написано человеком, оставшимся, несмотря ни на что, социалистом, а второе — автором, сомневающимся в ценности социализма даже в качестве общечеловеческого идеала. Непримиримость оценок Мельгуновым красного террора как раз и объясняется во многом его возмущением по поводу дискредитации большевиками, сделавшими ставку на насилие, социалистического движения и социалистической мысли. Историка ужасно тяготило «пятно варварства», оставленное коммунистами на чистом облике многовековой мечты человечества, и он, как представитель одного из социалистических течений, чувствовал и свою собственную вину за случившееся. На этот счет Мельгунов откровенно высказался в своем заключительном слове на процессе по делу «Тактического центра»: «И красный и белый террор для меня ненавистны. Но красный террор для меня мучителен потому, что я социалист и косвенно принимаю ответственность за то, что здесь происходит». Позднее историк подчеркивал, что красный террор для него более

омерзителен, чем белый, так как он творится «под знаменем революции, под знаком обновления мира».

В последующие после написания книги годы Мельгунов, внимательно следя за тем, что происходило в СССР, особенно с конца 1920-х годов, не только не отказался от своих выводов и оценок, а еще более ужесточил их. Когда на Западе появились и стали публиковать книги большевики-невозвращенцы, в том числе чекисты (П. Селянинов-Опперпут, Г. Агабеков, Е. Думбадзе, Ф. Другов, Г. Соломон, Г. Беседовский, Н. Безпалов и др.), историк заметил, что «все эти разоблачающие себя чекисты (начиная с Опперпута) блестяще подтверждают не только основные положения, но и фактическую канву моего обзора, к сожалению, доведенного лишь до 1924 г.».

В 1931 году Мельгунов во второй раз специально обратился к теме красного террора, опубликовав в 7 выпусках парижского еженедельника «Борьба за Россию» за февраль—май свою так и не вышедшую отдельным изданием небольшую книгу «Чекистский Олимп». В ней он дал несколько очень зло выписанных портретов вождей чекистско-судебной системы (Ф. Э. Дзержинский, В. Р. Менжинский, М. С. Кедров, Н. В. Крыленко), которые, несомненно, подтолкнули Романа Гуля к созданию весьма схожей работы «Дзержинский. Менжинский. Петерс. Лацис. Ягода», вышедшей в Париже в 1935 году.

Мельгунов начал «Чекистский Олимп» с признания, имеющего отношение к «Красному террору в России», «книге подлинной действительности», как он ее называл: «7 лет тому назад, когда я издавал свою кровавую летопись, я считал своим долгом быть осторожным — столь невероятным подчас представлялось позорное «бытовое явление» наших дней... С горечью приходится сказать, что зверь из бездны оказался, пожалуй, еще чудовищнее, еще кошмарнее, чем он казался. Через семь лет нечего отказываться. Могли быть неверные детали, но зато одну иллюстрацию можно теперь пополнить десятками...»

Приведем лишь одну выдержку из «Чекистского Олимпа», чтобы доказать, что в нем зазвучали еще более острые оценки и эпитеты, чем в «Красном терроре»: «...Ленин только придумал систему замены виселиц и эшафотов человеческими бойнями... Троцкий только прославлял и исторически обосновывал систему. Крыленко только требовал казней. Дзержинские и Менжинские только выносили приговоры в порядке «красного террора». Выполняли казни Мага, Рыба, Вуль и им присные. Но имеем ли мы право в действительности выделять идейных вождей и идейных палачей из того кровожадного зверинца, через посредство которого в жизни осуществлялись больные фантазии политических изуверов?»

Сказано достаточно резко. Не будем забывать, что это слова непримиримого врага Советской власти, который остался им, пожалуй, до самой смерти. Следует ли из этого, что мы, не соглашаясь во многом с подобными оценками, и сегодня должны стыдливо закрывать уши, чтобы их не слышать. Ответ очевиден. Глухота к чужому мнению, пусть и чрезмерно резко выраженному, никогда не приносила ничего хорошего. И уж во всяком случае взгляды Мельгунова и близких ему по духу мыслителей русского зарубежья выглядят намного более честными, выстраданными и взвешенными, чем откровения многих советологов, хлынувшие в последние годы в нашу страну в переводных книгах и статьях. Пора наконец уяснить, что наследие различных течений русской эмиграции первой волны, даже самых правых и консервативных, выступает неразрывной составной частью отечественного идейного богатства, которое может еще сослужить верную службу своему родному народу. Нужно только без изъятий и без конъюнктурщины довести это наследие до миллионов людей, жаждущих правды.

Завершая предисловие к книге «Красный террор в России», приходится констатировать, что в нем осталось незатронутым, пожалуй, самое главное — осмысление тех хотя и кратких обобщающих оценок различных сторон и проявлений красного террора, которые рассыпаны то тут, то там на страницах в первую очередь фактологической хроники Мельгунова. Все это тема особого разговора, который сам по себе может растянуться на целую книгу, ведь в нем следует критически проанализировать, сопоставив с другими источниками и последующей литературой, выводы историка, касающиеся истоков и этапов развития красного террора, его сущности и политической направленности, правовой оценки и идеологического оправдания, форм и методов проведения, кадров, осуществлявших «большевистские насилия», статистики жертв этих насилий, противодействия красному террору внутри партийного и советского аппарата, его взаимозависимости от белого террора и т. д. По-видимому, к данному разговору придется вскоре обратиться, опять соединив одну из самых страшных и кровавых страниц в судьбе Отечества с именем замечательного русского историка — летописца мятежных лет.

И, наконец, последнее существенное замечание. Хотелось бы, чтобы читатели «жуткой» книги Мельгунова не воспринимали ее лишь как чисто исторический труд, не имеющий современного звучания. Эту книгу следует рассматривать в качестве книги-предостережения, рисующей неприглядную картину того, как оказавшиеся у власти политические силы, не имеющие за собой твердой поддержки большинства народа, но одержимые тем не менее идеей гигантских преобразований, могут прибегать и прибегают к насилию — этому своеобразному двигателю «общественного прогресса». Нынешнее тревожное время дает, к сожалению, все больше и больше признаков того, что на наших глазах разворачивается новая революция, целью которой выступает уже не переход от капитализма к социализму, а не менее болезненный обратный процесс. В основе этого нового широкомасштабного эксперимента, совершаемого под возгласы о демократии и гумвинизме, лежат уже не коммунистические лозунги, а идеология ускоренной капитализации огромной страны, затянутой в трясину всеобщего разлада, междоусобия и анархии.

Всё повторяется. И кто даст гарантию, что новоявленные «революционеры-демократы» не прибегнут к установлению в критической ситуации все той же «революционной диктатуры», нацеленной на осуществление, несмотря ни на что, задуманного и отвечающей террором на всякое сопротивление? Поживем — увидим. А душа продолжает и продолжает непрестанно мучиться одним больным вопросом: неужели прав был Мельгунов, сделавший в 1923 году горький вывод: «...Не пора ли признать, что история, к сожалению, никогда и ничему не научает?».

СЕРГЕЙ МЕЛЬГУНОВ

«КРАСНЫЙ ТЕРРОР»

В стране, где свобода личности дает возможность честной, идейной борьбы... политическое убийство, как средство борьбы, есть проявление деспотизма.

Исполн. комитет Нар. Воли

Я прожил все первые пять лет большевистского властвования в России. Когда я уехал в октябре 1922 года, то прежде всего остановился в Варшаве. И здесь мне случайно на первых же порах пришлось столкнуться с одним из самых сложных вопросов современной общественной психики и общественной морали.

В одном кафе, содержимом на коллективных началах группой польских интеллигентных женщин, одна дама, подававшая мне кофе, вдруг спросила:

— Вы русский и недавно из России?

— Да.

— Скажите, пожалуйста, почему не найдется никого, кто убил бы Ленина и Троцкого?

Я был несколько смущен столь неожиданно в упор поставленным вопросом, тем более что за последние годы отвык в России от возможности открытого высказывания своих суждений. Я ответил ей, однако, что лично, искони будучи противником террористических актов, думаю, что убийства прежде всего не достигают поставленной цели.

— Убийство одного спасло бы, возможно, жизнь тысяч, погибающих ныне бессмысленно в застенках палачей. Почему же при царе среди социалистов находилось так много людей, готовых жертвовать собой во имя спасения других или шедших на убийство во имя отмщения за насилие? Почему нет теперь мстителей за поруганную честь? У каждого есть брат, сын, дочь, сестра, жена. Почему среди них не подымется рука, отмщающая за насилие? Этого я не понимаю.

И я должен был, оставляя в стороне вопрос о праве и морали насилия[1], по совести ей ответить, что основная причина, мне кажется, лежит в том, что при существующем положении, когда человеческая жизнь в России считается ни во что, всякого должна останавливать мысль, что совершаемый им политический акт, его личная месть, хотя бы во имя родины, повлечет за собою тысячи невинных жертв; в то время как прежде погибал или непосредственный виновник совершенного деяния, или в крайнем случае группа ему сопричастных — теперь иное. И сколько примеров мы видим за последние годы!

---

[1] «Насилие имеет оправдание только тогда, когда оно направляется против насилия»,— говорил Исполнительный комитет Народной Воли в своем обращении к американскому народу по поводу убийства президента Гарфильда в 1881 году. «...Я совершил величайший грех, возможный для человека, два убийства, запятнал себя кровью,— писал после убийства Плеве из Бутырской тюрьмы в 1906 году Егор Сазонов в своих замечательных письмах к родителям, опубликованных мною в «Голосе минувшего» (1918, № 10—12). — После страшной борьбы и мучений только под гнетом печальной необходимости мы брались за меч, который мы не первые поднимали... Не мог я отказаться от своего креста... Поймите же и простите... Народ скажет про меня и про моих товарищей, казненных и оставленных в живых, как сказал на суде мой защитник: «Бомба их была начинена не динамитом, а горем и слезами народными... бросая бомбы в правителей, они хотят уничтожить кошмар, который давил народную грудь», скажет — и оправдает нас, а наших противников, тех, которые своими насилиями над народом доводили нас до необходимости проливать кровь, осудит и память их предаст вечному проклятью».

Моральное оправдание этих «убийц» в том, что они не только убивают, но и умирают за убийство, как сказал Гершуни. Они действительно шли на эшафот и жизнь свою отдавали за жизнь других.

I. ИНСТИТУТ ЗАЛОЖНИКОВ.

Террор — бесполезная жестокость, осуществляемая людьми, которые сами боятся.

Энгельс.

30 августа 1918 г. в Петербурге бывшим студентом, юнкером во время войны, социалистом Каннегисером был убит народный комиссар Северной Коммуны, руководитель Петербургской Чрезвычайной Комиссии — Урицкий. Официальный документ об этом акте гласит: «При допросе Леоиид Каннегисер заявил, что он убил Урицкого не по постановлению партии или какой-нибудь организации, а по собственному побуждению, желая отомстить за арест офицеров и расстрел своего друга Перельцвейга»[2].

30 августа социалистка Каплан покушалась на жизнь Ленина в Москве.

Как ответила на эти два террористических акта советская власть?

По постановлению Петроградской Чрезвычайной Комиссии, — как гласит официозное сообщение в «Еженедельнике Чрез. Ком.» 20 октября (№ 5), — расстреляно 500 человек заложников. Мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем точной цифры этих жертв — мы не знаем даже их имен. С уверенностью, однако, можно сказать, что действительная цифра значительно превосходит цифру приведенного позднейшего полуофициального сообщения (никакого официального извещения никогда не было опубликовано). В самом деле, 23 марта 1919 года английский военный священник Lombard сообщал лорду Керзону: «в последних числах августа две барки, наполненные офицерами, потоплены и трупы их были выброшены в имении одного из моих друзей, расположенном на Финском заливе; многие были связаны по двое и по трое колючей проволокой»[3].

Что же это, неверное сообщение? Но об этом факте многие знают и в Петрограде и в Москве. Мы увидим из другого источника, что и в последующее время большевистская власть прибегала к таким варварским способам потопления врагов (напр., в 1921 г.).

Один из очевидцев петроградских событий сообщает такие детали:

«Что касается Петрограда, то, при беглом подсчете, число казненных достигает 1.300, хотя большевики признают только 500, но они не считают тех многих сотен офицеров, прежних слуг и частных лиц, которые были расстреляны в Кронштадте и Петропавловской крепости в Петрограде без особого приказа центральной власти, по воле местного Совета; в одном Кронштадте за одну ночь было расстреляно 400 чел. Во дворе были вырыты три больших ямы, 400 человек поставлены перед ними и расстреляны один за другим»[4].

«Истерическим террором» назвал эти дни в Петрограде один из руководителей Вс. Чр. Ком., Петерс, в интервью, данном газетному корреспонденту в ноябре: «Вопреки распространенному мнению, — говорил Петерс, — я вовсе не так кровожаден, как думают». В Петербурге «мягкотелые революционеры были выведены из равновесия и стали чересчур усердствовать. *До убийства Урицкого в Петрограде не было расстрелов, а после него слишком много и часто без разбора, тогда как Москва в ответ на покушение на Ленина ответила лишь расстрелом нескольких царских министров*». И тут же, однако, не слишком кровожадный Петерс грозил: «я заявляю, что всякая попытка русской буржуазии еще раз поднять голову, встретит такой отпор и такую расправу, *перед которой побледнеет все, что понимается под красным террором*»[5].

Оставляю пока в стороне совершенно ложное утверждение Петерса, что до убийства Урицкого в Петрограде не было смертных казней. Итак, в Москве за покушение *социалистки* на Ленина расстреляно лишь несколько *„царских* министров! Петерс не постыдился сделать это заявление, когда всего за несколько дней перед тем в том же «Еженедельнике Ч. К.» (№ 6) был опубликован весьма укороченный список расстрелянных за покушение на Ленина. Их было опубликовано через два месяца после расстрела 90 человек[6]. Среди них были и министры, были офицеры, как были и служащие кооперативных учреждений, присяжные поверенные, студенты, священники и др. Мы не знаем числа расстрелянных. Кроме единственного сообщения в «Еженедельнике Ч. К.»[7], никогда ничего больше не было опубликовано. А между тем мы знаем, что людей в эти дни в Москве, по общим сведениям, было расстреляно больше 300[8].

Те, которые сидели в эти поистине мучительные дни в Бутырской тюрьме, когда были арестованы тысячи людей из самых разнообразных общественных слоев, никогда не забудут своих душевных переживаний. Это было время, названное одним из очевидцев «дикой вакханалией красного террора»[9]. Тревожно и страшно было по ночам слышать, а иногда и присутствовать при том, как брали десятками людей на расстрел. Приезжали автомобили и увозили свои жертвы, а тюрьма не спала и трепетала при каждом автомобильном гудке. Вот войдут в камеру и потребуют кого-нибудь «с вещами» в «комнату душ»[10] — значит на расстрел. И там будут связывать попарно проволокой. Если бы вы знали, какой это был ужас! Я сидел в эти дни в тюрьме, и сам переживал все эти страшные кошмары. Возьму один рассказ очевидца:[11]

«В памяти не сохранились имена многих и многих, уведенных на расстрел из камеры, в которой сидел пишущий эти строки в Ленинские августовские дни 1918 года, но душераздирающие картины врезались в память и вряд ли забудутся до конца жизни...»

«Вот группа офицеров, в числе пяти человек, через несколько дней после «Ленинского выстрела» вызывается в «комнату душ». Некоторые из них случайно были взяты при облаве на улице. Сознание возможности смерти не приходило им в голову, они спокойно подчинились своей судьбе — сидеть в заключении...

И вдруг... «с вещами по городу в комнату душ». Бледные, как полотно, собирают они вещи. Но одного выводной надзиратель никак не может найти. Пятый не отвечает, не откликается. Выводной выходит и возвращается с заведующим корпусом и несколькими чекистами. Поименная проверка. Этот пятый обнаруживается... Он залез под койку. Его выволакивают за ноги... Неистовые звуки его голоса заполняют весь коридор. Он отбивается с криком: «За что? Не хочу умирать!» Но его осиливают, вытаскивают из камеры... и они исчезают... и вновь появляются во дворе... Звуков уже не слышно... Рот заткнут тряпками.

Молодой прапорщик Семенов арестован за то, что во время крупного пожара летом 1918 года на Курском вокзале (горели вагоны на линии), находясь среди зрителей, заметил, что вероятно вагоны подожгли сами большевики, чтобы скрыть следы хищения. Его арестовали, а вместе с ним арестовали на квартире его отца и брата. Через три месяца после допроса следователь уверил его, что он будет освобожден. Вдруг... «с вещами по городу». И через несколько дней его фамилия значилась в числе расстрелянных. А через месяц при допросе отца следователь сознался ему, что сын был расстрелян по ошибке, «в общей массе» расстрелянных.

Однажды к нам в камеру ввели юношу лет 18—19, ранее уведенного из нашего коридора. Он был арестован при облаве на улице в июле 1918 г. около храма Христа Спасителя. Этот юноша рассказал нам, что через несколько дней по привозе его в В. Ч. К. его вызвали ночью, посадили на автомобиль, чтобы отвезти на расстрел (в 1918 году расстреливали не в подвале, а за городом). Совершенно случайно кто-то из чекистов обратил внимание, что расстрелять они должны не молодого, а мужчину средних лет. Справились — оказалось, фамилия и имя те же самые, а отчества расходятся, и расстреливаемому должно быть 42 года, а этому 18. Случайно жизнь его была спасена и его вернули к нам обратно.

Красный террор целыми неделями и месяцами держал под дамокловым мечом тысячи людей. Были случаи, когда заключенные отказывались выходить из камеры на предмет освобождения из тюрьмы, опасаясь, что вызов на волю — ловушка, чтобы обманом взять из тюрьмы на расстрел. Были и такие случаи, когда люди выходили из камеры в полном сознании, что они выходят на волю, и сокамерники обычными приветствиями провожали их. Но через несколько дней фамилии этих мнимо освобожденных указывались в списке расстрелянных. А сколько было таких, имена которых просто не опубликовывались...»

Не только Петербург и Москва ответили за покушение на Ленина сотнями убийств. Эта волна прокатилась по всей советской России — и по большим и малым городам, и по местечкам и селам. Редко сообщались в большевистской печати сведения об этих убийствах, но все же в «Еженедельнике» мы найдем упоминание и об этих провинциальных расстрелах, иногда с определенным указанием: расстрелян за покушение на Ленина. Возьмем хотя бы некоторые из них.

«Преступное покушение на жизнь нашего идейного вождя, тов. Ленина, — сообщает Нижегородская Ч. К., — побуждает отказаться от сентиментальности и твердой рукой провести диктатуру пролетариата». «Довольно слов!..» «В силу этого» — комиссией «расстрелян 41 человек из вражеского лагеря». И дальше шел список, в котором фигурируют офицеры, священники, чиновники, лесничий, редактор газеты, стражник и пр. и пр. В этот день в Нижнем на всякий случай взято до 700 заложников. «Раб. Кр. Ниж. Лист» пояснял это: «на каждое убийство коммуниста или на покушение на убийство мы будем отвечать расстрелом заложников буржуазии, ибо кровь наших товарищей убитых и раненых требует отмщения».

«В ответ на убийство тов. Урицкого и покушение на тов. Ленина... красному террору подвергнуты», по постанов-

[2] Перельцвейг с товарищами были расстреляны за несколько недель до убийства Урицкого (М. Алданов, «Современный Запад», т. XVI).

[3] A Collection of Reports on Bolschewism in Russia. Abridged Edition of Parlamenters Paper Russia Nr. 1. Книга эта переведена на французский язык под заглавием «Le Bolchevisme en Russie. Livre blanc anglais»; цитирую по ней (с. 159).

[4] Livre blanc, с. 59.

[5] «Утро Москвы», № 21, 4 ноября 1918 г.

[6] Еще опубликовано было 15 фамилий в № 3 «Еженедельника».

[7] Кстати, такие осведомительные и руководящие органы появились при целом ряде чрезвычайных комиссий; напр. издавались «Царицынские известия Ч. К.»; орган всеукраинской Ч. К. именовался «Красный меч». Собрание этих журнальчиков и листков могло бы дать богатейший материал для характеристики «красного террора».

[8] М. П. Арцыбашев в своих показаниях Лозаннскому суду определяет эту цифру в «500».

[9] «В дни красного террора». — Сборник «Че-Ка».

[10] Здесь прежде, при самодержавии, дезинфицировали новых тюремных сидельцев; зловещая «комната душ» служила в 1918 г. местом, куда сводили людей, которых везли на убой.

[11] «Че-Ка», «Сухая гильотина», с. 49—50.

лвиню Сумской (Харьковской губ.) уездной Ч. К., трое летчиков; Смоленской Областной Комиссией — 38 помещиков Западной Области; Новоржевской — какие-то Александра, Наталия, Евдокия, Павел и Михаил Росляковы; Пошехонской — 31 (целыми семьями: 5 Шалаевых, 4 Волковых), Псковской — 31, Ярославской — 38, Архангельской — 9, Себежской — 17, Вологодской — 14, Брянской — 9 грабителей (!!) и т. д.

Всероссийской Ч. К. за покушение на вождя всемирного пролетариата среди других расстреляны: артельщик Кубицкий за ограбление 400 т. р., два матроса за то же, комиссар Ч. К. Пискунов, «пытавшийся продать револьвер милиционеру», два фальшивомонетчика и др. Такой список, между прочим, был опубликован в № 3 «Еженедельника В. Ч. К.». Таких опубликованных списков можно было бы привести десятки, а неопубликованных — не было места, где бы не происходили расстрелы «за Ленина».

Характерен экстренный бюллетень Ч. К. по борьбе с контрреволюцией в гор. Моршанске, выпущенный по поводу происходивших событий. Он между прочим гласил: «Товарищи! Нас бьют по одной щеке, мы это возвращаем сторицей и даем удар по всей физиономии. Произведена противозаразная прививка, т. е. красный террор... Прививка эта *сделана по всей России*, в частности в Моршанске, где на убийство тов. Урицкого и ранение т. Ленина ответили расстрелом... (перечислено 4 человека) и если еще будет попытка покушения на наших вождей революции и вообще работников, стоящих на ответственных постах из коммунистов, то *жестокость* проявится в еще худшем виде... Мы должны ответить на удар — ударом в десять раз сильнее». И впервые, кажется, появляется официальное заявление о заложниках, которые будут «немедленно расстреляны» при «малейшем контрреволюционном выступлении». «За голову и жизнь одного из наших вождей должны слететь сотни голов буржуазии и всех ее приспешников», — гласило объявление «всем гражданам города Торжка и уезда», выпущенное местной уездной Ч. К. Далее шел список арестованных и заключенных в тюрьму, в качестве «заложников»: инженеры, купцы, священники и... правые социалисты-революционеры. Всего 20 человек. В Иваново-Вознесенске заложников взято 184 человека и т. д. В Перми за Урицкого и Ленина расстреляно 50 человек [12].

Не довольно ли и приведенных фактов, чтобы опровергнуть официальные сообщения. За Урицкого и Ленина действительно погибли тысячи невинных по отношению к этому делу людей. Тысячи по всей России были взяты заложниками. Какова была их судьба? Напомним хотя бы о гибели ген. Рузского, Радко-Дмитриева и других заложников в Пятигорске. Они, в количестве 32, были арестованы в Ессентуках «во исполнение приказа Народного Комиссара внутренних дел тов. Петровского», как гласило официальное сообщение [13], заканчивавшееся угрозой расстрела их «при попытке контрреволюционных восстаний или покушения на жизнь вождей пролетариата». Затем были взяты заложники в Кисловодске (в числе 33) и в других местах. Всего числилось 160 человек, собранных в концентрационном лагере в Пятигорске. 13 октября в Пятигорске произошло следующее событие: большевистский главком Сорокин пытался совершить переворот, имевший целью очистить «советскую власть от евреев». Им были, между прочим, арестованы и убиты некоторые члены Ч. К. «В оправдание своей расправы Сорокин, — как говорят материалы Деникинской Комиссии, которыми мы пользуемся в данном случае [14], — представил документы, якобы изобличавшие казненных в сношениях с Добровольческой армией, и хотел получить признание своей правоты и своей власти от созванного им в станице Невинномысской Чрезвычайного съезда Совдепов и представителей революции и красной армии».

Но враги Сорокина еще до прибытия его на съезд успели объявить его вне закона «как изменника революции». Он был арестован в Ставрополе и тут же убит... Вместе с тем была решена участь большинства лиц, содержавшихся в качестве заложников в концентрационном лагере.

В № 157 местных «Известий» 2 ноября был опубликован следующий приказ Ч. К., возглавляемой Артабековым: «Вследствие покушения на жизнь вождей пролетариата в гор. Пятигорске 21 окт. 1918 г. и в силу приказа № 3 8 октября сего года в ответ на дьявольское убийство лучших товарищей, членов ЦИК, и других по постановлению Чрезвычайной Комиссии расстреляны нижеследующие заложники и лица, принадлежащие к контрреволюционным организациям». Дальше шел список в 59 человек, который начинался ген. Рузским. Тут же был напечатан и другой список в 47 человек, где вперемешку шли: сенатор, фальшивомонетчик, священник. Заложники «были расстреляны». Это ложь. Заложники были зарублены шашками. Вещи убитых были объявлены «народным достоянием»...

И в дальнейшем процветала та же система заложничества.

В Черниговской сатрапии студент П. убил комиссара Н. И достоверный свидетель рассказывает нам, что за это были расстреляны его отец, мать, два брата (младшему было 15 лет), учительница немка и ее племянница 18 лет. Через некоторое время поймали его самого.

Прошел год, в течение которого террор принял в России ужасающие формы: поистине бледнеет все то, что мы знаем в истории. Произошло террористическое покушение, произведенное группой анархистов и левых социалистов-революционеров, первоначально шедших рука об руку с большевиками и принимавших даже самое близкое участие в организации чрезвычайных комиссий. Покушение это было совершено в значительной степени в ответ на убийство целого ряда членов партии, объявленных заложниками. Еще 15 июня 1919 г. от имени председателя Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии Лациса было напечатано следующее заявление:

«В последнее время целый ряд ответственных советских работников получает угрожающие письма от боевой дружины левых социалистов-революционеров интернационалистов, т. е. активистов. Советским работникам объявлен белый террор. Всеукраинская Чрезвычайная Комиссия настоящим заявляет, что за малейшую попытку нападения на советских работников будут расстреливаться находящиеся под арестом члены партии соц.-рев. активистов, как здесь, на Украине, так и в Великороссии. Карающая рука пролетариата опустится с одинаковой тяжестью как на белогвардейца с деникинским мандатом, так и на активистов левых социалистов-революционеров, именующих себя интернационалистами.

Председатель Всеукраинской Комиссии Лацис» [15].

Как бы в ответ на это 25 сентября 1919 г. в партийном большевистском помещении в Москве, в Леонтьевском переулке, произведен был заранее подготовленный взрыв, разрушивший часть дома. Во время взрыва было убито и ранено несколько видных коммунистов. На другой день в московских газетах за подписью Каменева была распубликована угроза: «белогвардейцы», совершившие «гнусное преступление», «понесут страшное наказание». «За убитых», — добавлял Гойхбарт в статье в «Известиях», — власть «сама достойным образом расплатится».

И новая волна кровавого террора пронеслась по России: власть «достойным образом» расплачивалась за взрыв с людьми, которые не могли иметь к нему никакого отношения. За акт, совершенный анархистами [16], власть просто расстреливала тех, кто в этот момент был в тюрьме.

«В ответ на брошенные в Москве бомбы» в Саратове Чрез. Комиссия расстреляла 28 человек, среди которых было несколько кандидатов в члены Учредительного Собрания из конст.-демократ. партии, бывший народоволец, юристы, помещики, священники и т. д. [17]. Столько расстреляно официально. В действительности больше, столько, сколько по телеграмме из Москвы пришлось из «всероссийской кровавой повинности» на Саратов — таких считали 60.

О том, как составлялись в эти дни списки в Москве, бывшей главной ареной действия, мы имеем яркое свидетельство одного из заключенных в Бутырской тюрьме [18].

«По рассказу коменданта М. Ч. К. Захарова, прямо с места взрыва приехал в М. Ч. К. бледный, как полотно, и взволнованный Дзержинский и отдал приказ: расстреливать по спискам всех кадетов, жандармов, представителей старого режима и разных там князей и графов, находящихся во всех местах заключения Москвы, во всех тюрьмах и лагерях. Так, одним словесным распоряжением одного человека, обрекались на немедленную смерть многие тысячи людей.

Точно установить, сколько успели за ночь и на следующий день перестрелять, конечно, невозможно, но число убитых должно исчисляться, по самому скромному расчету, — сотнями. На следующий день это распоряжение было отменено...»

Прошел еще год, и распоряжением центральной власти был введен уже официальный особый институт заложников.

30 ноября 1920 года появилось «правительственное сообщение» о том, что ряд «белогвардейских организаций *задумал* (?!) совершение террористических актов против руководителей рабоче-крестьянской революции». Посему заключенные в тюрьмах представители различных политических групп объявлялись заложниками [19].

На это сообщение счел долгом откликнуться письмом к Ленину старый анархист П. А. Кропоткин [20]. ...Неужели не нашлось среди Вас никого, — писал Кропоткин, — чтобы напомнить, что такие меры, представляющие возврат к худшему времени средневековья и религиозных войн, — недостойны людей, взявшихся созидать будущее общество на коммунистических началах... Неужели никто из Вас не вдумался в то, что такое заложник? Это значит, что человек заса-

[12] «Сев. Ком.» 18 сентября.

[13] Изв. ЦИК. «Сев. Кавк.». № 138.

[14] Сводка материалов по группе Минеральных Вод. с. 82.

[15] «Киевские Известия». Аналогичное заявление за подписью Дзержинского было опубликовано в «Известиях» еще 1 марта: «арестованные левые социалисты-революционеры и меньшевики будут служить заложниками, и судьба их будет зависеть от поведения обеих партий».

[16] В изданной в 1922 г. в Берлине брошюре «Гонения на анархистов в советской России» определенно говорится, что покушение в Леонтьевском пер. произведено анархистами. Инициатором его был рабочий Казимир Ковалев.

[17] Саратовск. «Известия» от 2 окт. 1919 г.

[18] «Че-Ка». «Год в Бутырской тюрьме», с. 144.

[19] В сущности, поводом к этому правительственному акту послужила лишь статья В. Л. Бурцева в его «Общем деле». Он писал: «На террор необходимо ответить террором... должны найтись революционеры, готовые на самопожертвование, чтобы призвать к отчету Ленина и Троцкого, Стеклова и Дзержинского, Лациса и Луначарского, Каменева и Калинина, Красина и Карахана, Крестинского и Зиновьева и т. д.». Может быть, в параллель этой статье следует отметить имеющую психологическую ценность запись дипломата в свой дневник при ведении Брест-Литовских переговоров. Чернин 26 декабря 1917 г. записал: «Шарлота Кордэ сказала: я убила не человека, а дикого зверя, не найдется ли Кордэ и для Троцкого?».

[20] «На чужой стороне», кн. III.

жен в тюрьму не как в наказание за какое-нибудь преступление, что его держат в тюрьме, чтобы угрожать его смертью своим противникам. «Убьете одного из наших, мы убьем столько-то из Ваших». Но разве это не все равно, что выводить человека каждое утро на казнь и отводить его назад в тюрьму, говоря: «Погодите», «Не сегодня». Неужели Ваши товарищи не понимают, что это равносильно восстановлению пытки для заключенных и их родных...»

Живший уже вдали от жизни, престарелый и больной П. А. Кропоткин недостаточно ясно представлял себе реальное воплощение большевистских теорий насилия. Заложники! Разве их не брали фактически с первого дня террора? Разве их не брали повсеместно в период гражданской войны? Их брали на юге, их брали на востоке, их брали на севере...

Сообщая о многочисленных заложниках в Харькове, председатель местного губисполкома Кон докладывал в Харьковский совет: «в случае, если буржуазный гад поднимет голову, то прежде всего падут головы заложников»[21]. И падали реально. В Елизаветграде убито в 1921 г. 36 заложников за убийство местного чекиста. Этот факт, передаваемый бурцевским «Общим делом»[22], найдет себе подтверждение в ряде аналогичных достоверных сообщений, с которыми мы встретимся на последующих страницах. Правило «кровь за кровь» имеет широчайшее применение на практике.

«Большевики восстановили гнусный обычай брать заложников, — писал Локкарт 10 ноября 1918 г. — И что еще хуже — они разят своих политических противников, мстя их женам. Когда недавно в Петрограде был опубликован длинный список заложников, большевики арестовали жен ие найденных и посадили в тюрьму впредь до явки их мужей»[23]. Арестовывали жен и детей и часто расстреливали их. О таких расстрелах в 1918 г. жен-заложниц за офицеров, взятых в красную армию и перешедших к белым, рассказывают деятели киевского Красного Креста. В марте 1919 г. в Петербурге расстреляли родственников офицеров 86-го пехотного полка, перешедшего к белым[24]. О расстреле заложников в 1919 г. в Кронштадте, «родственников офицеров, *подозреваемых* в том, что они перешли к белой гвардии», говорит записка, поданная в ВЦИК известной левой соц.-рев. Ю. Зубелевич[25]. Заложники легко переходили в группу контрреволюционеров. Вот документ, публикуемый «Коммунистом»[26]: «13 августа военно-революционный трибунал 14-й армии, рассмотрев дело 10 граждан гор. Александрии, взятых заложниками (Бредит, Мальский и др.), признал означенных не заложниками, а контрреволюционерами и постановил всех расстрелять». Приговор был приведен в исполнение на другой день.

Брали сотнями заложниц — крестьянских жен вместе с детьми во время крестьянских восстаний в Тамбовской губернии: они сидели в разных тюрьмах, в том числе в Москве и Петербурге, чуть ли не в течение двух лет. Напр., приказ оперштаба тамбовской Ч. К. 1 сентября 1920 г. объявлял: «Провести к семьям восставших беспощадный красный террор... арестовывать в таких семьях всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом, и если бандиты выступления будут продолжать, расстреливать их. Села обложить чрезвычайными контрибуциями, за неисполнение которых будут конфисковываться все земли и все имущество»[27].

Как проводился в жизнь этот приказ, свидетельствуют официальные сообщения, печатавшиеся в тамбовских «Известиях»: 5 сентября сожжено 5 сел.; 7 сентября расстреляно более 250 крестьян... В одном кожуховском концентрационном лагере под Москвой (в 1921—22 г.) содержалось 313 тамбовских крестьян в качестве заложников, в числе их дети от 1 месяца до 16 лет. Среди этих раздетых (без теплых вещей), полуголодных заложников осенью 1921 г. свирепствовал сыпной тиф.

Мы найдем длинные списки опубликованных заложников и заложниц за дезертиров, напр., в «Красном воине»[28]. Здесь вводится даже особая рубрика для некоторых заложников: «приговор к расстрелу условно».

Расстреливали и детей и родителей. И мы найдем засвидетельствованные и такие факты. Расстреливали детей в присутствии родителей и родителей в присутствии детей. Особенно свирепствовал в этом отношении Особый отдел В. Ч. К., находившийся в ведении полусумасшедшего Кедрова[29]. Он присылал с «фронтов» в Бутырки целыми пачками малолетних «шпионов» от 8—14 лет. Он расстреливал на местах этих малолетних шпионов-гимназистов.

Я лично знаю ряд таких случаев в Москве.

Какое дело кому до каких-то моральных пыток, о которых пытался говорить в своем письме П. А. Кропоткин. В Чрезвычайных Комиссиях, не только провинциальных, но и столичных, практиковались самые настоящие истязания и пытки. Естественно, письмо П. А. Кропоткина оставалось гласом вопиющего в пустыне. Если тогда не было расстрелов среди тех, кто был объявлен заложником, то, может быть, потому, что не было покушений...

Прошел еще год. И во время Кронштадтского восстания тысячи были захвачены в качестве заложников. Затем появились новые заложники в лице осужденных по известному процессу социалистов-революционеров смертников. Эти жили до последних дней под угрозой условного расстрела!

И, может быть, только тем, что убийство Воровского произошло на швейцарской территории, слишком гласно для всего мира, объясняется то, что не было в России массовых расстрелов, т. е. о них не было опубликовано и гласно заявлено. Что делается в тайниках Государственного Политического Управления, заменившего собой по имени Чрезвычайные Комиссии, мы в полной степени не знаем. Расстрелы продолжаются, но о них не публикуется, или если публикуется, то редко и в сокращенном виде. Истины мы не знаем.

Но мы безоговорочно уже знаем, что после оправдательного приговора в Лозанне большевики недвусмысленно грозили возобновлением террора по отношению к тем, кто считается заложниками. Так, Сталин, как сообщали недавно «Дни» и «Vorwärts», в заседании московского комитета большевиков заявил:

«Голоса всех трудящихся требуют от нас возмездия подстрекателям этого чудовищного убийства.

Фактически убийцы тов. Воровского — не ничтожные наймиты Конради и Полунин, а те социал-предатели, которые, скрывшись от народного гнева за пределы досягаемости, еще продолжают подготовлять почву для наступления против руководителей русского пролетариата. Они забыли о нашей дальновидности, проявленной нами в августе 1922 года, когда мы приостановили приговор Верховного Трибунала, вопреки настойчивому желанию всех трудящихся масс. Теперь мы можем им напомнить, что постановление еще не потеряло силы, и за смерть тов. Воровского мы сумеем потребовать к ответу их друзей, находящихся в нашем распоряжении...»[30].

«Заложники — капитал для обмена...» Эта фраза известного чекиста Лациса, может быть, имела некоторый смысл по отношению к иностранным подданным во время польско-русской войны. *Русский* заложник — это лишь форма психического воздействия, это лишь форма устрашения, на котором построена вся внутренняя политика, вся система властвования большевиков.

Знаменательно, что большевиками, собственно, осуществлено то, что в 1881 г. казалось невозможным самым реакционным кругам. 5 марта 1881 года гр. Камаровский впервые высказал в письме к Победоносцеву[31] мысль о групповой ответственности. Он писал: «...не будет ли найдено полезным объявить *всех уличенных участников в замыслах революционной партии* за совершенные *ею неслыханные преступления* состоящими вне закона и за малейшее их новое покушение или действие против установленного законом порядка в России *ответственными поголовно*, in corpore, *жизнью их*».

Такова гримаса истории или жизни...

«Едва ли, действительно, есть более яркое выражение варварства, точнее, господства грубой силы над всеми основами человеческого общества, чем этот институт заложничества», — писал старый русский революционер Н. В. Чайковский по поводу заложничества в наши дни. «Для того, чтобы дойти не только до применения его на практике, но и до *открытого* провозглашения, нужно действительно до конца эмансипировать ся от этих веками накопленных ценностей человеческой культуры и внутренне преклониться перед молохом войны, разрушения и зла».

«Человечество потратило много усилий, чтобы завоевать... первую истину всякого правосознания:

— Нет наказания, если нет преступления», — напоминает выпущенное по тому же поводу в 1921 г. воззвание «Союза русских литераторов и журналистов в Париже»[32].

«И мы думаем, что как бы ни были раскалены страсти в той партийной и политической борьбе, которая таким страшным пожаром горит в современной России, но эта основная, эта первая заповедь цивилизации не может быть попрана ни при каких обстоятельствах:

— Нет наказания, если нет преступления.

Мы протестуем против возможного убийства ни в чем не повинных людей.

Мы протестуем против этой пытки страхом. Мы знаем, какие мучительные ночи проводят русские матери и русские отцы, дети которых попали в заложники. Мы знаем точно также, что переживают заложники в ожидании смерти за чужое, не ими совершенное, преступление.

И потому мы говорим:

— Вот жестокость, которая не имеет оправдания.

— Вот варварство, которому не должно быть места в человеческом обществе...»

«Не должно быть...» Кто слышит это?

---

[21] «Харьковские Известия», № 126, 13 мая 1919 г.

[22] «Общее дело», № 345.

[23] Livre blanc, с. 37.

[24] «Русская жизнь» (Гельсингфорс), 11 марта.

[25] В результате неуместного, с точки зрения советской власти, выступления Ю. М. Зубелевич была отправлена в ссылку в Оренбург

[26] 1918 г., № 134.

[27] «Революционная Россия», № 14—15.

[28] 12 ноября 1919 г.

[29] Кедров находится ныне, по некоторым сведениям, в психиатрической больнице, как неизлечимый.

[30] В самое последнее время грузинская Че-Ка объявила заложниками 37 социал-демократов, с предупреждением, что первые 10 по списку будут расстреляны за первую попытку террористического акта в Грузии. По сообщению «Социалистического вестника» от 11 февр. 1924 г. (№ 3), постановление это было отменено по требованию из Москвы (не забудем, что это было время, когда решался вопрос о признании советской власти). Причем мотивом отмены был своеобразный аргумент: так как меньшевики превратились в «ничтожную группу бандитов», а органы власти достаточно сильны для выполнения своих прекарных функций, «нет надобности прибегать к таким чрезвычайным мерам репрессий, как объявление заложниками отдельных видных деятелей меньшевистской партии».

[31] «Письма и записки», т. I, с. 181.

[32] «Посл. нов.» 9 февраля 1921 г.

(Продолжение следует)

ВАДИМ ПУДОЖЕВ

«...ПУТЕМ САМОСОЗНАНИЯ»

ОБОЗРЕНИЕ НОВЫХ РУССКИХ ГАЗЕТ

Далеко не простодушное заблуждение в том, что пресса выполняет в обществе «всего лишь» информативную функцию, должно быть, наконец преодолено. По заслугам величаемая «четвертой властью», она выступает прежде всего формирующей общественное сознание силой. И сколь успешно — показывают последние события в стране, идейно и духовно подготовленные в обществе «взрывчатыми» публикациями «mass media».

С английского это переводится как «средства массовой информации», и такое определение по сути верно — именно «массовой», рассчитанной на безликую «массу потребителей». Поглощающих, между прочим, и тонко растворенную в потоке информации пропаганду, что толкает эту массу к угодным «media» целям.

В последнее время официальная советская пресса, долгие годы прививавшая читателям искаженное виденье мира, претерпевает процесс новой унификации, перенятия «западных» методов и стандартов работы. Формируя тем самым иные общественные ценности, выдаваемые за «приближение к свободе». А в сущности же, создавая лишь иллюзию ее, напоминающую простую перекраску фасада, за которым находится все та же самозамкнутая и жестко контролируемая система. Это хорошо подмечено А. И. Солженицыным: «Безо всякой цензуры на Западе осуществляется придирчивый отбор мыслей модных от мыслей немодных — и последние, хотя никем не запрещены, не имеют реального пути в периодической прессе». И это «свидетельское показание» в пользу того, сколь несостоятельны, если не лукавы, поиски «коренных отличий» «партийной печати» от многопартийной.

Характерной особенностью средств массовой информации такого рода (а в их арсенале не только печать, но и радио, и ТВ) является *взгляд со стороны* на тот народ, языком которого они пользуются. Примером тому могут служить хотя бы информационные выпуски ТСН (телевизионной службы новостей), где о трагической судьбе русских людей в Молдове, уже г и б н у щ и х под пулями боевиков, рассказывается подчеркнуто сухо и бездушно, с использованием местоимений в третьем лице: «они», «их»... Ярчайшее проявление «западного» стиля: вроде бы зритель и проинформирован, и соблюдена «непредвзятость взгляда»! Но вот только почему, когда вдруг рождаются с л у х и о «еврейских погромах», «Взгляд» телевидения, до сих пор столь отстраненный, становится явно предвзятым, появляется эмоциональность, подчас перерастающая в истеричность? Все это — родовые приметы «средств *массовой* информации», наглядно показывающие всю их «свободу и независимость».

О том, до какого цинизма может простираться эта «свобода» *взгляда со стороны*, поразительно откровенно сказано в следующем послании:

> «...принципиально мы должны, по выражению Лютера о господе боге, «бить одного злодея другим» и использовать всякий шанс, чтобы вносить смятение и содействовать всеобщему разложению. До наступления нынешней неурядицы я и сам не стал бы писать в «Presse», да и тебе не посоветовал бы. Но процесс брожения начался, и сейчас каждый должен делать все, что может. Надо вливать яд всюду, где это только требуется»[1].

Сей «протокол» фальшивкой не объявишь — он писан незабвенным «основоположником» (!) Марксом своему подельнику Лассалю во время «революционной ситуации» в Германии. В его свете становится отчетливо видной все та же, марксистско-тоталитарная суть нынешних леводемократических изданий, спекулятивно от марксизма отрекающихся. В самом деле, разве «до наступления нынешней неурядицы» стали бы марксисты В. Коротич и Е. Яковлев писать в «Огоньке» и «Московских новостях», да и посоветовали бы своим друзьям? «Но процесс брожения начался», и они принялись «вливать яд всюду, где это только требуется». Кем «требуется», деликатно умалчивая, хотя и это достаточно различимо, имея в виду д р у г о г о лютеро-марксова «злодея»...

Пресса, однако, может быть и иной, воплощающей *взгляд изнутри* своего народа. Коренное отличие раскрывается даже на понятийном уровне — она работает для духовно целостного *народа*, а не для всеядной *массы*. Порождается самим народом и бьет набат в ту пору, когда появляется угроза самому его существованию, его государственности, духовности и культуре. Это явление, если можно употребить здесь термин М. М. Бахтина, «большого времени»: такая пресса видит самым насущным не сиюминутные социальные «перестройки», но — н а ц и о н а л ь н о е с а м о с о з н а н и е, единственно способное дать импульс истинному развитию.

Это самосознание способно произрасти лишь из вновь обретенного понятия, что за плечами у нас не 73 года «новой эры», а 1990 лет Эры Христовой, не 5 лет «апрельского пленума», а тысячелетие русской культуры, что мы не дети подряд: Октября, Арбата, XX съезда и перестройки, а — дети России. Во всем этом, пожалуй, и заключается общественная, очистительная миссия, единое духовно-интеллектуальное направление новых русских газет. Нынче мы предпримем обозрение лишь четырех из них: «Земщины», «Русского товарищества», «Славянского вестника» и «Воскресения». Последнее название глубоко символично. Говоря о нынешнем рождении русской прессы, надо отметить, что этот факт является одновременно и в о з р о ж д е н и е м традиций патриотической печати прежних смутных времен. Эти-то традиции, могущие послужить залогом успешной деятельности новых русских газет, и необходимо вначале вкратце проследить.

* * *

> «Не говорите, что русский народ — раб. Это великий и любящий народ. Вы не понимаете его веры... Но вы заставили его понять, что значит революционное насилие, вы заставили понять, что предаете поруганию его святейшие верования».

Так в 1905 году писала газета «Киевлянин», обращаясь к неуемным ниспровергателям. О тяжелой работе редакции в условиях «всеобщего разложения» рассказывает В. В. Шульгин:

> «Киевлянин» шел резко против «освободительного движения». Его редактор, профессор Дмитрий Иванович Пихно, принадлежал к тем немногим людям, которые сразу, по «альфе» (1905 г.), определили «омегу» (1917 г.) русской революции. Резкая борьба «Киевлянина» с революцией удержала значительное число киевлян в контрреволюционных чувствах. Но, с другой стороны, вызвала бешенство революционеров».

Однажды пришлось даже вызывать солдат, чтобы защитить редакцию от обезумевшей толпы, готовой ее разгромить по случаю... «введения конституции».

Видимо, и нынешней русской печати придется научиться выстаивать в обстановке открытого саботажа и «либерального террора». Как учит история, это возможно лишь при колоссальной *внутренней свободе* новых газет, призванной компенсировать их несвободу внешнюю. Смысл этого лаконично и ярко раскрыл В. В. Розанов, активно сотрудничавший в крупнейшей патриотической газете своей эпохи — «Новом времени»: «Политическая свобода и гражданское достоинство есть именно у консерваторов, а у «оппозиции» есть только лакейская озлобленность и мука о «своем ужасном положении». Такую свободу — не вписываться в предуказанный «оппозицией» путь «всеобщего разложения» — русские газеты сегодня и обретают.

* * *

Взгляд изнутри, о котором мы применительно к ним говорили, неизбежно связан с преодолением вбитых в умы и души людей стереотипов *со стороны*. Благодаря талантливым выступлениям наших традиционных патриотических изданий, слово «консерватор» возвращается в общественное сознание со своим былым достоинством, без оскорбительного подтекста. Такая же судьба, видимо, скоро ожидает и слово «черносотенец», ассоциируемое пока с «убийцей-погромщиком». Следуя этой логике, нужно признать «погромщиками» и монахов-чернецов (отсюда этимология), шедших в народное ополчение (сотни), когда Родина в опасности, и Пересвета, и многих ратников из дружин Минина и Пожарского... Режет еще слух? Не удивительно — ведь результаты психотропного давления *взгляда со стороны* переоценить трудно.

Некоторые слова даже не искажены, а попросту вычеркнуты из языка, как «устаревшие». «Земщину» В. И. Даль определяет, как «области, не вошедшие при Иоанне в опричнину». И союз «Христианское возрождение» выбрал это название для своей газеты не только как дань исторической памяти (так именовалась одна из газет Союза Русского Народа), но и как весьма актуальное понятие для проницательного читателя.

Эта газета является первой из рассматриваемых нами не столько потому, что она хронологически стала выходить раньше других (с мая прошлого года), но скорее оттого, что (не в обиду другим будет сказано) она на сей день действительно впереди — по сосредоточению духовного потенциала и по остроте чувствования происходящих событий. А ведь выпускается она объемом всего лишь в половину условного печатного листа, и таким образом суммарный объем ее одиннадцати номеров не составляет и трех выпусков «Русского товарищества» или «Воскресения». Как тут не вспомнить народную мудрость — мал золотник, да дорог!

Такое обостренное чувствование эпохи проявляется газетой в освещении двух параллельных, но разноглубоких процессов в нашем обществе — демократической, на этот раз, «перестройки» и вызревающего исподволь духовного возрождения народа. О том, как при-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс о печати. М., Изд-во ВПШ при ЦК КПСС, 1963, с. 309.

чудливо сочетаются они в масштабе одного дня, повествует глава союза «Христианское возрождение» Владимир Осипов:

> «Возглавление Крестного Хода наконец приблизилось к храму Большого Вознесения у Никитских ворот и взошло на паперть. Был отслужен молебен, и Патриарх Московский и Всея Руси Алексий произнес прочувственную проповедь, перед ним расстилалось народное море, над которым возвышался портрет Царя-Мученика, и на осеннем ветру колыхались русские знамена. Сразу после слов Патриарха... пользуясь случаем, демократ Станкевич принялся поздравлять собравшихся с *праздником... дня города*, пытаясь... словесно смутить истинное Торжество Православия, которое было явлено во *дни празднования Рождества Богородицы*. Но не под силу это станкевичам. Православие торжествует на воскресающей Руси» (№ 11) (выделено мною. — *В. П.*).

Даже этот отрывок из репортажа достаточно проясняет политику газеты, ее (не побоимся высоких слов) титаническую волю к Возрождению России. Возрождению прежде всего духовному, начинающемуся с возвращения к Православию, истинному путеводителю нашего народа. Именно этим объясняется публикация газетой из номера в номер страниц из святоотеческого наследия — прп. Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, Ефрема Сирина, игуменов Сергия и Германа Валаамских... — возвращающая наше пока, увы, секуляризованное общественное сознание к бездонному кладезю православной духовности. А вкушая от него, «остается только дивиться, — как говорится в газете, — той злободневности, которую находили наши отцы в созерцании вечного». Вот какие слова сказаны митрополитом Филаретом Московским более века (!) назад:

> «Усиленное стремление к преобразованиям, неограниченная, но неопытная свобода слова и гласность, произвели столько разнообразных воззрений на предметы, что трудно между ними найти и отделить лучшее и привести разногласие к единству. Было бы осторожно, как можно менее колебать, что стоит твердо, чтобы перестроение не превратить в разрушение. Бог да просветлит тех, кому суждено из разнообразия мнений извлечь твердую истину» (№ 8).

Таким образом, православная тематика, разрабатываемая «Земщиной», сопрягает воедино и глубину постижения (во втором номере, например, освещаются внутрицерковные проблемы, связанные с экуменизмом и ересями), и гражданственность ее голоса. В том же № 8 опубликовано «Окружное послание Собора архиереев Русской Православной Церкви Заграницей» от 1932 года, предельно актуальное и поныне, особенно с открытием у нас в стране всевозможных «ротари-клубов» и проч.:

> «...масонские деятели всегда отождествляют безбожную республику и социализм, не гнушаясь даже союзом с коммунистами, прикрываясь, однако, девизом: «свобода, равенство, братство». Председатель Великого Востока Десмон дает такое определение республики: «Для меня республика означает: «антиклерикализм», «антимилитаризм», «социализм». «Только благодаря союзу левых, главной ячейкой которого будет ложа, мы восторжествуем... мы должны сгруппировать всех республиканцев и даже в союзе с коммунистами выработать программу».»

Государственным аспектом Возрождения России и тем самым альтернативой «безбожной республике» «Земщина» считает восстановление в стране самодержавной монархии. С шестого номера у газеты появляется недвусмысленный девиз: «Демократия в аду, а на Небе — Царство». Причем термин «демократия» трактуется весьма расширительно — это не только «бледно-розовый кадетизм», но и «предельная краснота» ленинизма. Поэтому, «отвергая Ленина, — пишет в № 9 Алексей Широпаев, — русские патриоты, национальные консерваторы отвергают весь круг прогрессистских идей, прорвавшихся на земную поверхность в 1789 году, когда в обезумевшей Франции развернулось гонение на христианство, а масонские диктаторы насаждали поклонение люциферическому «верховному существу». В связи с этим обозначена и позиция газеты по отношению к не менее «обезумевшей» России начала века нашего, где «в Ипатьевском доме произошло столкновение каббалистического ритуала с несокрушимой силой христианской жертвы, которую принес за грехи Отечества Император Николай II... Своим злодеянием богоборцы купили у темных сил семь с лишним десятилетий физического рабства России, а Царь-Мученик Своей христианской победой спас душу России для вечности» (№ 4).

Итак, «Земщина», как видим, ето принципиальная православно-монархическая газета. Мы проследили ее цели, и теперь возникает вопрос о средствах их достижения. Ведь не секрет, что уже сформирована нелепая «мода» на монархию (как правило, конституционную, «просвещенно-европейскую»), и появилось немало людей, искренне считающих возможным возрождение монархии с помощью... парламентского большинства. На этот вопрос убедительно отвечает Вячеслав Демин:

> «Малоцерковные и нецерковные люди, считая себя монархистами, естественно, имеют в виду не покаяние, не очищение души народной, а воссоздание внешних монархических форм, политическое и экономическое усовершенствование Российского государства» (№ 3).

Таким образом, если и суждено России вернуться к монархии, то никак иначе, чем через покаяние и очищение в Православии ее народа. Иначе — нынешние демократические правители России будут верещать о ее «возрождении», навязывая ей под сурдинку новые эксперименты. Один из них, под кодовым названием «500 дней», уже начат российской властью, находящейся в руках Б. Ельцина, дутого средствами массовой информации авторитета, на деле же — типичного аппаратчика, способного с равной энергией командовать последовательно Свердловском и Москвой, Госстроем и... Россией. Который в угоду вышестоящим сделает все — начиная от взрыва Ипатьевского дома... Избрание такого человека президентом России — «не это ли есть *указание* на наше упорствование... в грехе отступления от Бога в предания Помазанника Его в руки сатанистов?» — вопрошает «Земщина» (№ 3).

Но такое всенародное покаяние, конечно, не может происходить под давлением — к сожалению, некоторые тенденции в «Земщине» указывают на стремление к этому. В Манифесте союза «Христианское возрождение», опубликованном в первом номере, приводятся слова Ф. М. Достоевского: «...не православный человек не может быть русским». В полной мере, на мой взгляд, их можно отнести только к тому времени, когда они были сказаны, когда Федор Михайлович предвидел все горестные перспективы отрыва русских людей от Православия, как собирающей их в единое целое силы. Сейчас же ситуация принципиально иная: речь идет не об отходе людей от православной веры, а, наоборот, о новом восприятии ее после господствовавшей долгие годы в обществе другой, выражаясь социологически, идеологии. И эта идеология еще достаточно сильна в общественном сознании, особенно в провинции, в глубинке, где принудительный отрыв от нее может иметь непредсказуемые последствия. Термин «национальный консерватизм», употребленный в «Земщине», выражает собою сегодня более широкое понятие, нежели только Православие, как это было в прошлом веке. И нельзя поэтому отталкивать столь жестко поставленным выбором (или православный, или... не русский) миллионы не готовых пока к этому русских людей (особенно это касается рабочих, уже самостоятельно избавляющихся от идеологического пресса): ведь для того, чтобы вернуться к Вере не на словах, нужна глубокая внутренняя работа. В. В. Кожинов также отмечает, что «наиболее важно, несомненно, совершающееся ныне покаяние в преступлениях, начиная с убийства царской семьи... И особенно существенно, что [оно] совершается добровольно, никак не продиктованное извне...» (разрядка Кожинова. — *В. П.*)

Удрученное впечатление остается и от репортажа «Казачий съезд» в № 5 «Земщины». Рассказывая о выборах атамана, автор замечает: «избранный атаман является членом КПСС, что некоторые казаки восприняли как несовместимость со званием атамана... Атамана спросили, — как же теперь его называть, господином атаманом или товарищем атаманом? На что А. Мартынов ответил: «товарищем». И автор делает сногсшибательный вывод: «Сильна еще «краснозвездная» болезнь, которая парализовала большую часть населения России». Пристало ли русским патриотам быть столь нетерпимыми по отношению к «большей части населения» своей страны? Поэтому «Земщине» хочется пожелать большего реализма и взвешенности в характеристике нашего времени.

* * *

Понимание русского слова «товарищ» в его истинном значении демонстрирует газета «Русское товарищество», издаваемая Товариществом русских художников совместно со Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Вот как об этом говорится в передовице первого номера:

> «... когда спросят нас, с кем мы, с какой партией или группой, во имя каких идеалов живете, ответим трезво и спокойно — наши идеалы исторические: Вера, Народ, Отечество. Наша партия — Россия. Ее государственной и человеческой судьбой объединены, возрождением ее жизненных сил скреплены. И в этом простой и великий смысл нашего общего дела. Дела Русского товарищества».

В девизе газеты — гоголевские слова: «Нет уз святее товарищества!..» — именно они проясняют духовную цель ее названия, насущно необходимую ныне, когда народное согласие разрушается самодовлеющим плюрализмом.

Осознание народом себя духовной целостностью, единение россиян перед надвигающимися, да и уже происходящими «великими потрясениями» — такую сверхзадачу реализует «Русское товарищество» во многих своих публикациях. «Кто в доме хозяин?» — так называется статья Владимира Еременко в № 1, поднимающая больной вопрос о соотношении и активности в нашем обществе действительных хозяев и перелетных приживал:

> «Оттого и выглядят жалкими попытки звонкоголосых критиков провозгласить гениальными недавно опубликованные произведения В. Гроссмана, Абрама Терца, В. Войновича, что проникнуты они обидой на русский народ, который не сумел сломить сталинскую деспотию и не обеспечил элите беззаботную жизнь. Потому-то в их творениях с такой легкостью оскорбляются народные святыни... да и сам народ огульно именуется «рабской душонкой». И что удивительно, от русских же людей, замороченных упреками прилитной прессы, иной раз и слышишь: «да, рабы мы... терпели... перед всеми кругом виноваты...»

В статье убедительно, на большом ис-

торическом материале развенчивается такая точка зрения, однако жаль, что автор затем обильно тратит лишние аргументы, критикуя Войновича, Рязанова, Аксенова и низводя тем самым до их уровня высоту постановки вопроса.

Газета последовательно проводит мировоззренческую линию на воссоединение разорванного русского духа — в нее укладываются и репортаж о выставке ИМКА-пресс в Москве, и перепечатки из русских газет Зарубежья (освещающие, кстати, и глобальные проблемы), и любопытная информация о нынешней работе ВООПИиК, под эгидой которого организован Союз потомков российского дворянства («Дворянское собрание»):

> «В обращении к Верховному Совету РСФСР, принятом на этом собрании, содержится призыв восстановить в гражданстве РСФСР лиц, подданных бывшей Российской империи, покинувших Отечество в период «первой волны эмиграции» не по своей воле, и их потомков».
>
> «...успешно прорабатывается вопрос о создании совместно с потомками первой волны русской эмиграции ряда культурных центров, где бы дети эмигрантов смогли прикоснуться к родной земле, пообщаться со своими сверстниками».

Молодые люди весьма часто выступают в «Русском товариществе», но в политике газеты нет того «каждения молодым силам», об опасности которого предупреждал еще И. С. Аксаков (отрывки из его публицистического наследия можно прочитать в № 1). Да и сами выступления эти явно не уровня «молодежной печати», справедливо ассоциируемой с дешево-либеральными сплетнями. Примером тому — «Заметки о современной поэзии» пока еще малоизвестного критика Алексея Филимонова, опубликованные в том же номере, где чувствуется далеко не «начинающий» взгляд на нынешнее противостояние А. Вознесенского с «метаморфистами» и поэтов направления Ю. Кузнецова и М. Гаврюшина.

В «Русском товариществе» впервые опубликованы отрывки из «Бесконечного тупика» — труда современного философа Дмитрия Галковского, сопровождаемые предисловием Вадима Кожинова, убежденного, «что в культуру России вошло новое весомое имя». Позволю себе здесь привести один такой отрывок, наглядно высвечивающий процесс даже географических экспериментов над нашей страной:

> «Вот он, Север России. И это, однако, предусмотрено. Можно сказать Север Грузии или Север Эстонии. Но в России не Север, а Зона. И зона даже не России, а РСФСР. И не РСФСР даже, а почвы РСФСР. И не собственно почвы, а зона отсутствия некоторого вида почв: «Нечерноземная зона РСФСР». Вот так. Дальше некуда. Просто нельзя. Может, и хотелось бы, но нельзя».

Боль за свой поруганный народ заставила газету предложить в первом номере анкету с вопросами о разрушенных храмах, призванную послужить составлению возможно более полного их списка, необходимого для подготовки единой реставрационной работы.

Среди других «находок» издания — рубрика «Без комментариев!», где приводятся образчики из обнаглевшей левой прессы, которая уже порою ничего не скрывает:

> «Наши предки кинулись сразу во все стороны — в Германию за знанием, в Америку — за богатством, в Россию за властью — и в Палестину».
> («Вестник еврейской советской культуры»).

Остроумен в «Русском товариществе» также жанр политической карикатуры и вообще использование юмора (что совершенно зря упускают из виду другие патриотические издания) — так, во втором номере читатели могут ознакомиться с рассказами Аркадия Аверченко «Новая русская сказка» и «Мартов и Абрамович».

Стоит отметить и то, что газете удалось найти свое оригинальное оформление, в том числе и открывающее каждый номер стихотворение из русской классики, служащее как бы ему эпиграфом.

Таким образом, «Русское товарищество» это ярко выраженная национально-консервативная газета. Она находится пока в процессе своего становления и переживает «трудности роста» — так, среди ее недостатков хотелось бы указать на устарелость некоторых публицистических выступлений. Консерватизм сегодня может выжить и победить в общественном сознании, лишь преодолев запаздывание своей оценки всевозможных левых прожектов, отступление перед их «обличительством». И для того, чтобы не быть в арьергарде событий, газете необходима налаженная информационная база, которая позволит ей более активно откликаться на текущие события и упреждать своим анализом лихих манипуляторов ими.

* * *

Пример такого нахождения в авангарде событий, большой актуальности выступлений подает газета Фонда славянской письменности и славянских культур «Славянский вестник». В ее втором номере с подзаголовком «Событие этих дней» опубликована рецензия протоиерея Владислава Свешникова на брошюру А. И. Солженицына «Как нам обустроить Россию?».

> «Солженицыну ли... не понимать, что с покаянного возвращения к вере отцов, к живой вере в Бога может только начаться трудное наше выздоровление? Ужели достаточно слегка (по сравнению, например, с системой выборов, которой он столько уделяет места) об этом упомянуть?»

Сказано достаточно жестко, но искренне, и в этом чувствуется продуманная самостоятельная позиция газеты, справедливо считающей ущербным то всеобщее

превозношение, которое вдруг сменило столь же всеобщую ругань.

Актуальность в «Славянском вестнике» понимают не как «дежурное» качество, она — явление более высокого порядка, призванная различать и освещать именно значимые духовно-культурные события. В этой связи размышления о современной музыке, изложенные композитором Кириллом Волковым в статье с «говорящим» названием «Я пишу оперу», также весьма актуальны для нашей культуры в шумные времена. А вот собственно информационная база, где властвует понятие «оперативность», в газете чрезвычайно слаба, если не вообще отсутствует, лишая тем самым издание «социального» голоса.

Это, впрочем, сполна компенсируется мощным порывом газеты к восстановлению в общественном сознании нашего исторического и культурно-философского наследия. Ведь очевидно, что образовавшаяся там в результате отторжения от него «экологическая ниша» усиленно заполняется разного рода вненациональными вульгарно-социологическими «концепциями» и «моделями».

Попытка же «Славянского вестника» восполнить эти непростительные пробелы строится на твердой национальной почве, точнее, многонациональной — славянской. «Газета «Славянский вестник», — говорится в передовице первого номера, — задумана именно для... сплочения славян вокруг духовных ценностей». А они у нас общие, родственные, просветленные Православием.

В послании редактору «Славянского вестника» Патриарх Московский и Всея Руси Алексий написал:

> «Полагаю ваше издание весьма своевременным. В экономическом, политическом и, пожалуй, культурном аспектах славянские народы сегодня уже вступили на путь унификации со всеми остальными европейскими народами. Тем более важно для нас лучше понять нашу культурную самобытность, попытаться, уже сквозь опыт нашего столетия, додумать то, что осталось нерешенным нашими мыслителями в веке прошлом... Очень хотелось бы, чтобы ваша газета избежала участи многих сегодняшних изданий и не вавязла бы в бесплодной и лишь взаимоожесточающей полемике со своими коллегами по перу».

Первый номер «Славянского вестника» напутствовал не только Патриарх, но и писатели — В. Г. Распутин и В. А. Солоухин. Это как ко многому обязывает, так и свидетельствует о том, что литература будет занимать в «Славянском вестнике» довольно большое место. Так, в двух номерах последовательно весь разворот отдается литературным произведениям — миниатюре Валентина Пикуля «Расстановка столбов» и отрывку из повести Александра Сегеня «Заблудившийся БТР». К этому надо добавить и проникновенное «Слово о Сергии» Дмитрия Балашова.

* * *

Газета «Воскресение» разрабатывает настолько широкий круг тем, что их не охватить и одним таким обзором. (Это стало возможным, заметим, прежде всего из-за отлаженной оперативной информационной базы издания.) Первой такой темой является деятельность вновь создаваемых патриотических организаций, что даст возможность газете в перспективе даже брать на себя определенные организаторские функции. Так, читатели всего лишь трех номеров узнали о мероприятиях Народно-православного движения, о создании общества «Россия», прочитали интервью (указывающие, кстати, на жанровое равнообразие в газете) с председателем Союза духовного возрождения Отечества Михаилом Антоновым, с руководителем Русского общинного союза (РОС) Александром Судавским и с членом Тверского городского клуба «Отечество» Владимиром Лавреновым. Такое владение социальной информацией позволяет «Воскресению» уже не только освещать, но и прогнозировать события. Вот, на основе беседы с довольно боевито настроенным жителем Белоруссии, журналист Алексей Федоров делает вывод: «...по справедливости, Литовская республика, отказываясь от сталинских актов, должна отказаться и от сталинского подарка, должна вернуть белорусские земли Белоруссии. А как будет — увидим. Но не дай Бог новой крови!»

Газета сильна и духовно-культурной информацией: постоянно ведутся рубрики, где сообщается о восстановлении храмов, о возрождении русских обычаев; опубликован репортаж о празднике славянской культуры, состоявшемся летом в Челябинской области. И на этом пути «Воскресение», конечно, не может обойти жгучую проблему разграбления нашей культуры, продолжающегося и по сей день. Так, в первом номере помещена реплика К. Александрова о вывезенной за пределы страны замечательной картине С. Присекина «Кто на Русь с мечом придет — от меча и погибнет», на которой «изображено около двухсот фигур, не повторяющих одна другую. Каждая выписана. Каждая самобытна. А в центре — под развевающимся Нерукотворным Спасом — святой благоверный великий князь Александр Невский, громящий захватчиков». И эта картина вот уже три года временно (!) хранится в советском посольстве в Париже. «Непонятно, какому народу у нас принадлежит искусство, — горько заключает автор. — Может статься, и эту картину, как две новгородские иконы, со временем нам же подарит какая-нибудь госпожа Рокфеллер?..»

Однако, когда «Воскресение» поднимает насущные социально-экономические вопросы, оно, к сожалению, само призывает к разрушению. Ибо в статье с командирским заголовком «Рыжков, в отставку!» содержатся самоуверенные фразы типа «Чем скорее беспомощное правительство Рыжкова уйдет в отставку, тем быстрее мы выкарабкаемся из голодной ямы». Стоит ли, пока нет разумной и до-

стойной альтернативы, повторять зады левых крикливых газет? Ведь ломать — не строить. И уж тем более — не восстанавливать уже сломанное.

А то, что сломано — предстает перед нами в «Царствовании Императора Николая II в цифрах и фактах» Б. Л. Бразоля. Брошюра эта опубликована в «Воскресении» за несколько месяцев до ее неполного воспроизведения в «Литературной России». Среди других историко-архивных публикаций — серия статей И. С. Аксакова, названия которых говорят сами за себя: «Возврат к народной жизни путем самосознания», «Отчужденность интеллигенции от народной стихии», «Народный отпор чужеземным учреждениям». В нескольких номерах газета знакомила своих читателей с документами крестьянской войны под предводительством А. С. Антонова, публикация которых совпала с ее 70-летием. Советская историография эти тамбовские события традиционно называет «мятежом», но «не было мятежа. Была настоящая крестьянская война, вызванная мародерством стоявших у власти Н. Райвида (секретаря губкома партии), А. Шлихтера (предгубисполкома), А. Гольдина (губпродкомиссара) и Ф. Трасковича (предгубчека) по отношению к тем, кто кормил их — к крестьянам». В газете приведены совершенно жуткие телеграммы, в которых «народная» власть приказывала расправляться с непокорившимся ей народом: «Если население бандитов и оружия не указало по истечении двухчасового срока, сход собирается вторично и взятые заложники на глазах у населения расстреливаются. После чего берутся новые... Каждый должен дать показания, не отговариваясь незнанием. В случае упорства производятся новые расстрелы и т. д.». Одним из подписывавших телеграммы и воплощавших «решения партии в жизнь» был командующий карательными войсками Тухачевский. И этот изувер — тоже «невинная жертва» 1937 года... А о том, что в 1938 году были осквернены могилы настоящих военных героев, об этом призывающие наставить памятников тухачевским предпочитают умалчивать... «В гробу Багратиона нашли золото. Это были бесценные реликвии, которые сносили в торгсин, где их принимали на вес... Кто же исполнитель этого злодеяния? Оказывается, некий Радус-Зеньковнч, сидевший тогда в Народном комиссариате просвещения(!), — расследует в № 3 журналист К. Ермаков и безнадежно надеется: Вот бы каким расследованием заняться «Мемориалу» да вернуть драгоценности народу».

Вкратце нужно остановиться и на таких, казалось бы, не «остропублицистических», но все-таки нужных публикациях «Воскресения», печатаемых им с продолжением. Это — увлекательное повествование Алексея Батогова «Графиня-разведчица» и «Введение в опыт» безлекарственного оздоровления Владимира Черкасова. «Воскресение» — это необходимая национально-популярная газета, причем слово «популярность» здесь начисто лишено сравнения с чем-то недолговечным: популяризировать, донести до самого широкого читателя нашу воскресающую историю, культуру, традиции, вызвать его на откровенный разговор о насущных проблемах — это большая и благородная работа.

* * *

Таковы уровень, глубина и размах публикаций четырех патриотических газет, начавших выходить совсем недавно, менее года назад. Недостатки их являются лишь, как говорится, продолжением их достоинств, коих, несомненно, больше, и у каждой они свои. Видимая даже из такого краткого и поверхностного обзора их самобытность и непохожесть друг на друга может только радовать: это далеко не тот плюрализм, который утверждает себя в дурной бесконечности «побольше разных, лишь бы разных». Все эти четыре газеты проникнуты духом национального единения в деле Возрождения России. Просто каждая из них видит и разрабатывает собственный путь к этому, и без такого разнообразия невозможно подлинное историческое творчество.

Газеты вступают на трудный путь и в трудное время, поэтому от поддержки своих увеличивающихся в числе читателей зависит их тираж, да и вообще жизнеспособность. Они, воплощающие голос русского народа, не должны сами стать гласом вопиющего в пустыне, затерявшись в вороxе левой прессы, уже теряющей свою популярность. Возрождение России начинается! Поэтому тех, кто может помочь этому с типографской базой, в распространении тиража новых русских газет, просят обращаться по нижеприведенным адресам. И еще: хотя у всех газет портфель «набит» интересными материалами, там всегда рады новым авторам.

«ЗЕМЩИНА»
Соредактор Вячеслав ДЕМИН.
Адрес редакции: 119501, Москва, ул. Веерная, д. 3, кор. 4, кв. 227. Тел. 441-58-79.

«РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО»
Редактор Вадим ШТЕПА.
Адрес редакции: 103012, Москва, ул. Разина, 8-Б. Тел. 298-56-02.

«СЛАВЯНСКИЙ ВЕСТНИК»
Редактор Вячеслав ОГРЫЗКО.
Адрес редакции: 103009, Москва, пр. Маркса, 18. Тел. 203-65-63.

«ВОСКРЕСЕНИЕ»
Редактор Алексей БАТОГОВ.
Адрес редакции: 121069, Москва, ул. Писемского, 7. Тел. 291-01-41.

Из нашей почты

«Хочется покоя и мира для несчастной России»

ОБЗОР ПИСЕМ ЗА 1990 ГОД

Приступая к обзору почты, полученной журналом в течение истекшего года, я хочу — от лица редакции — сердечно поблагодарить всех наших читателей, приславших добрые отклики и выразивших поддержку позиции «Нашего современника». Сразу отмечу, что таких писем — подавляющее большинство.

Хотя наш журнал является в первую очередь литературно-художественным, почта отделов прозы и поэзии невелика. Конечно, при сегодняшней политизации общества это естественно. Естественно, что публицистические выступления способны вызвать самый настоящий «бум», а почта «служителей муз» исчисляется сотней-другой писем. И, предлагая читателям настоящий обзор, я буду исходить лишь из «узловых» тем, наличествующих в нашей почте, т. е. остановлюсь на тех проблемах общественной жизни и публикациях журнала, которые вызвали значительный поток писем.

НАЧИНАТЬ НАДО С ФУНДАМЕНТА, А НЕ С КРЫШИ

Наибольшее число откликов пришлось на публикацию «Письма писателей, деятелей культуры и науки России» (№ 4). К письму присоединилось более 7 000 читателей. Начиная с № 6 мы публиковали выдержки из некоторых откликов, но это — капля в море. Если бы опубликовать все письма, получилась бы целая книга. Но, боюсь, читать ее было бы нелегко — столько скорби и горечи, боли за судьбу Отечества впитали эти строки! И в то же время почти все подписавшие Письмо читатели не потеряли надежду на воскрешение России, памятуя о ее извечной — трагической и высокой — судьбе: возрождении из пепла. Однако некоторые читатели — и, как выяснилось, не без оснований — высказали сомнение относительно адресатов Письма, уже не веря в способность высшего руководства страны проникнуться интересами России. Что ж, у нас нет причин спорить с ними, так как никакой реакции на Письмо не последовало ни со стороны Президента, ни со стороны Верховных Советов СССР и РСФСР (!).

Характерно для почты, вызванной Письмом, то, что множество пришедших писем — семейные, т. е. подписаны всеми членами семьи. Семья в России всегда имела очень большое значение, и то, что эта традиция не утрачена, право слово, вселяет оптимизм. В то же время 15 (всего 15!) отрицательных откликов подписаны, так сказать, одиночками. А ведь сие что-то значит...

Если говорить о социальном составе, то это в первую очередь техническая и творческая интеллигенция; к сожалению, удельный вес представителей рабочего класса, и особенно крестьянства, не столь велик. Но это естественно для почты любого «толстого» журнала, ибо самой читающей частью общества всегда являлась интеллигенция. Жаль, конечно, очень жаль, что наше слово порой не доходит до самых широких народных масс, но в чем причина этого, вернее, одна из причин (ибо об основных определенно сказано в самом Письме)? Вот как, например, рассуждает читательница Никонова из Ленинградской обл.: «Знаете, почему «Огонек» более интересен читателям? Он проще и доходчивее решает свои проблемы. Ваша же публицистика слишком умна и порой непонятна простому читателю. Надо напрягать внимание и ум, чтобы все улеглось в сознании». Характерен «проговор»: «Огонек» решает свои проблемы. Ну, а «НС» должен способствовать решению общероссийских проблем, своих у нас просто нету, да и быть не может. Знаменательно и то, что «Огоньку» простая читательница, по сути дела, отказывает в уме и указывает на пропагандистскую примитивную доходчивость[1].

Проблемы, поставленные в «Письме писателей, деятелей науки и культуры России», так или иначе находили отражение во множестве корреспонденций, поступивших в редакцию и до его публикации. Продиктованные как жизненными наблюдениями, так и размышлениями над прочитанным в прессе, они, можно сказать, явили собой определенную читательскую позицию по отношению к происходящему в стране.

Перед тем как впрямую обратиться к этим письмам, я приведу слова читательницы А. Алексюк из г. Львова, сопрово-

[1] К сожалению, в дальнейшем мне не раз придется обращаться к «Огоньку», но это воля читателей, поскольку львиная доля почты так или иначе связана с этим журналом. Так что здесь речь идет не о какой-то полемике «контроверзе», а о — по возможности — объективном освещении почты «НС».

див их небольшим комментарием: «Сколько бы ни стоила подписка на наш журнал, не откажусь от вас. Вы — глоток чистого воздуха среди всей этой желтой прессы, среди всех «огоньков», «знамен» и прочих «революционных» изданий. Надоела революция, надоела вся эта большевистская зараза, хочется покоя и мира для несчастной России». Задержим немного внимание на последних строках, на первый взгляд вроде бы антиперестроечных, ведь с самого начала и с самого верха происходящее в стране было названо революцией. А у подавляющего большинства населения страны за 68 предперестроечных лет сознательно или подсознательно сформировалось, скажем так, положительное отношение к этому слову. Между тем ряд явлений, возникших в ходе перестройки (как то: воскрешение русской философии начала века, возрождение влияния церкви и т. п.), свидетельствует о зачатках процесса скорее реставрационного — в сфере духовной культуры и служит как раз тому, о чем пишет читательница, — «покою и миру». В то же время в области идеологии, политики, экономики, социальных, межнациональных сферах перестройка приняла воистину р-революционный характер. Народу вновь предлагаются самые радикальные программы, самые радикальные действия, позволяющие «разрушить мир насилья» в самые сжатые сроки, например, в течение 500 дней, во имя многозначного «а затем...». (Недаром получил популярность мрачный анекдот: «— Что будет после 500 дней? — Сначала 9 дней, а потом 40 дней».) И наши читатели — в большинстве своем — хорошо понимают гибельность этого очередного тотального разрушения. Более того, революционные и постреволюционные явления прошлого у многих ассоциируются с днем сегодняшним, когда под лозунгами нового мышления, демократии, плюрализма и тому подобных «общечеловеческих ценностей» возникают масштабные движения необольшевистского толка, грозящие стране потрясениями невиданными даже в сравнении с 1917 годом.

Простой пример: голод и болезни, возникшие вследствие послереволюционной разрухи, унесли миллионы жизней в стране аграрной (!), где 85 процентов населения могло, имея землю и инвентарь, прокормить само себя. Каким же поголовным мором может грозить новый подобный катаклизм стране, процентный состав городского и сельского населения которой прямо противоположен тому, что был в 1917 г.! Но отчего-то даже такое элементарное умозаключение, внятное любому здравому уму, не приходит в головы тех деятелей, чьими усилиями (NB! Конечно же, направленными на благо, во имя демократии и прогресса!) подогреваются р-революционные страсти в чрезвычайно, я бы сказала, уже болезненно, истерично политизированном обществе.

Между тем, повторю, большинство читателей нашего журнала отвергает путь радикального переустройства (сиречь очередного непредсказуемого эксперимента). Так, например, ленинградец А. Седов пишет: «История всех революций, включая нашу Октябрьскую, должна все же научить нас, что действительно прогрессивным может быть только эволюционный путь развития, без каких-либо переворотов». Своими опасениями делится с редакцией москвичка К. И. Н-цкая[2], бывшая «демократка», подписчица первого года: «Считаю всю «Дем. Россию» необольшевиками и боюсь с их как раз стороны 87-го года! Я прозревала постепенно и кроме необольшевизма, нетерпимости и ставки даже на развал Родины, лишь бы самим выдвинуться, — ничего не вижу». Понимание опасности сложившегося в стране положения демонстрируют и строки из письма А. Козельского (г. Ярославль): «Я не призываю вас бороться с коммунистами — этим успешно занимаются «наши плюралисты». Тем более что вероятность гражданской войны, наверное, все-таки существует, и если мы не можем быть сами уверены и других убедить в том, что она невозможна, то не будем хотя бы участвовать в ее разжигании!» И хотя читатель каким-то образом усмотрел в «НС» желание консолидироваться с «ортодоксами вроде Нины Андреевой», его собственные взвешенные и серьезные слова дают ответ как ему самому, так и ряду наших корреспондентов, упрекающих журнал в «порочной любви» к коммунистам. Но вот, например, читатель Н. Потапов из Алтайского края, отказываясь от дальнейшей подписки на «НС», обвиняет журнал в прямо противоположных «грехах»: «журнал в последнее время принял монархическую окраску... Вот вы враждуете с журналом «Огонек». А какая разница между вами? Позиции разные, а взгляды одинаковые. Ненависть к советской власти — вот что вас объединяет. А социализм вы не отнимете у нас, мы за него глотки перегрызем».

Так что же ответить читателям, усматривающим в публикациях «НС» то коммунистический, то монархический «синдром»? Думается, такой «спор» справедливо разрешает тридцатипятилетний рабочий из Ленинграда Ю. Югаров. «Вы совершенно правы, — пишет он, обращаясь к редакции, — прежде криков о многопартийности, рынке и т. п. должна стоять Р о с с и я — как высшая ценность, н а ц и о н а л ь н а я и д е я, сам н а р о д. Начинать надо с фундамента, а не с крыши».

Положением России, состоянием страны в целом обеспокоены — и очень серьезно — почти все наши корреспонденты. Нет, конечно, единодушия во взглядах на те или иные вопросы перестройки да и на саму ее. Так, скажем, умонастроения значительной части наших читателей можно определить словами В. Сорокина (Курская область): «разделяю боль и тревогу за судьбу Союза и России. Да, мы скользим к пропасти. Сверху поторопились объявить перестройку, не объяснив народу, что это такое и научно не проработав ее». Показателен для нашей почты взгляд В. Сорокина и на радикальных «отцов» и «детей» перестройки: «Сбросили застойные забрала бывшие прилежные ученики американского Колумбийского университета — Яковлев и Калугин. Если первому, помимо всего прочего, не нравятся русские, восстанавливающие свою историю, культуру, поруганные храмы, то второй «поссорился» с КГБ именно сейчас, когда это ведомство активно занялось возвращением стране похищенных икон и иных ценностей». Весьма характерно и мнение А. Степанова из г. Астрахани: «Наши лидеры — люди с повышенной внушаемостью. Одному вбили в голову, что «экономика должна быть экономной», а другому кто-то «вовремя» (!) подсказал: «разрешено все, что не запрещено». Но для нашего одичавшего, уникально униженного общества это сейчас почти смертельно. Смотрите, сколько воронов-падальщиков слетелось на поживу...».

Нет, конечно, единства при оценке отдельных событий или личностей, предложений и действий, но в целом разброс мнений не столь велик, чтобы можно было говорить о взаимоисключающих позициях подавляющего большинства читателей, приславших письма, по отношению к главному вопросу — возрождению России как суверенного, сильного государства. Приведу ряд выдержек, наиболее полно отражающих смысл и дух писем, посвященных положению России, русского народа: «Сейчас нет более великой задачи для каждого русского человека, чем задача поднять Россию и русский национальный дух. Ведь 70 лет он безжалостно подавлялся и уничтожался. Великий народ унижен, забит, безгласен» (В. Баробохин, г. Волжский). «О том, что Россия безропотно отдает свои природные богатства за бесценок в другие республики Союза, нам было известно, но чтобы ежегодно отрывать от собственного народа 70 млрд. руб., — это уже, будем называть вещи своими именами, колониальный грабеж» (В. Яковлев, Ленинград). «Нас разорили в коллективизацию и в дальнейшем за счет неэквивалентного обмена, заниженных цен на наше сырье и продукцию, нас разоряли десятилетиями... На протяжении десятилетий русским людям словом и силой вдалбливали: отстаивание интересов своей нации есть страшный грех — шовинизм, поэтому наш народ стал безропотным, потерявшим веру в свои силы, не способным на самозащиту, отстаивание своих прав. Народ наш разобщен политически и идеологически... Но нам необходимо понять, что независимо от нынешнего социального, материального положения каждого, независимо от политической ориентации, у нас есть общий интерес. Все мы будем процветать, только если будет процветать Россия, и все мы будем бедствовать, если будет бедствовать она» (О. Пономарев, Москва). «Из нас умышленно или по недомыслию хотят вытравить русскую национальную гордость, «европеизируя» или «американизируя» нас. Но разве мы кого об этом просили? Хочет Москва превратиться в задворки США, как Куба при Батисте была публичным домом Америки, — это ее дело. Пусть она уподобляется федеральному округу Колумбия со своим статусом! Пусть становится кто хочет на задние лапки при виде всего зарубежного и угодливо скулит от радости, получая различные подачки. Мы, провинциальные россияне, этого не приемлем» (из выше цитированного письма А. Степанова).

Думаю, не стоит комментировать эти письма: они говорят сами за себя, как сами за себя говорят и нижецитируемые, в которых высказана озабоченность сегодняшним днем перестройки в сфере, так сказать, экономики (если таковую вообще можно как-то вычленить из единого комплекса государственных проблем, сиречь — ныне — узла противоречий). «В последнее время национальные богатства России, ее недра и леса стали подвергаться еще более интенсивному разграблению. Начался настоящий разбой. Ретивые хозяйственники, предприимчивые мазурики из различного рода кооперативов отправляют за рубеж миллионы кубометров леса, тысячи тонн стального проката, цветных и легированных металлов» (А Сычев и др., всего 8 подписей, г. Н. Новгород). «Свободные зоны и сектора экономического предпринимательства, привлечение зарубежных фирм имеют цель не только пробить брешь в системе нашей таможенной защиты, чтобы без помех выкачивать наши сырьевые богатства, но и расширять сферу иноземной капиталистической эксплуатации на советские города и целые области. Это неизбежно приведет к усилению порчи природной среды, к превращению наших территорий в мировой могильник для вредных промышленных отходов и в конечном счете к превращению нашей страны в сырьевой придаток и полуколонию развитых капиталистических государств» (Н. Федунов, ветеран ВОВ, г. Владимир). «Кому может быть выгоден хаос в стране? Конечно же тем, у кого сейчас лопаются кошельки и кто мечтает снять «социалистические препоны» и с полным размахом пустить в дело свои капиталы» (В. Картава, Краснодарский край). «Во время застоя образовался класс буржуазии с огромным капиталом. И этот капитал требует выхода, свободы, легализации. Этой легализации и добиваются новые буржуа через своих апологетов, идеологов, пропагандистов. Капиталу нужна частная собственность. Мы идем к буржуазному укладу, с молодой буржуазией, для которой все методы хороши» (К. Казицин, г. Н. Новгород). «Сегодня бурно обсуждается вопрос о частной собственности, но кто ее приобретет? Жулье накопило огромное богатство на горе народном. Только оно и может все скупить, но способны ли жулики действовать на благо страны, на благо наро-

[2] По просьбе читательницы не называю ее фамилию, ибо, как и она, вижу, что ситуация опасно балансирует на грани превращения «демократии» в «диктатуру». И ясно, что если последнюю назовут «демократической диктатурой» (а так недавно высказал частное Г. Попов), она не изменит свои изначальные свойства.

да? Кто защитит народ от своры жулья? К чему мы придем, распродав все и вся?.. Что защитит Россию от распродажи с молотка?» (Т. Грицко, г. Набережные Челны). «Мафии свои задачи перестроечной революции высказывает в печати и в других средствах информации. Прежде всего выделяется центральная идея о расчленении теперешней территории России (РСФСР) на десяток зон — самостоятельных территорий без российского центра. То, что не мог оружием осуществить Розенберг, должна осуществить мафия перестроечной революцией» (Н. Долбилкин, г. Хабаровск). «В наших условиях капитализм не будет похож на капитализм Франции, Англии, США, который развивался за счет отсталых стран. В наших условиях, в нашей стране это будет «Монстр» во главе с преступным миром, что приведет к величайшим лишениям для честных тружеников» (Б. Воронцов, г. Буча Киевской обл.).

Взгляды, нашедшие отражение в приведенных выдержках, явно преобладают в нашей почте. Но встречаются и противоположные мнения, однако вовсе не аргументированные, в духе выкрика-лозунга, как, например: «Молю бога, чтобы он мне дал хоть год-другой пожить в капиталистической кабале, подобной той, что задавила многострадальные народы соседних с нами стран: Швеции, Финляндии, Австрии, Южной Кореи, Турции и пр.» (М. Петров, ветеран труда, г. Тула). Авторы подобных единичных писем, знающие только, что т а м «хорошо», а здесь «плохо», к сожалению, не дают себе труда поразмыслить над с а м о й в о з м о ж н о с т ь ю с к а ч к а из одной общественно-экономической формации в другую, не говоря уже обо всем остальном, будто наша страна никогда и не «скакала» из одного строя в другой, будто нам неведомо, что при этом происходит. Могут возразить, что за прошедшие десятилетия мир очень существенно изменился во всех отношениях, однако, надеюсь, никто не станет отрицать, что на смену одним, скажем так, трудностям его существования и развития пришли другие (по известному закону бытия: каждое приобретение сопровождается потерей), в каких-то смыслах более катастрофичные для человечества.

Думаю, всем, кто мало-мальски интересовался причинами экономического процветания ряда (!) капиталистических стран (ибо в них живет лишь 15 процентов населения Земли), ясно, что своими успехами они обязаны не в последнюю очередь самому пристальному вниманию к характерологическим особенностям нации, т. е. учету и развитию лучших качеств народа, основанных на традиционных для каждого народа ценностях. Никто же не будет утверждать, что Япония и США — лидеры мировой цивилизации — достигли своего экономического могущества единым путем и на одинаковой основе. Однако те, кто ныне претендует на роль лидеров нации, судя по всему, не хотят принимать во внимание эту очевидность, бросаясь в поисках выхода то к шведскому, то к американскому, то к какому-либо другому «варианту». Здесь не место рассуждать о свойствах русского национального характера, и я только хочу затронуть одну его черту, вокруг которой в нашей почте разгорелись подлинные страсти.

Ни одно из опубликованных в этом году читательских писем не вызвало такого резонанса, как письмо от делегатов профсоюзной конференции ПО «Оренбургоблгаз» (№ 1), в котором резко критиковался академик Абалкин, посчитавший русский народ ленивым и в связи с этим выразивший сомнение в успехе экономической реформы и перестройки. Интересно, что количество писем, поддерживающих мнение Абалкина, и писем, опровергающих его, разгневанных, соотносится 1:1. Так, «за» Абалкина поступили, в частности, следующие отклики: «С Абалкиным вполне согласен, мы живем не хуже того, как работаем. Мне 66 лет, и я знаю, как народ работал в тридцатые, сороковые годы. А вот молодые, пришедшие нам на смену, не хотят нормально работать», — утверждает А. Иванов из Кемеровской области. (Получается, что старые и молодые — разный народ? Проблема «отцов и детей» всегда была, но не до такой же степени, чтобы этнос менялся...) «В томе 35-м у Ленина я прочитал: «Русский мужик — плохой работник». На это и сослался академик Абалкин, поэтому нет нужды ему извиняться», — простенько решает вопрос участник ВОВ В. В. Шитов из Ростовской области.

Еще отклик «за» Абалкина: «...если народ нельзя упрекнуть в лености, то чем объяснить долгий застой во всех наших делах? Кто повинен в застое? Только ли власть имущие, не способные рационально управлять нашим народным хозяйством? А народ здесь и ни при чем?» (М. П. Бабкин, Красноярский край).

Подобные вопросы есть и в других письмах в защиту Абалкина. Вот как отвечает на них, например, М. Яковлева, ветеран ВОВ и труда из г. Твери: «Если бы не эти сомнительные академики у руля науки и руководства, на плечи русского народа не выпало бы столько горьких испытаний. Я прожила долгую жизнь, сама всю жизнь работала и видела, как работали, жили да и сейчас живут люди. И уверена, что под этим письмом все бы они подписались». А вот ответ Л. Александровой из г. Грозного: «...дошло до того, что народный (?) депутат считает возможным оскорбить весь русский народ. У меня к Абалкину есть вопрос: «Почему во всех странах, где экономисты абалкины у власти, обязательно оказываются «ленивыми» народы? Например, поляки, венгры, румыны и даже немцы ГДР более «ленивые», чем в ФРГ? Ведь потребительский рынок там, по сравнению с другими странами Запада, весьма скудный. Если Абалкин приведет пример, где еще, кроме России, люди практически всю жизнь работают за палочки, но живут богато (в отличие от нас), я приму его оскорбление». Возмущены высказыванием Абалкина и А. Ермилов из Курской области, и Н. Есаулов из г. Архангельска, и Б. Артенюк из г. Ржева и многие другие.

Так как же все-таки обстоит дело — ленив русский человек или нет? Ведь, повторю, противоположные мнения высказало одинаковое число читателей (другой вопрос, что «аргументация» сторонников Абалкина, мягко говоря, шаткая). Думаю, в такой прямой пропорциональности и лежит путь к ответу. Русский человек, с одной стороны, действительно может быть очень ленивым (по сравнению, скажем, с немцем или японцем), с другой — способен поразить своей трудоспособностью и трудолюбием того же немца или японца. Весь вопрос в том, во имя чего, ради чего он должен работать, т. е. здесь имеет гигантское значение умо- и душенастроение людей, и одним рублем (будь он хоть трижды конвертируемый) вопроса не решить[8]. Примеров тому масса, и не в обзоре почты к ним обращаться.

Так что, формируя те или иные концепции вывода страны из кризиса, политикам и экономистам следует учитывать эту, если хотите, двойственную черту национального характера, когда с одной стороны — «с печи не слезу», а с другой — «горы сверну».

Кстати сказать, обратившись к «Обломову» И. Гончарова, можно вычитать, сколь тяжко русскому человеку сесть и написать письмо, все оттягивает да оттягивает, ленится, в общем. Принимая это утверждение, можно только порадоваться тому потоку писем, в которых читатели просто-напросто благодарят редакцию, выражают поддержку журналу. Так, скажем, даже новое оформление «НС» вызвало много откликов: «Спасибо вам за Минина и Пожарского. Отлично: на белом фоне — символ русского Духа» (Федоренко Л., г. Киев). Воин-афганец Завылов О. из Н. Новгорода признается: «Меня поразила надпись на обложке — «Журнал писателей России», и я понял, что ждал этого много лет». Новое оформление журнала приветствуют и десятки других читателей. Это и семья О. Скрынской из Ленинграда, и И. Майков из г. Киева, и А. Мурсалов из Дагестана, и семья Ревенко из Ростовской области, и многие другие.

Мы знаем, что большинство читателей «НС», несмотря на всяческие перестройки, остаются верными своему выбору. В то же время мы счастливы тем, что обрели в минувшем году и новых друзей. Дадим им слово: «В этом году я впервые выписала ваш журнал. Не знаю, как благодарить вас за все, что вы напечатали. Например, повесть «Третья правда», рассказ «Последний парад», М. Цветаева, А. Солженицын, прекрасные статьи и вообще — все. Все, что от меня зависит, я сделаю, чтобы каждый хороший человек выписывал ваш журнал. Благодарю вас за вашу благородную деятельность» (Сазонова М., Одесская область). «Подписался на журнал первый год. Жаль, что не выписывал раньше» (Григорьев В., 30 лет, г. Москва). «Многие годы я была читательницей только ж. «Огонек» и др. ему подобных изданий. Решила: а почему я должна знать что-то о чем-то из вторых рук? Стала читать ваш журнал и пришла в изумление: да где же я до сих пор была!.. Ведь «Современник» действительно наш!» (Караваева Р., г. Куйбышев). «Сразу скажу, что я перебежчик из стана «ЛГ» — «Юность» — «Новый мир». Спасибо за ваш журнал. Что вас отличает, так это аргументация. Сильнейший состав авторов раздела публицистики» (Старцева, г. Люберцы Моск. обл.). «В «НС» я обрел настоящего близкого друга. Для меня он — живой родник России. Ваш журнал самый мощный, духовный из всех журналов, которые я читал. Настоящим открытием для меня были К. Леонтьев и П. Столыпин, патриарх Тихон и «Народная монархия» И. Солоневича» (С. Котенев, 18 лет, г. Новосибирск).

Сотни писем от бывших приверженцев «Огонька» и иже с ним приходили в нашу редакцию. Поименно назвать всех невозможно, но сам факт в ы б о р а говорит за себя. Нам есть на кого опереться. И радостно сознавать, что все больше людей, способных думать и сопереживать своему Отечеству, способных понять, кто за его возрождение, а кто — за гибель, начинают поддерживать «НС». Вот что пишет С. Черноусов и его единомышленники из г. Перми: «До конца прошлого года я выписывал журнал «Огонек». Выписывали его и многие мои знакомые. Но, видимо, произошло у всех нас пресыщение той бульварной информацией, той дурно пахнущей «духовной пищей», которой нас кормил этот журнал, на чьих страницах буйным цветом произрастает махровый сионизм». Приведем еще несколько выдержек из писем наших единомышленников. «Пока издается журнал, у нас живет вера в возрождение нации, он духовно питает русских людей, придает им силы и позволяет разобраться в истории и сегодняшнем дне нашего многострадального и великого Отечества, и нет сегодня у коренного населения страны большей ценности, чем журнал «Наш современник», — такую оценку нашей деятельности дает читатель Л. П. Масловский (г. Пятигорск). С другой стороны, киевлянин А. Коростин верно оценивает ситуацию, создаваемую определенными силами вокруг журнала: «Мне 16 лет, многое мне еще не совсем ясно, но факты свидетельствуют сами за себя. Честным людям, как вы, не дают — безнаказанно — сказать в защиту Отечества ни слова». «Спасибо, что вы не предали и не продали Россию в эти годы «перестройки» (Н. Петров, г. Воронеж). «Чувствую себя уверенней и спокойней, зная, что у России есть Куняев и Белов, Распутин и Кожинов...» (Д. Ширяев, г. Дзержинск). «Ваш журнал — это колокол России! Мы полностью разделяем ваше беспокойство за судьбу страны. Больно видеть, как процветает у нас пьянство

[8] В этой связи вспоминается недавнее широковещательное заявление известного демократа Н. Травкина, чья «универсальная» социально-экономическая мысль достигла-таки наконец «сияющей вершины»: «Человек работает потому, что ему платят».

да? Кто защитит народ от своры жулья? К чему мы придем, распродав все и вся?.. Что защитит Россию от распродажи с молотка?» (Т. Грицко, г. Набережные Челны). «Мафия свои задачи перестроечной революции высказывает в печати и в других средствах информации. Прежде всего выделяется центральная идея о расчленении теперешней территории России (РСФСР) на десяток зон — самостоятельных территорий без российского центра. То, что не мог оружием осуществить Розенберг, должна осуществить мафия перестроечной революцией» (Н. Долбилкин, г. Хабаровск). «В наших условиях капитализм не будет похож на капитализм Франции, Англии, США, который развивался за счет отсталых стран. В наших условиях, в нашей стране это будет «Монстр» во главе с преступным миром, что приведет к величайшим лишениям для честных тружеников» (Б. Воронцов, г. Буча Киевской обл.).

Взгляды, нашедшие отражение в приведенных выдержках, явно преобладают в нашей почте. Но встречаются и противоположные мнения, однако вовсе не аргументированные, в духе выкрика-лозунга, как, например: «Молю бога, чтобы он мне дал хоть год-другой пожить в капиталистической кабале, подобной той, что задавила многострадальные народы соседних с нами стран: Швеции, Финляндии, Австрии, Южной Кореи, Турции и пр.» (М. Петров, ветеран труда, г. Тула). Авторы подобных единичных писем, знающие только, что т а м «хорошо», а здесь «плохо», к сожалению, не дают себе труда поразмыслить над с а м о й в о з м о ж н о с т ь ю с к а ч к а из одной общественно-экономической формации в другую, не говоря уже обо всем остальном, будто наша страна никогда и не «скакала» из одного строя в другой, будто нам неведомо, что при этом происходит. Могут возразить, что за прошедшие десятилетия мир очень существенно изменился во всех отношениях, однако, надеюсь, никто не станет отрицать, что на смену одним, скажем так, трудностям его существования и развития пришли другие (по известному закону бытия: каждое приобретение сопровождается потерей), в каких-то смыслах более катастрофичные для человечества.

Думаю, всем, кто мало-мальски интересовался причинами экономического процветания ряда (!) капиталистических стран (ибо в них живет лишь 15 процентов населения Земли), ясно, что своими успехами они обязаны не в последнюю очередь самому пристальному вниманию к характерологическим особенностям нации, т. е. учету и развитию лучших качеств народа, основанных на традиционных для каждого народа ценностях. Никто же не будет утверждать, что Япония и США — лидеры мировой цивилизации — достигли своего экономического могущества единым путем и на одинаковой основе. Однако те, кто ныне претендует на роль лидеров нации, судя по всему, не хотят принимать во внимание эту очевидность, бросаясь в поисках выхода то к шведскому, то к американскому, то к какому-либо другому «варианту». Здесь не место рассуждать о свойствах русского национального характера, и я только хочу затронуть одну его черту, вокруг которой в нашей почте разгорелись подлинные страсти.

Ни одно из опубликованных в этом году читательских писем не вызвало такого резонанса, как письмо от делегатов профсоюзной конференции ПО «Оренбургоблгаз» (№ 1), в котором резко критиковался академик Абалкин, посчитавший русский народ ленивым и в связи с этим выразивший сомнение в успехе экономической реформы и перестройки. Интересно, что количество писем, поддерживающих мнение Абалкина, и писем, опровергающих его, разгневанных, соотносится 1:1. Так, «за» Абалкина поступили, в частности, следующие отклики: «С Абалкиным вполне согласен, мы живем не хуже того, как работаем. Мне 66 лет, и я знаю, как народ работал в тридцатые, сороковые годы. А вот молодые, пришедшие нам на смену, не хотят нормально работать», — утверждает А. Иванов из Кемеровской области. (Получается, что старые и молодые — разный народ? Проблема «отцов и детей» всегда была, но не до такой же степени, чтобы этнос менялся...) «В томе 35-м у Ленина я прочитал: «Русский мужик — плохой работник». На это и сослался академик Абалкин, поэтому нет нужды ему извиняться», — простенько решает вопрос участник ВОВ В. В. Шитов из Ростовской области.

Еще отклик «за» Абалкина: «...если народ нельзя упрекнуть в лености, то чем объяснить долгий застой во всех наших делах? Кто повинен в застое? Только ли власть имущие, не способные рационально управлять нашим народным хозяйством? А народ здесь и ни при чем?» (М. П. Бабкин, Красноярский край).

Подобные вопросы есть и в других письмах в защиту Абалкина. Вот как отвечает на них, например, М. Яковлева, ветеран ВОВ и труда из г. Твери: «Если бы не эти сомнительные академики у руля науки и руководства, на плечи русского народа не выпало бы столько горьких испытаний. Я прожила долгую жизнь, сама всю жизнь работала и видела, как работали, жили да и сейчас живут люди. И уверена, что под этим письмом все бы они подписались». А вот ответ Л. Александровой из г. Грозного: «...дошло до того, что народный (?) депутат считает возможным оскорбить весь русский народ. У меня к Абалкину есть вопрос: «Почему во всех странах, где экономисты абалкины у власти, обязательно оказываются «ленивыми» народы? Например, поляки, венгры, румыны и даже немцы ГДР более «ленивые», чем в ФРГ? Ведь потребительский рынок там, по сравнению с другими странами Запада, весьма скудный. Если Абалкин приведет пример, где еще, кроме России, люди практически всю жизнь работают за палочки, но живут богато (в отличие от нас), я приму его оскорбление». Возмущены высказыванием Абалкина и А. Ермилов из Курской области, и Н. Есаулов из г. Архангельска, и Б. Артенюк из г. Ржева и многие другие.

Так как же все-таки обстоит дело — ленив русский человек или нет? Ведь, повторю, противоположные мнения высказало одинаковое число читателей (другой вопрос, что «аргументация» сторонников Абалкина, мягко говоря, шаткая). Думаю, в такой прямой пропорциональности и лежит путь к ответу. Русский человек, с одной стороны, действительно может быть очень ленивым (по сравнению, скажем, с немцем или японцем), с другой — способен поразить своей трудоспособностью и трудолюбием того же немца или японца. Весь вопрос в том, во имя чего, ради чего он должен работать, т. е. здесь имеет гигантское значение умо- и душенастроение людей, и одним рублем (будь он хоть трижды конвертируемый) вопроса не решить[3]. Примеров тому масса, и не в обзоре почты к ним обращаться.

Так что, формируя те или иные концепции вывода страны из кризиса, политикам и экономистам следует учитывать эту, если хотите, двойственную черту национального характера, когда с одной стороны — «с печи не слезу», а с другой — «горы сверну».

Кстати сказать, обратившись к «Обломову» И. Гончарова, можно вычитать, сколь тяжко русскому человеку сесть и написать письмо, все оттягивает да оттягивает, ленится, в общем. Принимая это утверждение, можно только порадоваться тому потоку писем, в которых читатели просто-напросто благодарят редакцию, выражают поддержку журналу. Так, скажем, даже новое оформление «НС» вызвало много откликов: «Спасибо вам за Минина и Пожарского. Отлично: на белом фоне — символ русского Духа» (Федоренко Л., г. Киев). Воин-афганец Завылов О. из Н. Новгорода признается: «Меня поразила надпись на обложке — «Журнал писателей России», и я понял, что ждал этого много лет». Новое оформление журнала приветствуют и десятки других читателей. Это и семья О. Скрынской из Ленинграда, и И. Майков из г. Киева, и А. Мурсалов из Дагестана, и семья Ревенко из Ростовской области, и многие другие.

Мы знаем, что большинство читателей «НС», несмотря на всяческие перестройки, остаются верными своему выбору. В то же время мы счастливы тем, что обрели в минувшем году и новых друзей. Дадим им слово: «В этом году я впервые выписала ваш журнал. Не знаю, как благодарить вас за все, что вы напечатали. Например, повесть «Третья правда», рассказ «Последний парад», М. Цветаева, А. Солженицын, прекрасные статьи и вообще — все. Все, что от меня зависит, я сделаю, чтобы каждый хороший человек выписывал ваш журнал. Благодарю вас за вашу благородную деятельность» (Сазонова М., Одесская область). «Подписался на журнал первый год. Жаль, что не выписывал раньше» (Григорьев В., 30 лет, г. Москва). «Многие годы я была читательницей только ж. «Огонек» и др. ему подобных изданий. Решила: а почему я должна знать что-то о чем-то из вторых рук? Стала читать ваш журнал и пришла в изумление: да где же я до сих пор была!.. Ведь «Современник» действительно наш!» (Караваева Р., г. Куйбышев). «Сразу скажу, что я перебежчик из стана «ЛГ» — «Юность» — «Новый мир». Спасибо за ваш журнал. Что вас отличает, так это аргументация. Сильнейший состав авторов раздела публицистики» (Старцева, г. Люберцы Моск. обл.). «В «НС» я обрел настоящего близкого друга. Для меня он — живой родник России. Ваш журнал самый мощный, духовный из всех журналов, которые я читал. Настоящим открытием для меня были К. Леонтьев и П. Столыпин, патриарх Тихон и «Народная монархия» И. Солоневича» (С. Котенев, 18 лет, г. Новосибирск).

Сотни писем от бывших приверженцев «Огонька» и иже с ним приходили в нашу редакцию. Поименно назвать всех невозможно, но сам факт в ы б о р а говорит за себя. Нам есть на кого опереться. И радостно сознавать, что все больше людей, способных думать и сопереживать своему Отечеству, способных понять, кто за его возрождение, а кто — за гибель, начинают поддерживать «НС». Вот что пишет С. Черноусов и его единомышленники из г. Перми: «До конца прошлого года я выписывал журнал «Огонек». Выписывали его и многие мои знакомые. Но, видимо, произошло у всех нас пресыщение той бульварной информацией, той дурно пахнущей «духовной пищей», которой нас кормил этот журнал, на чьих страницах буйным цветом произрастает махровый сионизм». Приведем еще несколько выдержек из писем наших единомышленников. «Пока издается журнал, в нас живет вера в возрождение нации, он духовно питает русских людей, придает им силы и позволяет разобраться в истории и сегодняшнем дне нашего многострадального и великого Отечества, и нет сегодня у коренного населения страны большей ценности, чем журнал «Наш современник», — такую оценку нашей деятельности дает читатель Л. П. Масловский (г. Пятигорск). С другой стороны, киевлянин А. Коростин верно оценивает ситуацию, создаваемую определенными силами вокруг журнала: «Мне 16 лет, многое мне еще не совсем ясно, но факты свидетельствуют сами за себя. Честным людям, как вы, не дают — безнаказанно — сказать в защиту Отечества ни слова». «Спасибо, что вы не предали и не продали Россию в эти годы «перестройки» (Н. Петров, г. Воронеж). «Чувствую себя уверенней и спокойней, зная, что у России есть Куняев и Белов, Распутин и Кожинов...» (Д. Ширяев, г. Дзержинск). «Ваш журнал — это колокол России! Мы полностью разделяем ваше беспокойство за судьбу страны. Больно видеть, как процветает у нас пьянство,

[3] В этой связи вспоминается недавнее широковещательное заявление известного демократа Н. Травкина, чья «универсальная» социально-экономическая мысль достигла-таки наконец «сияющей вершины»: «Человек работает потому, что ему платят».

бездуховность» (семья Корякиных, г. Москва).

Многие письма наших читателей посвящены такому страшному, охватившему всю Россию злу, как алкоголизм. «Почему прекратилась кампания за трезвость, или мы перестали пьянствовать?!» — восклицает ленинградец В. Еремин. «Сейчас наша бюрократия вновь развернула систему спаивания, и это беспокоит», — тревожится читатель В. Кривоногов из г. Красноярска. Немало писем содержат и упреки в адрес журнала: «Нас удивляет то обстоятельство, что последнее время из журнала исчезла рубрика «Наш современник» — клубам трезвости»... Страна в запое, глушит бормотуху, а работать кому? ...Подорван генофонд, мы теряем поколение за поколением, дебилизация охватила всю страну, подорваны нравственные устои, а алкогольная гадина расползается все шире. Надо бить в набат, и журнал должен внести свою лепту» (семья Байкаловых, г. Иркутск).

Отвечу читателям, что «НС» имеет намерение вернуться в своих публикациях к этой тяжелой проблеме, поскольку речь идет действительно о национальном выживании.

В этой связи я хочу кратко прокомментировать письмо учительницы истории из Свердловска — Семеновой С. А., приславшей в редакцию анкеты своих учеников-восьмиклассников (почти у всех родители пьют). Анкеты, составленные учительницей, включали несколько простеньких вопросов по географии, культуре и истории (были указаны даты и спрашивалось, какие события они означеновывают). И вот результат: пятнадцатилетние молодые люди, жители крупного областного центра (!), продемонстрировали следующие познания (причем повторение ошибок говорит о традиционном списывании). Некоторые не смогли назвать более 5 союзных республик; в числе частей света часто фигурировала Аргентина; такие даты российской истории, как 1380, 1825, 1861 гг., ничего (!) не говорили половине опрошенных школьников! Больше повезло 1812 году, но и здесь нашлись ребята, видевшие во главе русской армии... Суворова. На вопрос, кого вы знаете из русских писателей, отвечали — почти без исключений — одинаково: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. То же с художниками: Репин, Васнецов, Перов. И это еще наиболее полные ответы, часто ограничивались Пушкиным, а в другом случае — Репиным. Русские народные песни в сознании молодых этнически русских людей ассоциировались исключительно с «Калинкой-малинкой», иногда еще с «Во поле березонька стояла...». Зато вопрос, какие вы знаете ансамбли, рок-группы и т. п., не вызвал у подавляющего большинства никаких трудностей. По полстраницы исписывали ребята, порой даже латинскими буквами, указывали до 30 (!) названий! Не знаю как кому, а мне было страшно читать эти короткие (как приговор) строки, было бесконечно жаль и этих ребят, и страну, еще 35 лет назад занимавшую 2-е место в мире по уровню интеллектуального развития, а ныне скатившуюся за 50-е.

Вот что написала сама учительница: «Может, эти данные об одном классе, типичном для нашей современной школы, заставят узнать всю правду о нашем обществе... Пьянство и массовая культура — вот что губит молодежь и наше будущее». Трудно не согласиться с этими горькими словами...

«ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ», ИЛИ «УСЛУЖЛИВЫЙ ДУРАК ОПАСНЕЕ ВРАГА»

Против засилья «масскульта», бесконечной его пропаганды на ТВ, в других средствах массовой информации выступают многие читатели, но еще большее возмущение вызывает у них разнузданная антирусская кампания (хотя, если вдуматься, это глубоко взаимообусловленные явления), охватившая почти всю прессу и телевидение.

Писем на эту тему очень много, причем больше всего «достается» «Огоньку» — как от давних, так и от недавних его подписчиков. Так, Л. Точкова из г. Барнаула, возмущенная оскорбительными для русских инвективами в адрес В. Распутина, опубликованными в «Огоньке», восклицает: «Я против свободы печати! Какие отвратительные оскорбления печатаются сейчас, когда печать «несвободна». Что будет, когда она получит свободу?». Ей вторит киевлянка Т. Метлина: «Журнал «Огонек» — это королевство скандальной хроники... Т. Иванова призывает к миролюбию (№ 16), а сама — просто «чернобыльский факел». Чистякова Г. из г. Великие Луки пишет: «Есть такая артиллерийская команда: «По такому-то объекту — огонь!» Так вот журналу «Огонек» больше соответствовало бы название «По России — огонь!». Читатель И. Афонин из г. Саранска, по первоначалу «опьяненный огоньковской гласностью», отмечает: «Я буквально дышал этой гласностью. А потом постепенно, от номера к номеру, все чаще стал задумываться и размышлять: что за цель у журнала, чего добиваются они и ради чего? И в конце концов мне стало жаль, что я подписчик «Огонька». Каждый очередной номер я беру в руки с таким ощущением, когда берешь в руки жабу или гадюку: интересно прикоснуться, но противно и боязно — ужалит». Из «Открытого письма Коротичу»: «Есть некоторые «Огоньки», по ознакомлении с которыми возникает желание уйти из этой грязной, преступной, лживой, безнравственной и, главное, беспросветной жизни. А заверения главного редактора в объективности... так сейчас даже самый несведущий в журналистике читатель знает, что такое селекция, якобы объективный отбор писем-откликов, формирование авторского актива и т. п. Не объективность это, а позиция — позиция деструктивная, на разрушение» (В. Логачев, г. Кишинев).

Оценка деятельности средств массовой информации так или иначе присутствует в большинстве писем, поступивших в редакцию. Это может, с одной стороны, показаться странным — ведь столько проблем у страны! Но с другой — является совершенно закономерной, здоровой реакцией на тот «беспредел», что учиняет «четвертая власть». Характерно, что просьбы о публикации сопровождают в первую очередь именно письма, посвященные «демократической» прессе. Поэтому будет справедливым предоставить слово еще хотя бы нескольким читателям.

«Со страниц газет и журналов, с экранов телевизоров сегодня, как и 10 лет назад, нам внушают бесстыдную ложь, — утверждает Е. Алексеев из г. Великие Луки. — Но если раньше все знали, что им внушают ложь, то сегодня многие полагают, что слышат правду. Ведь перестройка же, гласность! А гласности-то и нет. Есть голоса только из одного лагеря. Это разве не тоталитаризм?!» Так же считает и москвичка Н. Михайлова: «У так называемых средств массовой информации явно выраженное «косоглазие»: левым глазом все видят, правым глазом ничего не видят и не хотят». Читательница Е. Клевенская из Московской области, отмечая «потрясающие успехи» прессы и иже с ней «в деле оболванивания народа», задается вопросом: «Почему рабочие тетки, едущие в электричке, значительно разумнее и самостоятельнее разбираются в политике, чем некоторые мои знакомые интеллигентные дамы? Я долго не могла понять, почему такая разница в интеллекте, и не в пользу интеллигенции, а потом дошло: интеллигенция больше читает и, таким образом, подвергается большему оболваниванию, чем рабочие и крестьяне».

Читатель А. Губин из г. Истра Московской обл. резко оценивает публикации «ЛГ»: «Шелухой» называет анонимный автор («ЛГ» от 7 февраля) идею возрождения России! И это при том, что на первой странице этой же газеты помещено заявление Антисионистского комитета советской общественности, где, кроме всего прочего, говорится о выступлениях, «оскорбляющих национальные чувства и достоинство евреев». Что ж, видимо, их национальные чувства оскорблять нельзя, а наши можно». «А знаете, — обращается к редакции О. Лазарева из Ленинграда, — до телепередач «Пятое колесо» и «Взгляд» я как-то просто делила всех людей на порядочных и подлецов, зная, что в любой нации есть хорошие и скверные люди. Но, посмотрев несколько раз «Пятое колесо» с Бэллой Курковой, я ужаснулась...»

Большую почту вызвал известный (ах, благодаря им же — дем. средств. масс. инф.) инцидент в ЦДЛ (Осташвили и К°). Мнение приславших письма было единым: «Уверен, что акция в ЦДЛ была провокацией» (Н. Савченков, Моск. обл.). «По моему глубокому убеждению, это дело рук комитета «Апрель» (Д. Исаев, г. Новосибирск). «...«Апрель» и его крылышко «Память»... мне зачастую видится, что эти две организации взаимосвязаны в заранее спланированных провокационных действиях против настоящих русских писателей, народа и самой России» (А. Кузнецов, ветеран ВОВ, г. Вильнюс).

Ироничное письмо прислал А. Шерстюк из г. Кисловодска (отклик на огоньковскую статью «Дети Шарикова год спустя»): «Полсотни шариковых разогнали несколько сотен литераторов? Ну так и поделом, если не смогли постоять за себя. А бывали случаи, когда массолитовцев разгоняли и вдвоем... какая жалость, что потом они вновь и вновь просачивались на сцену... Знаете, такие защитнички перестройки вызывают брезгливое презрение. Тоже мне — к штыку перо приравняхес!.. ...Готовящие своими публикациями... «российский Сумгаит» — зачем же сгущать краски?! Эдак и Булгакова со всеми его швондерами-кальсонерами можно объявить черносотенцем».

Подобные «огоньковские» материалы вызывают, как считает читательница О. Пояркова и ее единомышленники (коллективное письмо из г. Воронежа), только обратную реакцию: «Но вот что хотелось бы спросить у Коротича (мы и спрашивали, да он на письма не отвечает): не приходила ли ему на память русская пословица «Услужливый дурак опаснее врага»? Ведь читая из номера в номер оскорбительную для русских огоньковскую писанину, самые ярые интернационалисты могут превратиться в юдофобов!» Сходное мнение и у москвички И. Спириной: «Мне кажется, что у Коротича «Наш современник» и общество «Память» — навязчивая идея (есть такое заболевание). Можно когда-то написать, но не в каждом же номере!»

Следует сказать, что наши читатели весьма болезненно реагируют на те перманентные атаки, которые предпринимают средства массовой информации на «НС». Москвич Л. Рыжков живописует их следующим образом: «...продолжают звучать погромные барабаны наших литературных папуасов, не затихают журнальные их пляски с воинственными всхлипываниями и жадными требованиями выпустить всю нашу кровушку, прежде чем они начнут улепетывать со всей решительностью и мужеством».

В поддержку журнала приходят тысячи писем, это радует и придает силы. В то же время есть в нашей почте и ряд корреспонденций от тех, кто либо не знаком с нашим журналом и черпает информацию о нем в иных изданиях, телепрограммах, не распознав их провокаторского духа, либо не желает расстаться с уже внушенной ими «психологической установкой». Об этом свидетельствует несколько писем, полученных редакцией после «информации» «Взгляда» о вечере журнала, прошедшем в Концертном зале им. Чайковского: «Эти по-звериному озлобленные друзья вашего журнала буквально кидались на тележурналистов и их камеры. Почему их не пропустили в зал? Стало быть, понимаете, что неправедным делом занимаетесь?» — вопро-

шает Л. Амелина из г. Донецка. «Мы требуем, — восклицает В. Мандрыченко из г. Тернополя, — объяснения такого поведения сотрудников журнала по телевидению, обязательно в молодежной программе, желательно во «Взгляде».

Можно, конечно, ответить Амелиной, что «неправедное дело» включало сбор — пожалуй, первый в Москве — средств в фонд помощи беженцам из Баку, кстати, выступившим на вечере, а требования Мандрыченко—переадресовать «Взгляду», но пусть лучше ответом этим и другим неправедно возмущенным послужат следующие отклики, вернее, малая часть от поступивших в редакцию: «Как мастерски, в лучших традициях желтой журналистики, была спровоцирована «драка» налетчиков из «Взгляда» с читателями журнала. Нам стало ясно, что они добиваются компрометации не только авторов, но и читателей «НС» (А. Макуха, г. Одесса), «Мы расцениваем очередную попытку дискредитации «НС» как отлаженное звено в цепи акций, имеющих четкую цель — подавить патриотическое движение в России. У нас нет никаких сомнений, что идейные вдохновители программы «Взгляд» — лидеры лево-радикалов — дай им волю, повели бы самую кровавую борьбу с инакомыслием, ведь именно ими подготавливается почва для реабилитации палача Троцкого» (И. Косарева, Н. Омельченко, Е. Хрущева, г. Москва). «Хочу сказать, что до предела возмущен серией провокаций программы «Взгляд» в адрес вашего журнала!» (О. Плякин, г. Семипалатинск). «Удивляет не поведение журналистов. Оно вполне соответствует их понятиям о чести, совести, порядочности, не говоря уже об исповедуемой ими идеологии. Удивляет то, что, разрешая выпуск этой передачи, администрация телевидения одновременно не предоставила «Нашему современнику» эфирное время для внесения ясности» (М. Сюн-Шин-Тан, г. Одинцово Московской области).

Еще более развязная провокаторская кампания по дискредитации «НС» и других изданий близкого направления была осуществлена в преддверии «Российских встреч» в Ленинграде. Вот как расценили ее ленинградцы, приславшие письма: «В течение всего месяца в передачах по ленинградскому ТВ журналисты говорили о том, что «Российские встречи» вызовут еврейские погромы, акты хулиганства, насилия. Городские власти и представители МВД и КГБ — в свою очередь — неоднократно выступали, успокаивали, говорили, что у них нет сведений, будто городу что-то угрожает, но на другой день снова и снова эта тема обсуждалась. Это было похоже на провокацию» (В. Розанова). «Здесь у нас в Ленинграде товарищи демократы-интернационалисты решили, что проведение «Российских встреч» в преддверии выборов, когда у них уже все «схвачено» — на телевидении, в газетах, на радио, совершенно недопустимо, т. к. в шовинистическом угаре национальное великоросское меньшинство (они же нация рабов), пообщавшись с редакциями своих любимых «крайне правых» журналов, пойдет, очевидно, гремя цепями, устраивать погром. По телевидению депутаты Собчак и Болдырев пустили слух о приближении погромов. Далее — как по нотам — «попытка погрома в ЦДЛ» отражена во всех «прогрессивных» изданиях и телепрограммах. Щекочихин в половине второго ночи, рискуя жизнью, прибежал в Останкино. Невооруженным глазом видно, что это— типичная провокация, и даже скорее в стиле Норинского, чем тех, что были в начале века» (Л. Федорова, П. Александров и др.).

С этими читателями солидаризируются десятки других жителей северной столицы России. И лишь одно, якобы коллективное письмо, подписанное, однако, только некой А. В. Петровской, гласит: «Мы, ленинградцы, группа учеников, учителей и учащихся Петроградского р-на, просим не приезжать к нам с проповедью антисемитизма... Отношение к евреям — это лакмусовая бумажка уровня нравственной культуры человека. (Вот так, ни больше ни меньше! Выходит, отношение, скажем, к армянам, я уж не говорю о русских — боже упаси от «шовинизма»! — уже не может определить «нравственную культуру»? — М. Б.) ...Короленко на вас нет! Позор!». То, что «на нас» есть Евтушенко и целый большой «Апрель» литераторов, нашей корреспондентке явно недостаточно. Калибр, знать, не тот, даже жаль Евгения Александровича со товарищами.

Для заочного «диалога» с Петровской можно было бы подобрать сотни выдержек из нашей почты, но ограничимся двумя, дабы затем перейти к «родственной теме» — «русскому фашизму». «Болтовня об антисемитизме и назревающих погромах не что иное, как упреждающий удар по тем, кто хочет разобраться в нашем прошлом», — считает В. Ива из г. Ростова-на-Дону. «Когда в России возникает какое-нибудь патриотическое общество или проводится даже небольшое собрание, то — караул! черносотенцы! А евреи в самой Москве провели свой сионистский съезд! Мыслимо ли, чтобы, например, антисемитский съезд проведен был в Иерусалиме? А в России все и всем, кроме русских, можно», — не без оснований отмечает Ю. Иноземцев из Полтавской области.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

Итак, свежее понятие — «русский фашизм», долженствующее, по замыслу его изготовителей и одновременно рьяных обличителей своего детища-фантома, заклеймить как издания патриотического направления, само движение национального возрождения, так и каждого россиянина, им сочувствующего, а если потребуется (а уже, похоже, «требуется»), то и весь русский народ, коли он окажется не готов к свершению «антифашистского похода» против своих соплеменников.

Известная формула — «разделяй и властвуй», будучи успешно реализованной в ходе нашей новейшей истории, вновь вспыхнула на политическом горизонте. И зловещий отблеск ее — поиски «русского фашизма». Весьма характерно, что сама идеология фашизма, весь комплекс идей этого реакционного политического течения не принимается ловкими «антифашистами» во внимание (ибо ничего похожего в движении русского национального возрождения найти невозможно) и вычленяется лишь такая черта, как шовинизм в связке с антисемитизмом.

И вот жупел антисемитизма, запущенный на страницы прессы и телеэкраны еще несколько лет назад, ныне — для пущего страха и ужаса — трансформировали в фашизм. (С антисемитизма как такового, похоже, оказалось взять нечего: всем известно, что он присутствует в той или иной форме почти во всех странах, однако не мешает жить в согласии основному населению и евреям.)

А вот «фашизм» — это уже не шутки, это, товарищи россияне, ваша общая опасность, так что — бдите. Вот россияне и «бдят»: «Когда националистическим угаром охвачены народы Закавказья, это еще как-то можно объяснить: живут в горах, цивилизация до них не дошла. А вот когда с националистическими лозунгами выступают писатели, академики, литературные критики — это страшно, тут приходится задуматься». Этот опус жительницы Краснодарского края О. Морозовой вызвала к жизни маленькая, но лживенькая заметочка в «Известиях». И невдомек автору, что ее слова смертельно обидны для «народов Закавказья», зато «лакмусовая бумажка» из письма Петровской «сработала», «единственный критерий» — соблюден.

А вот что пишет по этому поводу харьковчанин А. Д. Виноградский: «...вы являетесь идеологами новых (?) русских фашистов, выдающими себя за борцов за возрождение русской нации, ее культуры. Борьба за эти идеалы не встретила бы возражения, если бы борьба «за» не подменялась борьбой «против» — против инородцев, пришлых: евреев, «чурок», «чучмеков» и прочих». Как все-таки характерно для «борцов с фашизмом» пренебрежение к другим национальностям, кроме самой любимой, ведь по логике следовало бы в ряду кличек и ее поименовать в соответствующем духе подворотни, а то странный какой-то интернационализм получается.

А что же пишут россияне, не зараженные подобным «интернационализмом»? Дадим им слово: «Понятие нации, национального существовало и будет существовать. Это никак не хотят признать «интернационалисты» и «демократы». Одно слово «Россия» приводит их в дикую ярость... Нам подбрасывают демократию без учета национальных интересов» (С. Кочетов, В. Калашников, г. Ростов-на-Дону). «Наши деды и отцы вынесли ад на земле. Мы обязаны вернуть себе честь. У нас отняли Родину, да еще теперь говорят: «русский фашизм» (семья Шамровых, г. Рига). «Почему же ни таджикских, ни азербайджанских, ни прибалтийских экстремистов не называют фашистами? Более того, перед ними заискивают, их одобряют многие наши лидеры «демократов». Потому ли, что там громят русских, а не евреев? Про разбитые на «Апреле» очки я прочитал больше, чем про убитых и искалеченных в Закавказье» (В. Мигунов, г. Москва). «Потворство фашизму? Да, есть. Это сионистские сборища в Москве и других местах. Сионизм легализован — в столице России!» (А. Данилов, г. Липецк).

Писем, в которых так или иначе нашли отражение сходные умонастроения, очень много. И суждения о таком мощном движении мирового размаха, как сионизм, присутствуют в значительной их части. (Между прочим, в приснопамятные времена нынешние «прорабы перестройки» отчего-то не брезговали определением «сионист». Вот что пишет инженер А. Бедеркин из Воронежа: «И почему я должен соглашаться с ложным утверждением о том, что человек, критикующий еврея, антисемит? Ведь даже сам Коротич писал: «...недавно появилась статья Сола Беллоу, известного американского писателя, лауреата Нобелевской премии, сиониста и антисоветчика...» И ничего, не считает себя Коротич антисемитом».)

Приведем — без комментариев — несколько выдержек: «Летом прошлого года было опубликовано сообщение ТАСС под названием «Не должно быть места сионизму». Сразу же подумалось: как же так? В столице страны, в самом сердце многострадальной России, создается архиреакционная организация «Союз сионистов». Несколько поостыв, пришел к выводу, что эта провокационная политическая акция не является чем-то неожиданным, что ее готовили давно не без попустительства и не без подсказки тех, кто стоит на вершине пирамиды наших властей от идеологии» (Габбас Аубакиров, г. Ташкент). «Легализованный «Союз сионистов», в отличие от иных общественных организаций, в основном инертных и бездеятельных, уже приступил к выполнению своей програмы: втягивание евреев в свою сферу, подавление противников сионизма в СССР и борьба за власть. Это выливается в разжигание одновременно антисемитизма и русофобии. Как известно, давно испытанным кнутом для загона евреев в сионистское стадо является запугивание их опасностью русского шовинизма и умело разжигаемого антисемитизма. Именно эта линия прослеживается в яростных нападках на любое проявление русского самосознания» (В. Будянов, г. Новосибирск). «...Угроза исходила и исходит из одного источника — сионизма. Это хорошо организованная, страшная, жестокая сила. Эта сила сама не уничтожает, но организует и формирует общественное мнение, нужную идеологию для раскола русской нации» (К. Копылова, г. Саратов). «В мире исчезнет и юдофобия, если исчезнет сионизм со своей человеконенавистнической идеологией» (А. Бойцов, г. Москва).

«Сионизм, нужно прямо сказать, — дьявольщина. И против него надо принять соответствующий закон, дав все его основные признаки, включая и антисемитизм. Этим будет покончено и с двусмысленным положением еврейского народа в России, который сионисты, признающие только власть золотого тельца, всегда подставляли и не прочь это сделать и сейчас» (В. Сегал, г. Набережные Челны).

(Отметим в скобках, что процитированные письма (за исключением последнего) поступили в редакцию в начале года, еще до публикации «Письма писателей...» и полемики В. Кожинова с М. Агурским. Кстати, публикация статьи последнего вызвала восторженный отзыв инженера из Киева В. Гольдберга: «С большим интересом прочитал статью Михаила Агурского... Впервые в советской прессе опубликована статья израильского публициста. Спасибо вам за эту публикацию», а работу В. Кожинова высоко оценили почти все откликнувшиеся читатели; смысл этих откликов можно определить словами тоже киевлянина А. Сизоненко: «...как всегда блистательно полемичен, умен и убедителен Вадим Кожинов».)

Дадим же вновь слово тем, кто не согласен и даже резко не согласен с позицией журнала по рассматриваемому вопросу, хотя, судя по всему, либо не разобрался, либо не желает в ней разбираться. «Из своего жизненного опыта (а мне 57 лет),—пишет свердловчанин А. Вольфсон, — скажу, что практически для «бытового» и «производственного» антисемитизма почвы нет, он проявляется, как правило, обзыванием евреем (?) или жидом, и то в нетрезвом состоянии. Такой антисемитизм фактически безвреден, его можно великодушно простить. Гораздо страшнее и опаснее, когда антисемитизм проявляется в средних и высших эшелонах власти, в среде научной и творческой интеллигенции». «Считаю ваш журнал реакционным, консервативным и шовинистическим, в какие бы красивые слова о судьбе России вы ни пытались укрыться, — гневается ленинградец Б. Раскин, — и что более всего вас отличает от моих журналов и газет («Огонек», «Московские новости» и т. д.), так это злоба. У вас все виноваты перед Россией — ну, естественно, евреи, потом масоны (ради любопытства, назовите парочку масонов), экономисты, кооператоры и т. д.». Следует отметить, что постановка вопроса в вышепроцитированном письме характерна для всей почты такого рода. Сварливо-ернический тон и полное нежелание что-либо понять. «Любопытствующему» Борису Аркадьевичу я, конечно, назову «парочку масонов» — первых пришедших на память: Керенского и основателя «радикальной партии» адвоката Маргулиеса, но что это ему даст для хотя бы приближения к вопросу, в котором он абсолютно не осведомлен и отчего-то считает нужным — тоже характерная черта — эту неосведомленность агрессивно демонстрировать.

Из писем «протестующих» ясно, что они уже обработаны «своими» журналами и газетами и, судя по всему (а некоторые даже в этом признаются), «НС» и в руки не берут и, следовательно, лишены возможности прочесть на его страницах статьи, читательские письма, предложенные нашему журналу евреями, а также «архивные» материалы, принадлежащие перу евреев. О какой же национальной нетерпимости «НС» может идти речь? Конечно, сравниться с тем же «Огоньком» по количеству авторов-евреев мы не можем, ибо являемся российским журналом, а одних только русских в стране 147—148 млн., и им — хотя бы в силу количества — не пристало оставаться безгласными.

Приведенные выше выдержки, конечно, из самых «мирных» писем. Увы, преобладает (хотя в общей массе это доля процента) площадная брань и угрозы (как правило, естественно, анонимные).

Но пора, пожалуй, разрядить обстановку, завершая тему «разгула антисемитизма» и уже с ним на соответствующей ноте.

В № 2 «НС» был опубликован очерк Марка Алданова «Убийство Урицкого». Вот какие чувства, какой «праведный гнев» всколыхнул он у читательницы И. Я. Седовой (г. Луганск), судя по всему, не удосужившейся прочесть предисловие: «...я считаю, что такой человек, как Алданов он не имеет права жить в Советском Союзе. Куда он со своим умишком лезет в историю... Вы вдумайтесь в его статью, что он пишет о Ленине... и вообще о Урицком, Зиновьеве и Троцком разве вы не видите, что это самый настоящий антисимит, ведь противно читать... если бы я знала, что у вас такие корреспонденты в жизнь не выписала бы ваш журнал» (особенности грамматики и стиля сохранены).

Ну, во-первых, «наш корреспондент» М. Алданов, спасаясь от красного террора, покинул пределы Отечества еще в 1919 г. и не имел счастья жить в Советском Союзе.

А если принять во внимание (всего-то навсего) тот факт, что не только антигерои очерка — Урицкий и др. были евреями, но и герой очерка Л. Каннегисер — еврей и — главное — сам автор М. Алданов (Ландау) — тоже еврей, то остается только за голову схватиться: до какого же абсурда способны довести простых людей бесконечно навязываемые поиски «антисемитов»!

Но пусть этой «бдительной» читательнице ответит другая: «Нет, я уверена, никогда русский народ не питал ненависти ни к таким чистым натурам, как Каннегисер, ни к простым работягам евреям. То, что называют антисемитизмом у нас, это нелюбовь к евреям, взявшим власть в чуждой им стране, ставшим убийцами, «кроящим» страну на свой вкус» (Н. Серова, г. Нижний Новгород).

И последний штрих к разговору об «антисемитизме» — выдержка из письма жительницы г. Свердловска Н. Шаталовой: «Спасибо вам, что не боитесь так же, как не боялись и 20, 10 лет назад. Сейчас — страшнее. Приведу пример: я недавно приняла крещение. Когда сообщила об этом друзьям (а дружим мы со студенческих лет — очень разные, с разными взглядами, но очень привязаны друг к другу), то подруга, с которой мы часто спорим (в том числе и по поводу вашего журнала), сказала: «Сейчас я уже не удивлюсь, если завтра ты будешь участвовать в еврейском погроме». Если раньше подобная логика меня удивляла, то в случае личном просто потрясла». Вот оно — «разделяй и властвуй», его ядовитые плоды...

А если отрешиться от личных примеров (хотя люди-то живут в основном непосредственно ими), то совершенно ясно, что разделение людей идет полным ходом, и это никакой не «плюрализм взглядов», а хорошо организованная политика по размежеванию на «патриотов» и «демократов» (будто одно должно отменить другое!).

Увы, для нашего малообразованного в целом общества, в значительной своей части устремившегося за «всемерной демократизацией», вообще неведомо, что слово «демократия» всегда, во все времена имеет определение: от буржуазной до национальной. А вот ведь — бегают по митингам, участвуют в стачках, требуя «демократии». Но позвольте спросить: какой? И ведь почти никто из ее «приверженцев» не сможет ответить, вот в чем беда... «Сверху» почему-то не объяснили народу, какая из демократий «объявляется» и, следовательно, что ждать от ее воцарения. Только ли торжества «общечеловеческих ценностей»? Результаты «демократизации» «империи» пока не то чтобы приблизились к этим самым «общечеловеческим», но и далеко отринули прежние — пусть плохие, но не стоившие в последние десятилетия невинной крови.

Да, на сегодняшний день самое страшное — это межнациональные конфликты, перерастающие порой в локальные войны. Конфликты, сопутствующие и одновременно провоцирующие распад СССР. Возможно, исчезновение с политической карты нашего государства и составляет для кого-то «ценность», но уж никак не «общее», ибо «общечеловеческие ценности» предполагают хотя бы такое консервативное понятие, как свой дом — его покой и уют. Этого сейчас лишены более полумиллиона наших сограждан (а не ровен час — беда коснется каждого).

«ЭТО МЫ — РУССКИЕ...»

Письма из республик (сиречь суверенных государств) составляют значительную часть нашей почты, и это, пожалуй, самые горькие письма.

Чем помочь этим в мгновение ока обездоленным «мигрантам» и «оккупантам»? Предложить поднимать Нечерноземье (как советовал нынешний глава российского парламента Б. Н. Ельцин), окончательно загубленное сегодняшними «прорабами перестройки»?

Что может сделать журнал, так это только предоставить слово нескольким людям (а их миллионы — тех, кто живет за чертой этнического ядра!).

Отмечу, что подавляющее большинство писем — из Прибалтики, Молдовы, Средней Азии, с Украины. Им, бессловесным на «чужой земле», дадим слово:

«Ненависть к русским и раньше была в Эстонии,— пишет человек, проживший в ней полжизни,— но последнее время она усиливается. Как только не оскорбляют русских: называют и оккупантами, и иноземцами, сынами Шарикова... Мы чувствуем себя здесь хуже негров» (А. Смирнов, г. Таллинн).

«Это мы — русские, живущие за пределами России по воле правительства и ставшие теперь «главными виновниками» бед коренного населения, ставшие «оккупантами» и вообще людьми второго сорта. В одно мгновение мы оказались никому не нужны: ни России, ни республике, которой отдали лучшие годы своей жизни. Кстати, многие получили образование в России, за счет средств России, а отдаем знания этой республике, которая сегодня ломает голову: куда бы нас деть... Три года местная пресса истязает наше достоинство. Русский — звучит здесь как бранное слово. Русский — это «тупой», «ленивый», «агрессивный» и прочие эпитеты, унижающие человеческое достоинство». Это письмо из г. Таллинна подписало 85 человек, работников ПО «Эстрыбпрома».

В. Коровин из г. Саласпилса горестно недоумевает: «...появились несчастные люди, русские и др. беженцы, эвакуацию которых не смогли организованно провести ни правительство Союза, ни правительство России. Началось стихийное бегство. Я по убеждению был интернационалистом, но сейчас, когда гостеприимный русский народ подвергается унижению, физическому оскорблению во многих республиках, а правительство России к этому равнодушно, мой интернационализм начинает улетучиваться».

Г. Чернова из г. Клайпеды, рассматривая экономический аспект межнациональных отношений, протокольно констатирует: «21 февраля с. г. в Совете министров Лит. ССР проходило совещание экономистов и руководителей отраслей народного хозяйства республики по теме «Экономическая самостоятельность Литвы». Основная мысль: не прерывать поступления по дешевым ценам топлива, металла, хлопка, комбикормов. Оказалось, что республика получает по дешевым ценам почти 1,5 млн. тонн кормового зерна; тратит на 1 кг свинины 7 кг комбикормов (в Дании, Голландии — по 3,5 кг). Однако, если центральное правительство откажется давать сырье без встречных поставок, руководство республики будет заключать договора в обход союзных органов: с отдельными союзными и автономными республиками, предприятиями, кооперативами. Взамен им могут быть поставлены мясопродукты, которые в России могут реализовываться по завышенным ценам с извлечением прибыли».

А вот выдержка из коллективного письма, подписанного двадцатью жителями

г. Ферганы: «Мы бы хотели вернуться на Родину, внести посильный вклад в возрождение России из пепла. Вы должны помочь нам вернуться, ибо в интересах России вернуть назад тех русских, которые были направлены в республики как лучшие специалисты... мы уже не говорим о том, что жизнь наша здесь подвергается опасности».

Об этом же письмо жителя г. Душанбе В. Филатова: «В ходе трагических событий 12—14 февраля население города в полной мере ощутило свою незащищенность и стало создавать отряды самообороны. Во многом благодаря их действиям удалось приостановить насилие... Естественно, что людям, пострадавшим в ходе бесчинств или ставшим их очевидцами, трудно забыть происшедшее и ощутить социальную защищенность. Поэтому у значительной части русского населения Душанбе преобладают настроения на выезд из республики и возвращение в Россию».

Горестно недоумевает и душанбинец Е. Свидченко: «Раньше мы считали себя гражданами огромной и сильной страны, способной всегда нас защитить. Мы делали все и для процветания той республики, где родились. И вот... массовые погромы, поджоги, избиение ни в чем не повинных людей! Разгул варварства в столице Таджикистана — как бы следующее звено в цепочке Сумгаит—Фергана—Баку».

За прошедшие со времени написания этого письма месяцы трагическая «цепочка» пополнилась новыми «звеньями». И отсутствие действенных мер как со стороны Центра, так и на местах грозит возникновением все новых и новых очагов межнациональных «пожаров», сжигающих «общечеловеческие ценности» дотла. Это, казалось бы, ясно всем. Но осознание трагической ясности свершающегося, похоже, является «прерогативой» только тех, чья жизнь и судьба уже не зависят от их собственной воли (NB! Права человека! Свобода! и т. п.), а лишь от потерявших управление «процессов». Между прочим, в то, что «процессы» стали неуправляемы и поломали судьбы сотням тысяч людей (а в перспективе — миллионы), немалую лепту внесла и задорно русофобствующая пресса. Недаром многие читатели журнала предлагают тем или иным «прорабам», вояжировавшим по республикам с откровенно антирусской «миссией», поменяться с ними местами. Так, например, А. Фетисов из г. Львова пишет: «Готов поменяться местом жительства с любым «московским» украинцем, особенно был бы рад — с паном Коротичем (в нашем регионе сейчас все «паны»)». И это письмо не недавнего «мигранта», а человека, который, «родившись и прожив более 40 лет во Львове, зная отлично украинский язык, только теперь узнал, что такое русский: он и «нероба» (бездельник), он «ловец счастья и чинов», он, оказывается, и безродный. И культуры нет у этих дикарей, в общем — приплыли...».

Да, «приплыли» мы практически во всех республиках... Вот как расценивает положение житель г. Кишинева О. Колмаков: «Русский народ оказался слишком добр, мягок, доверчив для нашего сурового времени. А может быть, излишне благороден. Ведь в новейшей истории США и Англии есть Гренада и Панама, Ольстер (это, впрочем, вековое) и Фолкленды, а эти страны все равно остаются «оплотами демократии» и непререкаемым авторитетом для наших «демократов». Можно, конечно, не согласиться с такой постановкой вопроса, но нельзя не признать ее логичность (ибо в демократических странах жестко доминируют именно государственные интересы), тем более что автор не человек со стороны, а живет там, где попраны его права и льется кровь.

Очень много писем с Украины. И, думаю, здравомыслящие люди согласятся с киевлянином О. Пивоваровым: «Славянство — есть становой хребет нашей державы, и именно поэтому всегда вражьи силы стремились перебить этот хребет, всячески ослабить, а то и порвать воистину братские связи трех великих народов. Сейчас для этой цели используют всевозможные средства и из старого арсенала, и новые изобретают... Если бы вы знали, как больно это слышать и читать!»

Знаем — больно... Знает это и минчанин В. Харченко: «Я украинец, но убежден, что мы — украинцы, русские и белорусы — одна семья», и многие другие. Можно сказать, что все читатели, затрагивающие в своих письмах проблему «Украина — Россия», едины в том, что разлучаться нам никак нельзя, гибельно. Хотя бы уж потому, что на нынешней территории Украины живут — поколениями! — миллионы русских, вовсе не желающих бросать родную землю, с одной стороны, а с другой — становиться украинцами. (А ведь не меньше и украинцев в России, вряд ли большинство их устремится на батьковщину.)

Между тем процессы, происходящие в республике, наводят на самые тревожные размышления. Вот недавний, казалось бы, незначительный — подчеркиваю, незначительный — факт: голодовка студентов, требующих... много чего требующих, в частности отставки Председателя Совмина УССР В. Масола. Требования были в основном удовлетворены, голодовка прекращена. (Хотя было совершенно очевидно, да и «демократы» затем прямо заявили: дело не в самом Масоле, «плохой» он или «хороший», — на его месте мог быть любой другой...) Кто ужасался, кто рукоплескал, но никто, вероятно, не вспомнил, что десять лет назад в стране классической демократии — Англии — один за другим умирали объявившие голодовку молодые ирландцы, а правительство тори и в ус не дуло, ибо ставило превыше всего общегосударственные интересы. И это лишний раз доказывает, что совпадение интересов личности (а в данном случае целой Ирландии) и интересов государства не гарантирует никакая демократия. Упаси боже, чтобы меня обвинили в апологетике антигуманной политики английских властей. Но допускать такое беспардонное давление, идти на поводу у кого угодно — это значит полностью дискредитировать понятие власти и способствовать сползанию страны в хаос и анархию.

Наши читатели, наслушавшись руховской пропаганды, все же никак не возьмут в толк, отчего Россия и Украина должны быть порознь. Так, Ю. Чукреев из г. Херсона совершает краткий исторический экскурс: «В 1654 г. Украина воссоединилась с Россией. «Воссоединение» в любом случае не «присоединение»; воссоединяют то, что волею случая, в результате действия каких-либо сил, оказалось насильственно разъединенным. В 1918 г. на территории бывшей Российской империи появилось новое государство. А как же договор 1654 г.— он что: был расторгнут? Тогда где Декларация о его отмене? А если договор не отменяли, то как можно — при его историческом и юридическом существовании — отделять Украину (Малороссию) от России (Великороссии)?»

С. Логинова из г. Львова гневно вопрошает: «Почему же вы не пишете и никто не пишет, что Рух называет в числе старинных, исконных украинских земель не только Крым, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и др. области, завоеванные Российской империей, но даже и Кубань, и Приазовье! Что о Кубани везде говорят как о незаконно присвоенной Россией украинской земле (так как Украина якобы едина от Кубани до Карпат), что все побережье Черного и Азовского морей всегда исторически было только украинским. Украину, оказывается, страшно обидели, отдав ей все завоеванное кровью, потом, богатством и умом России в течение 300 лет, ей, оказывается, недодали Кубань. Подумали бы лучше о возврате хотя бы Крыма!» Что ж, о Крыме: «Мне непонятно,— удивляется А. Черезов из Донецкой области,— как исконно русские земли оказались в составе Украины. Крым завоеван русскими войсками в результате длительных и кровопролитных войн, и большинство населения здесь русские». (Поскольку многие читатели задают именно такой вопрос, отвечу: Крым подарил Украине Н. С. Хрущев в год 37-й от рождества Советской власти; недальновидный, знать, был политик...) [4]

Чтобы завершить межнациональную тему и отметить еще один ее аспект, приведу выдержку из письма студента Д. Степанова (г. Жуковский Моск. обл.), поступившего в редакцию задолго до публикации статьи К. Мяло и П. Гончарова «Линия судьбы», посвященной немецкой автономии в Поволжье: «В последнее время в прессе много говорят о воссоздании автономии немцев. Но кроме немцев в СССР проживает еще множество национальностей, которые не имеют своей автономии. Это поляки, греки, финны, ассирийцы, китайцы и т. д. Почему же они могут обойтись без автономии? Только потому, что немцы имели таковую? Но, во-первых, разве можно ставить право нации в зависимость от предыдущих решений (или нерешений) государственных органов? А во-вторых, автономию у немцев не только отняли незаконно, но и дали ее незаконно. Она была создана декретом СНК РСФСР от 19 октября 1918 г. Но ведь летом 1918 г. V съезд Советов принял первую Конституцию РСФСР, а согласно ст. 49 этой Конституции подобные вопросы был правомочен решать либо съезд Советов, либо ВЦИК, но не СНК!».

В приведенной выдержке отмечен существенный момент, выпавший из поля зрения авторов вышеназванной статьи, и, публикуя ее, мы хотим лишний раз показать, сколь произвольно (и в нарушение только что принятых законов!) решались национальные вопросы при становлении Советского государства и, следовательно, сколь тяжко и порой тупиково их нынешнее разрешение.

Еще одна тема, часто присутствующая в нашей почте,— армейская. К сожалению, она нераздельно связана с межнациональной.

То, что армию поливают грязью сплошь и рядом, ни для кого не новость. Используются самые провокационные приемы, в частности бесконечное раздувание ужасов «дедовщины». Можно подумать, что общество у нас — само по себе, а армия — сама по себе. И как только юный «криминогенный элемент», сформированный «гражданкой» (!), вступает в ряды Вооруженных Сил, он автоматически — по логике обличителей — должен становиться эталоном «чести, совести» и т. п. «Все, что существует в стране, проецируется и на армию»,— справедливо отмечает студент А. Васильев из г. Москвы, считающий, «что недопустимо разлагать и пренебрежительно оплевывать армию нашей державы (равно как МВД и госбезопасность)».

А подполковник В. Фрицюк, служащий в Амурской области (не раз, кстати, обращавшийся в «Огонек» и, само собой, не удостоившийся даже ответа), так оценивает критику Вооруженных Сил: «Поверьте мне, что канула в прошлое «дедовщина», напрасно наша печать, ТВ «ломают копья» и ведут борьбу с этим призраком, не замечая появления нового, на несколько порядков более омерзительного явления «землячеств», «групповщины», основанных на национальных признаках. Не борьба в прессе и в армии явилась могильщиком «дедовщины», а «землячества»! Но пресса может «радоваться» тому, что именно с ее помощью крепнут «землячества» в армии, ведь решение Министерства обороны об оставлении 25 процентов призывного контингента для службы на территории республик «продикто-

[4] Перед подписанием номера в печать стали известны результаты референдума в Крыму, ярко показавшие, что народ, получивший право сам решать свою судьбу, оказывается дальновиднее и мудрее политиков. Государственный статус региона — Крымская АССР в составе УССР как субъекта СССР и участника союзного договора. Короче, притязания РУХа на Крым благополучно рухнули.

вано» прессой, что повлекло перекосы в укомплектовании частей по национальному признаку, а значит, и усиление «землячеств», «групповщины»!.. Кому-то, конечно, неприятно слышать, но Вооруженные Силы были школой подлинного интернационализма и должны ею быть, ибо другого государственного института, способного выполнить реально эту высокую миссию в нашей многонациональной федерации, не существует».

О том, как в тугой узел начали завязывать армейские и межнациональные проблемы, возмущенно пишет Ст. Гордиенко из г. Казани: «Нужно было взобраться на трибуну самого первого съезда Советов и истерично возопить о событиях в Тбилиси! Дескать, кто ей — армии — дал право? Правда, раньше нужно было спровоцировать тбилисские события, и сделать это очень тонко, а затем подключить к истерике наиболее экзальтированные силы. Результат не замедлит сказаться: армия напугана, ее руководство в шоке, ворота казарм на замке. А в это самое время где-нибудь, например в Фергане, можно сделать пробу сил... и потирать руки, видя, как здорово сработала «бомба»: армия сидела в казармах, на улицах городов Ферганской долины обильно лилась кровь. ...Эстафету принял Карабах... Пока армия размахивала голыми руками, словно Алан Чумак, боевики вооружались».

«Уже во многих республиках славянской кровью сдерживается гражданская война, национальные конфликты и погромы,— пишет москвич В. Оськин,— а «местные демократы» разжигают ненависть к солдатам и офицерам, называя их «оккупантами», что находит самый сочувственный отклик в среде «центральных демократов».

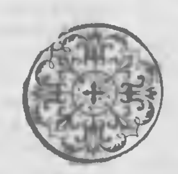
Аналогичные вышеприведенным мнения так или иначе содержатся почти во всех письмах, посвященных армии. Многие, как, например, Е. Лапшин из Ивановской области, справедливо усматривают преемственность способов формирования негативного отношения к армии и силам правопорядка между нынешними средствами массовой информации и прессой начала века: «В начале века так называемая «либеральная печать» довела общественное мнение Российской империи до того, что жандарму и полицейскому стыдились подавать руку. А надо сказать, что они были несравненно справедливей и гуманней тех «жандармов», которых к нам приставили те же самые «либералы» после захвата власти для защиты своих интересов... А что стоит государство без армии, полиции, было продемонстрировано в 1917 году. И вот Россию гонят по второму кругу!»

Можно было бы привести еще десятки писем, в которых читатели высказывают глубокую озабоченность непрерывными нападками на армию, законно считая, что при отсутствии конструктивной критики, с одной стороны, и уважительного, достойного отношения — с другой, они служат лишь делу деморализации и в конечном счете разложения Вооруженных Сил.

* * *

Завершая этот, конечно же, беглый обзор почты, отразивший лишь сотую долю поступивших в редакцию писем, и понимая, что публикация многих из них не поспевает за реальным ходом вещей, все же выражу надежду, что удалось представить основные настроения и комплекс взглядов по ряду вопросов, в наибольшей степени волнующих читателей журнала.

Обзор подготовила
Марина БЕЛЯНЧИКОВА.



АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

ПРЕССА «ПЕРЕСТРОЕЧНОЙ» ПЯТИЛЕТКИ

Первое, что я вижу, проснувшись, — светящийся в рассветной тьме газетный киоск под окном. Каждую неделю к стопкам уже знакомых изданий прибавляются новые. Бумажный вал затопляет прилавок, перехлестывая на полки со значками, открытками и пластмассовым ширпотребом. Кажется, киоскер скоро не сможет открыть стеклянную дверцу и навечно останется в призрачно мерцающем киоске, забаррикадированный кипами газет.

Какой контраст с пустыми прилавками, которые я вижу час спустя во время обхода продуктовых магазинов! День ото дня маршруты моих утренних прогулок удлиняются, а «улов» становится все более легковесным и менее питательным. Наверное, от бесплодных исканий мне начинает казаться, что существует таинственная взаимосвязь между изобилием на газетных полках и пугающей пустотой магазинных прилавков...

Как бы то ни было, несмотря на резкое сокращение тиражей центральных изданий, люди далеко еще не утратили интереса к печатному слову. Очередь к киоску выстраивается задолго до открытия, в полной темноте. Чем вознаградится ожидание, какую духовную пищу протянет людям продавец газет?

Я изучал журналистику профессионально. Восемь лет — пять в университете и три года в аспирантуре. Наряду с советской нам читали курсы зарубежной печати. Помню характерные названия учебных пособий: «Техника дезинформации и обмана», «Мифы буржуазной журналистики», «На службе монополий». Среди этого госстандарта одно выделялось, подобием выразительности трогало слух — «Фабрика лжи и иллюзий».

Читая перестроечную прессу, понимаешь: все мы штудировали одни и те же учебники. Причем кое-кто с немалой практической пользой для себя. Дрожащей рукой протягивая зачетку, с чужого голоса перепевая разоблачения «техники дезинформации и обмана», многие усваивали на будущее и присваивали, как теперь оказалось, весьма успешно. Сколько популярных сегодня изданий внешним видом, подачей материалов, а главное — пресловутой «техникой» обязано старым вузовским конспектам, ну и, конечно, последующим командировкам на Запад, позволившим освежить и оживить книжную премудрость.

Всего понемногу набрала перестроившаяся в мгновение ока пресса в западных арсеналах (подчеркну: я рассматриваю доминирующее сегодня направление). Но более других возлюбила она непритязательный, надежный прием «репортерской паузы», не без основания показавшийся хорошо знакомым. Зачастую эта «пауза» неприлично затягивается, превращаясь в откровенное замалчивание наиболее важных явлений.

Вспомните, сколько социальных мифов создано буржуазной журналистикой вокруг центральной фигуры капиталистического общества — миллионера. Многократно осмеянный и тем не менее неизменно привлекательный стереотип — человек, сделавший себя. И западные читатели знают, как он заработал свой первый цент и первый миллион. Знают, кто помог будущему миллионеру и кого из конкурентов новичок, набравшись сил, устранил с рынка. Знают, как он тратит деньги, каково его хобби, за кого он голосует на выборах.

А приходилось ли вам, соотечественники, читать статью о советском миллионере? Не вульгарный панегирик, — аналитический материал, создающий хотя бы видимость объективности.

Кто он, типичный отечественный нувориш? Его образование, вкусы. Его прошлое. И коронный западный вопрос о первом центе. Откуда ему привалило сказочное богатство? Понимаю пикантность вопроса в наших условиях. На Западе существует масса легальных возможностей для обогащения. У нас до недавнего времени подобные проблемы решались в рамках уголовного кодекса. И все-таки: читатель имеет право знать, кто же эта таинственная личность — изобретатель философского камня, позволяющего мусор обращать в золото, или удачливый уголовник?

Читатель должен быть информирован и о политических симпатиях советского миллионера. За кого — Ельцина или Горбачева он голосует? А быть может, стремится властвовать самолично? Это куда более актуальный вопрос, чем политические чаяния затурканных генералов, о которых неделями судачат газеты.

Нам говорят: гласность; рекомендуются: независимое издание. Но какова цена гласности, если она умалчивает о ключевой фигуре наших дней. Чего стоит газетная независимость, если журналисты не решаются сказать правду, ну, полуправду, хотя бы четверть правды о новых хозяевах жизни.

Возьмите утреннюю газету — полоса сверху донизу занята текстами. Но как будет выглядеть страница, если оставить на ней лишь аналитические материалы по кардинальным проблемам общества? Несколько строчек петитом, а вокруг пустоты, белые пятна. Будто свирепая цензура вымарывала всякую живую мысль.

Но чем-то заполняются бесчисленные страницы! О, не беспокойтесь, пресса ежедневно предлагает статьи, заставляющие жадно тянуться за газетным листком. Прием прост — заботливо прикрывая от излишнего внимания ключевые фигуры и целые социальные группы, выставить на всеобщее обозрение героев подоступнее. Подгримировав, превратив в участников своего рода политических комиксов, годами кочующих по страницам изданий.

«Егор — ты не прав», — изобретатель этой формулы сделал решающий шаг. И вот изо дня в день десятки мастеров пера творят политический сериал, по примитивности напоминающий мультипликационный марафон «Ну, погоди!». «Егор», обреченный на неправоту, сделался по-своему незаменимым. Посмотрите, он уже полгода отсутствует на политической сцене, а телефильмы и статьи по-прежнему эксплуатируют его образ. Еще бы: трудно расстаться с фигурой, над которой так кропотливо трудились. В результате этих усилий появление героя на экране, сама его фотография на полосе вызывает запрограммированную реакцию.

Разумеется, об анализе политической позиции вести речь в данном случае бессмысленно. Газетчики апеллируют к эмоциям. Многообразие явлений сплющивают в плоскостное черно-белое изображение. Черному противопоставляют белое. «Егору» кто противостоит? «Борис»? А вот тут сложнее. В мире комиксов «Борису» более всего соответствует образ лихого ковбоя. Так о нем и писала пресса, похваливая и поругивая попеременно.

И лишь одного участника этой занимательной истории газеты подают с неизменной любовью: «...Русский человек Александр Николаевич Яковлев», — непритязательно и задушевно рекомендует его «Литературная газета» (1990, № 47); «...Один из популярнейших советских политических деятелей Александр Яковлев», — с помпой представляет газета «Известия» (3.11.1990).

Сюжет с этими действующими лицами раскручивается смело и увлекательно. Лишь одно запрещено правилами — размышлять, оценивать реальные поступки. Бог с ним, с «Егором», — его деятельность на посту партийного шефа организованной в совхозы и колхозы природы не слишком впечатляет. Хотя отсутствие успехов в этой области не помешало его предшественнику занять место генерального секретаря, а потом и президентское кресло.

Но какими свершениями может гордиться «один из популярнейших деятелей»? Отвечал за коммунистическую идеологию. И вот уже сами эти слова произносишь с сомнением и опаской — знаете, как сейчас относятся к коммунистической идеологии. Курировал компартии в «братских» странах. Теперь его подшефные кто в больнице, кто под судом, а страны готовы брататься с кем угодно, только не с Союзом. Поехал в Вильнюс — и тут незадача: отпала Литва, да и объявила, что за работу в пользу соседнего государства, то есть СССР, вводится смертная казнь.

Впечатляющие итоги. Скажут, ну и хорошо, что общество освободилось от мертвящей идеологии, страны получили возможность выбирать свой путь. Но тогда, уточню я, следует изображать нашего героя этаким интеллектуальным Джеймсом Бондом. А кадровому партаппаратчику, последнему зубру со Старой площади в составе нынешнего руководства подобные похвалы, по крайней мере, не к лицу...

Всю перестроечную пятилетку советские интеллектуалы обречены следить за взаимоотношениями этой тройки. И людей убеждали, что перед ними приоткрываются тайны большой политики. Увы, то был вульгарный комикс, не более...

Впрочем, если предлагаемые сюжеты лишены глубины и большой ценности не представляют, то сама по себе технология их создания заслуживает внимания. Отчасти я уже сказал о ней. Посмотрим теперь, по каким признакам политиков подбирают на заготовленные роли. Случай удобный — место «Егора» не так давно освободилось. Кому-то предстояло занять его.

И вот вчера еще вполне респектабельный, по оценкам прессы, союзный премьер (теперь бывший) наделяется знакомыми шаржированными чертами. Его извлекают из тени, в которой он находился. Оказывается, он всем нехорош — и голос во время выступлений дрожит, и воинствен без меры («Я научился драться!» — многозначительно передаются будто бы сказанные в кулуарах слова и делаются страшные намеки на то, что Николай Иванович притесняет Михаила Сергеевича, ну просто руки выкручивает.)

А главное — дача! Роковая покупка незадачливого премьера. «Николай Иванович купил дачу». Ориентировочная стоимость 47 тысяч рублей — двадцатимиллионным тиражом выстрелила «Комсомольская правда» (11.09.1990). Где потом ту дачу не поминали...

Случай с премьером позволяет, как на демонстрационной доске, рассмотреть механизмы, приводящие в движение советскую прессу и методы ее работы.

Начнем с методов. Знакомое давление на эмоции. Задумываться возбраняется. Никому и в голову не пришло простейшее соображение — Н. Рыжков первый и единственный из руководства страны отказался от спецблаг за государственный счет.

Второе, что бросается в глаза, — избирательность прессы. Примерно в то же время еженедельник «Ветеран» (1990, № 42) опубликовал сообщение о даче Г. Попова. Стоимость — 400 тысяч рублей — свидетельствует о подлинном размахе. Что злополучная дача премьера перед этим царским владением — жалкая хижина перед элегантной виллой. Но вилла московского мэра никого не заинтересовала. Пресса, подхватившая сообщение «Комсомолки», информацию «Ветерана» предпочла не заметить.

Наконец, вопрос: почему? Не потому ли, что Г. Попов в кресле мэра оказался удобен для определенных сил, а Н. Рыжков в своем — стал помехой. Вспомним, когда началась газетная кампания против премьера. В тот момент, когда на обсуждение были вынесены конкурирующие программы перехода к рынку, в тот самый день, когда Рыжков должен был излагать свою. Наиболее существенные разночтения в программах касались приватизации. Правительственная ставила на пути миллионеров, рвущихся «отоварить» свои состояния, пусть робкие, но ограничения. Программа «500 дней» отдавала им всё — заводы и землю.

Вот почему «Николай» в одночасье превратился в «Егора». Прекрасная иллюстрация того, как работает перестроечная пресса и на к о г о работает...

Пока мы рассматривали «новации». Естественно, они первыми бросаются в глаза. Но существуют излюбленные темы и приемы советской печати, неизменные на протяжении семидесяти с лишним лет.

Первая среди равных — пропаганда чуда, преображающего жизнь. Семьдесят лет газеты неумолчно твердили о светлом будущем, о заре коммунизма, чей отблеск играет на рубиновых звездах Кремля. Несколько поколений ушами, глазами, всеми порами впитывали пропагандистское варево. Что же в итоге узнели они о коммунизме? Несколько слов о равенстве и справедливости — великих идеях, рожденных за два тысячелетия до появления «Манифеста».

С той же исступленностью советская пресса (я говорю об основной массе изданий) принялась повторять новое слово «рынок». Какой рынок, как он соотносится с нынешним — ведь не в эпоху военного коммунизма живем, в чем преимущества и недостатки его — такие вопросы отметались с порога.

Вновь, как и за семь десятилетий до этого, коллективными усилиями армии профессиональных резонеров был создан образ врага. Всякий, кто пытался разобраться в сути новой идеи, кто задавал неудобные вопросы и выражал сомнения, объявлялся врагом перестройки.

Сценарий был знаком, и, едва получив новинку, пресса разыграла ее, как затверженный назубок спектакль. С резвостью, почти неприличной, взялись за перо. Со страниц «Правды» прозвучал призыв «зажмуриться и прыгнуть» в рынок (16.04.1990). Авторство принадлежало отнюдь не юмористу — экономическому обозревателю газеты.

По традиции вслед за журналистами идею подхватили специалисты — мудрые работники науки. Они не заставили себя ждать. Увенчанные академическими титулами, вознесенные на вершины государственной иерархии, они приветствовали перемены и пророчили скорое благоденствие: «...Примерно через полтора-два года наступит период сначала стабилизации, а затем расцвета экономики», — увещевал пролетарскую аудиторию академик Л. Абалкин («Рабочая трибуна», 27.05.1990). «Можно делать грамотный переход за год, за месяцы», — манил в рынок интеллигенцию академик С. Шаталин («Литературная газета», 1990, № 18).

В принципе, сказанного академиками было достаточно для принятия правительственных решений. Но еще со времен сталинского стилевого рококо, проявлявшегося во всем — от архитектуры до пропаганды, — советская пресса сохранила любовь к финальной завитушке, последнему, функциональной нагрузки не несущему элементу, на радость глазу венчающему помпезную конструкцию. Мнение специалиста — хорошо, но мнение иностранного специалиста — тут хорошее скромно уступает место лучшему.

Нужные иностранцы находились всегда. Великие писатели, великие полярники, физики и богословы. Экономиста заказывали? Получите — нобелевский лауреат из Нью-Йорка В. Леонтьев. И сразу к делу: «Я ознакомился с программой Шаталина — Петракова — Явлинского. С экономической точки зрения проект разумен» («Правда», 2.12.1990).

По ходу выступления выясняется, что наши экономические и юридические реалии маститый ученый знает слабо — «...еще существует статья к а к о г о - т о (разрядка моя. — А. К.) закона»... Да и представления о том, как сработает «разумный» проект, у него нет. Что профессора не смущает: «...Иногда так бывает: застрянет телега в грязи, и все начинают думать, что теперь уж наверняка ей не выбраться. А она вдруг раз — и выбралась...» Не правда ли, очаровательно — с особым шармом давних эмигрантов сказано. Очарованный читатель когда-то еще сообразит, что в сущности ему остается надеяться на магическое «раз»...

Вот так народные упования сосредоточились на еще одном «светлом» мираже. Так, под «раз» и «два», Верховный Совет России принял программу Шаталина. Программу, о которой не только население страны — российские парламентарии, не входящие в Верховный Совет, ничего толком не знали.

Теперь можно было и подискутировать — п о с л е одобрения. «Комсомольская правда» вдруг напечатала мнение Л. Пияшевой, тем более любопытное, что она принадлежит к ревностным «рыночникам»: «В случае реализации программы по расписанному сценарию хозяйство может прийти в состояние такой депрессии, которой даже мы, много потерпев-

шие, еще не видели» (6.10.1990). В ноябре популярная московская газета «Каретный ряд» опубликовала диагноз Б. Кагарлицкого: «...Российское правительство... решилось наконец поставить над населением страны грандиозный социальный эксперимент, не имеющий равных со времен сталинских коллективизаций».

Все правильно — это тоже часть сценария. Пресса не может себе позволить утратить ореол непогрешимости. Если бы программа Шаталина начала ломать привычную систему цен и производственных структур и зубовный скрежет разоренных хозяйственников слился бы с воплем народа, оставшегося без хлеба и без работы, прессе могла бы широким жестом указать на эти и подобные им, после одобрения программы появившиеся статьи и возвестить: «Мы же предупреждали...»

Хотя, в сущности, и эти запоздалые «плюралисты» о главном не предупредили. И лишь раскрыв независимую (зато и малым тиражом издающуюся) газету «Русские ведомости», читатель узнает, что программа «500 дней» узаконивает «ограбление века». Рабочим предлагается *выкупить* то, что годами создавалось их же трудом. По цене 25 тысяч за рабочее место. Указав, что у рабочих нет и не может быть такой суммы, газета итожит: «Семьдесят три года уже грабят и довели русских до унизительной нищеты. Но кое-кому и этого мало и решили ограбить нас до конца».

Специалисты не предупреждают и об уровне безработицы. Лишь раз в сообщениях промелькнуло: при переходе к рынку число потерявших работу может приблизиться к 40 миллионам. В любой цивилизованной стране такое сообщение вызвало бы правительственный кризис. О нем кричали бы первые полосы всех газет. У нас газеты кричат о другом, до небес восхваляют программу, обрекающую десятки миллионов людей на нищету. А народ молчит.

Молчит потому, что ему заморочили голову. Но не только поэтому. Русские (самый многочисленный народ Союза) молчат потому, что они — репрессированный народ. В 1923 году на XII съезде было заявлено: «... Мы в качестве бывшей великодержавной нации должны... поставить себя в неравное положение... более низкое по сравнению с другими...» Эта повинность, наложенная на нас Н. Бухариным от имени партии, до сих пор не снята. Подавление русского национального самосознания стало излюбленным делом прессы.

Пропагандистская кампания, сопровождавшая выборы в республиканские парламенты, у всех на памяти. Всюду она проводилась под знаком национального возрождения (этот лозунг был настолько популярен, что не раз становился объектом спекуляции). И только в России избирательная кампания сопровождалась шумными заклинаниями против возрождающегося «великорусского шовинизма».

Но есть тема и более локальная, легче поддающаяся рассмотрению. Русские в республиках. Выберем регион и проследим за тем, как подается информация о проблемах «русскоязычного» населения. К примеру, какие сведения о провозглашенной на левом берегу Днестра автономной республике мог почерпнуть читатель из центральных газет?

Самые общие: там обосновались сепаратисты, отказывающиеся идти на компромисс с молдавским парламентом. Сепаратизм — одно из тягчайших обвинений в арсенале советской прессы. В минувшем году оно выдвигалось дважды — против руководства Литвы и Приднестровской Молдавской АССР.

Но эти республики стремятся в *противоположные* стороны — Вильнюс хочет уйти из Союза, Тирасполь — остаться. В чем же проблема? В том, что уйти хочет Молдова, точнее, так хочет правительство в Кишиневе. Так кого же поддерживает московская пресса — тех, кто стремится отколоться от нас, или тех, кто преисполнен решимости вместе с нами пережить испытания?

Это не единственное недоумение, возникающее при знакомстве с информацией из Молдовы и Приднестровья. Тирасполь не требует для себя полного суверенитета — ему достаточно автономии. На фоне парада суверенитетов в бывших российских автономиях желание более чем скромное. И тем не менее столичная печать, с восторгом сообщающая о том, что очередная автономная область провозгласила себя союзной республикой, о приднестровцах пишет совершенно в ином тоне.

Быть может, автономия возникла на пустом месте («Известия» характеризуют АССР как «невиданное административно-политическое образование» — 3.11.1990)? Нет, к сведению «Известий»: в том же статусе она существовала до 1940 года. Волна «воссоединений» и сталинского «переселения народов» стерла ее так же, как несколько лет спустя татарскую автономию в Крыму или ингушскую на Кавказе. Усилия этих народов воссоздать утраченную государственность, в отличие от усилий жителей Приднестровья, находят поддержку в центральной прессе.

Подобные сопоставления можно продолжать до бесконечности. Не буду спрашивать — почему при равных условиях отношение к Приднестровской АССР разительно отличается от подхода к другим автономиям. Для знакомых с работой «нашей» прессы ответ на этот вопрос ясен. Не о справедливости приходится вести речь — о степени информированности читателя, обращающегося к центральным газетам.

Знает ли читатель, что большинство населения Приднестровья (720 тысяч из миллиона) составляют «русскоязычные» — русские и украинцы? Знает ли о том, что после того, как парламент в Кишиневе принял закон, провозгласивший молдавский единственным официальным языком, повсеместно начались увольнения русских специалистов и даже рабочих? Что рус-

ским не позволили создать в Кишиневе свой культурный центр? Что здание единственной газеты, отстаивавшей их интересы («Молодежь Молдавии»), было сожжено? Что два года молдавская пресса заполнена статьями, стихами, карикатурами, оскорбляющими человеческое достоинство русских? Что эта волна со страниц прессы выплеснулась на улицы?

Кто, кроме «Литературной России», с ее небольшим тиражом, сообщал об антирусских погромах в Кишиневе? Погромах, жертвами которых стали даже парламентарии. Печатались короткие сообщения — толпа избила депутата Сафонова. Простите, толпа избила Сафонова не потому, что он депутат, а потому, что он носит русскую фамилию и отстаивает интересы русского населения Молдовы. Союзная пресса обошла вниманием гибель Димы Матюшкина, юноши, убитого на глазах толпы в самом центре молдавской столицы только за то, что он говорил по-русски.

Газеты продолжали твердить о «сепаратистах», когда измученные бесконечными издевательствами люди протягивали руки, взывая о сострадании и помощи. Эта циничная позиция поощряла русофобию, охватившую Молдову. Антирусские погромы случались и в других местах, но руководство других республик по крайней мере отмежевывалось от них. Никто не позволял себе заявить, подобно молдавскому премьеру М. Друку, ответившему на вопрос об избиении депутатов: «...Некоторые русскоязычные депутаты ведут себя нагло, у них на все один ответ: «нет». Так же нельзя!»

Эта пощечина прозвучала со страниц московской газеты «Коммерсант» (1990, № 23). Там же обнародованы и другие откровения премьера: «Я их («русскоязычных». — А. К.) не осуждаю... но они напоминают мне ОАСовцев в Алжире или белое меньшинство в Южной Африке... Мой им совет: не играть с огнем».

Так русофобия провозглашалась официальной политикой в республике. В этих условиях образование Приднестровской автономии было единственной возможностью защитить достоинство и жизнь русского и украинского населения. Любой человек, знакомый с фактами, признал бы это. Но пресса умалчивала о фактах. И тем поощряла погромщиков. Ничем не облегчили положения русских и столичные лидеры — Б. Ельцин и Г. Попов. А ведь бывший кооператор М. Друк с гордостью называл себя учеником Попова.

Трагедия должна была произойти. 2 ноября части молдавского МВД ворвались в город Дубоссары и, открыв стрельбу, убили троих жителей. Но и теперь, после расстрела безоружной толпы приднестровцев, тон центральной прессы не изменился! Характерны публикации советского официоза газеты «Известия». Слово для объяснения случившегося предоставляется М. Друку и министру внутренних дел Молдовы И. Косташу, несущим прямую ответственность за расстрел. Над свежими могилами звучат обвинения в адрес жертв, убитые именуются «ослепленными людьми» (3.11.1990), внушается, что убийства «явились следствием провокации» (12.11.1990) *.

Что же, провокация имела место. Но о ней можно узнать лишь из «Литературной России» (1990, № 48). Газета публикует рассказ очевидца о походе на мирный город милицейских отрядов, о штурме, несмотря на заявление милиции Дубоссар о том, что она поддерживает в городе порядок. О стрельбе боевыми патронами по невооруженным людям — израсходована тысяча патронов, как в настоящем сражении. В статье называется и фамилия человека, отдавшего роковой приказ, — И. Косташ. О приказе был информирован М. Друк.

Материал в «Литературной России» — исключение. В других газетах читаем: «Готовность людей убивать друг друга», — не об убийцах, о приднестровцах («Известия», 13.11.1990); «аргументы принимаются лишь в одну сторону: в Дубоссарах погибло трое наших» («Правда», 24.11.1990). Жертвы допрашиваются с пристрастием. Об убийцах молчат.

Это в Москве. А на месте средства массовой информации творят и вовсе немыслимое. Диктор кишиневского телевидения, передав сообщение о расстреле, заявил: «Милиция профессионально сделала свое дело. И слава нашей милиции». А некий Ю. Карликовский в статье «Глазами очевидца» утверждал, что в Молдове был только один погром — еврейский погром 1903 года («Голос народа», 13.11.1990). Ответственность за него, как известно, уже тогда была возложена на русских.

Бывшее объявляя небывшим, кудесники пера с легкостью осуществляют и обратную операцию — чаемое у них легко материализуется, объявляется свершившимся фактом. Подобно цирковым иллюзионистам, печать пользуется системой кривых зеркал, заполняя пустоту агрессивными призраками.

Впрочем, иллюзионизм прессы и иллюзионисты в прессе — тема особого разговора. Не вдаваясь в него, напомню лишь об одной кампании. Пять месяцев — с января по май 1990 года — средства массовой информации пророчили еврейские погромы. Лилась кровь в Баку, Душанбе — армянская, русская, азербайджанская, — ее не замечали. Глаза газетчиков затягивала радужная бесплотная пелена — кровь евреев, которая *будет* пролита.

В мае эта пелена лопнула, как мыльный пузырь. Погромы, назначенные тележурналистом на 5 мая (по иронии судьбы, на этот день приходится праздник печати), не состоялись. И не могли состояться — их никто не готовил. Сотни раз пережевывая запущенную с телеэкрана версию, журналисты *ни разу* не сослались на источники информации, не объяснили своей уверенности в том, что погромы будут.

* Как отличается реакция прессы на эту трагедию от реакции на трагедию в Вильнюсе!

В мае выявились масштабы власти «шестой монархии», как называют порой журналистику. Власти созданных ею иллюзий. Стало очевидно, что в течение полугода обществу предлагалась откровенная ложь. Небезобидная, разжигающая ненависть к будущим погромщикам, а ими загодя объявлялись «патриоты»[1]. И что же? Прозвучали пусть единожды слова раскаяния? Были хоть раз принесены извинения тем, кого из месяца в месяц обличали, не выбирая слов? Нет! Даже облегчения по поводу того, что поднятая истерия не привела к инцидентам, не было выражено. Пресса в одночасье забыла о том, о чем твердила так долго.

И все общество согласилось сделать вид, что забыло. Тут нечто большее, чем простой конформизм, — гигантсткий шаг в подчинении общества произволу прессы. Завтра она объявит все что угодно, все, что подскажет буйная фантазия и вполне трезвый политический расчет, и хотя в реальной жизни не найдется и следа явления, о котором она говорит, люди будут с серьезным видом обсуждать сообщение. Что магическое воздействие Кашпировского перед этой абсолютной, никакому контролю не подлежащей, ни перед кем ответственности не несущей властью!

Нагнетая общественную истерию, пресса принялась за разработку инцидента в ЦДЛ. «Новые тенденции» при этом слились с магистральной темой советской печати на протяжении многих десятилетий. Темой политических процессов.

Сам инцидент произошел как по заказу. Поэтому трудно исключить версию о запланированной акции. К слову, примерно в то же время по всему миру прокатилась волна осквернения еврейских могил. Не обошла даже Израиль. Возмущение мирового сообщества не знало предела. Лучшие полицейские силы были брошены на расследование этих гнусных актов. И что же они выяснили? Осквернение совершали... евреи. Нет, не бунт отверженных заблудших овец — обыкновенные провокации. Вот сообщение издающейся в США газеты «Русский голос»: «Голднер (осквернитель могил в Израиле) объяснил свой поступок тем, что надеялся на то, что в осквернении обвинят арабов, а это поможет еврейскому сплочению против арабов» (1990, № 24). К сожалению, советская пресса, публикуя сообщения о кощунствах, о результатах расследований проинформировать читателей забывала...

Немногословными были информации и о финале суда над «героем» дебоша в ЦДЛ К. Осташвили. К тому времени выяснилось, что К. Смирнов, как его представляли газетчики, рекомендуя воинствующим русским патриотом, носит грузинскую фамилию. Причем едва ли не правомернее было бы именовать его К. Штольтенбергом («Ветеран», 1990, № 38). Но и этот человек с несколькими фамилиями немногое натворил — следствие смогло вменить ему в вину только грубые выкрики.

Однако за месяцы, предшествующие оглашению результатов расследования, пресса успела использовать этот случай на тысячу процентов. О расстреле в Молдове, о погромах в Душанбе не написано и сотой доли того, что о выкриках на литературном собрании!

Печать не только освещала процесс — активно участвовала в нем. Первый политический процесс времен перестройки пробудил родовое, изначально присущее советской прессе начало. И она откликнулась на зов со всею страстью давнего чувства.

Возродилась традиция 20 — 30-х годов, когда перо журналиста превращалось в инструмент судебного чиновника (об этом рассказывал в воспоминаниях Л. Копелев, сам подвизавшийся в подобной роли). Ю. Черниченко выступал общественным обвинителем. При этом он тесно кооперировался с А. Макаровым, который приобрел скандальную известность, защищая мафиози Советского Союза Чурбанова. Какой «терпкий» букет. И как он характерен!

Ошибется говорящий — прошлое мертво.

«Книголюбы» страны в лице редакции «Книжного обозрения» требовали исполнять Закон (именно так, с большой буквы) «и тюрьмами и решетками» (1990, № 43). Не слишком грамотно: исполнять... тюрьмами, зато откровенно. Недвусмысленно высказался и Ю. Решетников — начальник Управления МИД СССР по правам человека (после четвертьвековой борьбы с правозащитниками бюрократия додумалась распространить свои структуры на сферу, традиционно оставляемую на попечение общественности). Главный правозащитник страны призвал «находить (!) и сурово наказывать виновников подобных эксцессов». Он сожалел, что до сих пор «известен только один судебный процесс подобного рода — по следам дебоша членов «Памяти» в ЦДЛ» («Литературная газета», 1990, № 43).

От имени ученых-гуманитариев высказался членкор АН СССР Вяч. Вс. Иванов. Как и подобает старому интеллигенту, он элегически вспомнил беседы «в доме Б. Л. Пастернака». Затем потребовал «запретить, и решительно, публикацию антисемитского бреда, не тратить бумагу и средства на вредное словоблудие» («Литературная газета», 1990, № 17). Ученый мыслил глобальнее журналистов. От мелких жизненных фактов он поднялся к высотам обобщений. «До сих пор никто... не понес наказания», — говорит о коллегах-ученых. Обращаясь к писателям, отчеканивает: «...Пора заняться делом: писателям — литературой». Последние строки статьи — обращение к правительству: «А правительству страны — принятием действенных мер против разжигания национальной розни».

Классическая риторика, не претерпевшая изменений с 1937 года.

[1] Кстати: те кто стремится представить русских прирожденными антисемитами, ответьте — почему евреи из других республик тянутся в Россию? За последние годы число среднеазиатских евреев увеличилось в РСФСР в 4,4 раза, а грузинских — в 9 раз («Материалы по межнациональным отношениям», М., 1989, ч. 2).

Грандиозная кампания средств массовой информации, походя творившая миф о «погроме» в ЦДЛ, конечно же, не для обличения безвестного Осташвили затевалась. Воскрешение политических процессов, реанимация статьи 74 — вот какова была цель. Острие удара направлялось на русских писателей, осмелившихся встать на защиту своего народа.

Не случайно Т. Иванова — рупор общего мнения в стане «перестроечной» журналистики — выступила с предложением выпустить из тюрьмы Осташвили. Одновременно, адресуясь к властям, она подсказывает: «...Вина совратителей куда больше, чем вина совращенного» («КО», 1990, № 47). И тут же, по законам публичного доноса, называет имя главного редактора журнала «Наш современник».

К тому и шло с самого начала. В жертвы организаторами процесса намечены русские писатели. Конечно, в их произведениях не найти материала для обвинений в разжигании национальной ненависти. Но в этом деле «общественными обвинителями» накоплен бесценный опыт. Т. Иванова пересказывает выступление С. Куняева по радио. Ход искушенного в подобных делах человека — интерпретировать не закрепленную на бумаге речь. В этом номере «Наш современник» публикует текст выступления — «Мы, как письмо в заклеенном конверте...» С. Куняева. Раскрыв журнал на страницах 120 — 124, читатели могут выяснить, вдохновляет ли текст — цитирую «Книжное обозрение» — «на борьбу с евреем». Перед ними приоткроется механика создания журналистских мифов.

Русские писатели стали объектом широко развернувшейся, узаконенной травли. Суды отбирают у них журналы — и газеты, захлебываясь восторгом, сообщают об этом (см. статью «Без «Знамени» в «Комсомольской правде» от 18.12.1990). А какая скоординированная кампания по дискредитации («Известия», «Огонек» и — вопреки названию — «Литературная газета») развернулась после съезда писателей России!

Террор прессы порождает настоящий, кровавый террор. Так было всегда. Это сегодня вину за все ужасы гражданской войны те же газеты перекладывают на народ с его «темными», «звериными» инстинктами. Полно, товарищи. Кто десятилетиями звал «к топору»? Кто в годы братоубийственной бойни «воспламенял гражданскую ярость»? И вновь — «воспламеняют». Не без результата. Разгромлена квартира замечательного публициста Михаила Антонова (к счастью, во время налета его не было дома). В Калуге убит Иван Фомин — единственный редактор областной газеты, имевший мужество напечатать «Письмо писателей России». Его убийца прямо заявил, что к «теракту» его подтолкнула пресса.

Но и писатели, отстаивающие честь, суверенность, целостность России, — только промежуточная цель. Удар по ним — пробный удар. Главная цель — Россия. Говоря о литераторах, вот что пишут о ней самой газетные «плюралисты»: «...Эта Россия — не вся, но крикливая, наглая, самодовольная, опасная для человечества (здесь и далее разрядка моя. — А. К.). Это Россия, которую мы хотим переделать, от которой хотим избавиться» («Возрождение», газета киевского общества еврейской культуры). Призыв к геноциду. Информационная война против русского народа. Юрий Маркович Нагибин в «Российской (?) газете» и Игорь Моисеевич Клямкин в «Комсомольской правде» (23.01.1991) изъясняются немногим более деликатно.

И вдруг фанфарным зовом в газетах, с экранов зазвучало слово «патриот». Это случилось в середине января. Тогда же аршинными буквами утвердилось оно на афишах кинотеатров. Фильм «Патриот», ракета «Патриот». Неужели явился указ о реабилитации «чуть ли не одиозного ныне», по выражению журнала «Октябрь» (№ 11, 1990), слова?

Нет, компетентные инстанции хранили соидное молчание на фоне неистовствовавшей в патриотическом порыве прессы. Не к советской армии, не к русской земле взывали распалившиеся газетчики. Ракеты — американские, войска — американские, да и фильм тоже из Голливуда.

Разве что пресса — наша. Наша?! Ну, выходящая по крайней мере в Москве. Взращенная на милитаристских традициях сталинско-хрущевско-брежневской пропаганды. Конечно, тогда принято было приветствовать успехи собственной армии — в Венгрии, Чехословакии, в Афганистане. Но радовались — в пропорции — и чужим. Достаточно вспомнить мажорные сводки о продвижении колонн вермахта к Варшаве.

Сколько яростных инвектив обрушилось в последние годы на тех, чьи подписи стоят под германо-советским пактом. Жаль, газетчики забыли своих старших коллег, чьи фамилии красовались под статьями о Польше.

Забыли? Отчего же — корреспонденции о войне в Персидском заливе сделаны по рецептам добрых старых времен. Объективность? Да кто позволит! Анализ? И не ждите!

Помните первые дни войны? Сообщения по телевидению только с грифами американских телекомпаний. Ах да, постоянно присутствовала и хроника из Тель-Авива. Временами казалось, что мы живем где-то на заброшенном берегу то ли озера Мичиган, то ли Мертвого моря и каждый вечер пылаем страстью узнать — что там, в столице, думают по поводу событий.

Но можно ли было ждать объективности от тех, кто голосовал против мирной резолюции парламента России, кого не страшила посылка наших солдат в пекло войны, даже более чужой для нас, чем афганская бойня. Вспомните имена парламентских ястребов — В. Старков, В. Шинкарецкий, О. Попцов, М. Салье, Мурусев, Любимов, Политковский и сопоставьте их со списком популярных журналистов года.

Перелистайте газеты предвоенного (мир еще можно спасти!) декабря. Трагедия века — отставка министра, манившего русских ребят в пучину персидского кризиса. Министра, шантажировавшего Президента своим уходом накануне важных советско-американских переговоров (американские корреспонденты в беседы с Э. Шеварднадзе подчеркивали, что для Вашингтона небезразлично, будет ли он присутствовать на переговорах). Ах, как сложно у нас с общепринятыми понятиями: «гуманисты» ратуют за войну, «плюралисты» — за монополию на гласность, «левые» — за миллионеров, выходящих из криминальной тени!

Подумайте над тем, в чьих руках микрофоны и газетная техника, и уже не удивитесь мажору предвоенных и первых боевых корреспонденций. Разве что наивный спросит, где были слова предостережения (не об официальных нотах говорю), где была гуманная мудрость рыцарей пера или хотя бы трезвый расчет.

Сейчас эмоции не в моде, все говорят о валюте, об экономической выгоде. Ну так и рассчитали бы потери в связи с войной. Сказали бы людям: только из-за срыва советско-иракских контрактов СССР теряет 10 млрд. долларов. Сравните — банковская

афере, увенчанная подписью зампредсовмина Г. Фильшина, могла бы дать только 7 млрд. долларов. Пресса уверяет, что на эти деньги можно завалить Россию продуктами и ширпотребом. А на 10 миллиардов?..

Экологические аспекты. Перед началом бойни в Лондоне состоялся научный конгресс, где говорили о возможности экологического апокалипсиса в случае начала военных действий. Два-три заметки в несколько строк — так отреагировала советская пресса на самую чудовищную угрозу жизни на Земле со времени взрыва ядерной бомбы.

Кстати, об атоме — «мирном». Что за странное молчание после информации об американских бомбардировках иракских ядерных реакторов? Имел ли место рукотворный Чернобыль, или опять бомбили муляжи? Ну скажите хотя бы, проводятся ли в соседних странах замеры радиоактивности. Каковы последствия бомбовых ударов по предприятиям, производящим химическое и бактериологическое оружие? Чума и сибирская язва, вырвавшись как джин из иракского кувшина, уже гуляют по земле? Сколько тысяч трупов оставил их пир в Междуречье? Или опять пустое бахвальство косящих от страха американских воздушных асов?

Сейчас пишут о коварстве Хусейна — нефть растекается по заливу. Публикуют фотографии птиц со слипшимися перьями. Но разве с самого начала не было ясно, что война окажется именно такой — предельно жестокой. Да и бывают ли гуманные войны? Птиц жалко. Рыб, медуз, водяных паучков — всё живое. А людей — не жалко? Где фотографии жилых районов Басры и Багдада, разрушенных американскими налетами?

И столь же страшный аспект — политический. Попранная справедливость привела к войне? Этот газетный лозунг, предназначавшийся для ООН, теперь отброшен даже пропагандистской машиной карающей Америки. Не нужен больше. Не мораль, не территория и даже не нефть — причина войны. Утверждается новый мировой порядок (мы уже слышали это словосочетание). После того как одна из сверхдержав сама сбросила себя с политических счетов, другая активно заполняет вакуум. Лихорадочно наверстывает упущенное за полстолетия.

То, что происходит в Персидском заливе, — начало великой битвы за ресурсы. Последней войны в истории человечества. Нефть и прочие виды промышленного сырья — лишь часть главного приза. Еще ценнее воздух, вода. Ресурсов хватит на один миллиард. население Земли уже превысило пять миллиардов.

Ирак один из самых сильных и драчливых претендентов «со стороны», из числа стран третьего мира. Запад преподносит наглядный урок возможным зачинщикам бунта государств Востока. Вот почему каждый ракетный обстрел Багдада тяжким стоном отдается в Дели. Да и в Токио, быть может, тоже. Сегодня под лозунгом борьбы за политическую стабильность сокрушают Ирак. Завтра могут вполне заговорить об угрозе стабильности мировой экономики, исходящей от стремительно развивающегося азиатского гиганта. Уже сейчас общественное мнение Америки возмущено японским экономическим присутствием в США. Уже сейчас идет вежливая война — таможенная.

Как бы ни повернулись события, мир выйдет из этого конфликта другим, не похожим на вчерашний. Выйдет под конвоем всесветного жандарма. Шаг вправо, шаг влево, и без предупреждения — огонь.

Но обо всем этом нет и полслова в говорливой прессе. Репортерская пауза, заполненная бравурными маршами и ревом бомбардировщиков.

Система умолчаний, полуправда, ложь — приемы, на которых держится власть «шестой монархии». Журналисты любят это определение. Впрочем, можно найти менее велеречивую характеристику. Проще и точнее — королевство кривых зеркал.

Из нашей почты

РАБОЧИЕ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ СЕБЕ ВЛАСТЬ

Больше, меньше социализма, как теперь говорят, — все это расплывчато. Нужна идея, вера, которая бы захватила, утвердилась в душах и сердцах рабочих, дала бы ясную цель.

Вспомним после войны: разруха, голод, никакой передышки. Партия обратилась к народу, поставила перед рабочим классом конкретную цель — вывести страну из тупика. Призыв был подхвачен. Откликнулся каждый. Я считал своим долгом — строить.

Конечно, не все одинаково тянули лямку во всенародной упряжке, но рабочий класс под комель подставил плечо. Время торопило. А палки в колеса и тогда вставлялись. То цемент застревал в дороге, то сталь не соответствовала профилю... Бывало, просидим смену на арматуре, как воробьи на проводе, а в нарядах наможут, прикроют свою нераспорядительность. Спросить бы рабочему, за чей счет подачка? А он молчок. И с этого-то и пошел подрыв рабочей чести, чувства хозяина страны.

Но закваска рабочая была еще сильна. Работал у нас сначала начальником стройки генерал Поддубко. Так он вышку велел себе поставить посредине котлована. Подрулит «Победа» к самой ступеньке, адъютант откроет дверцу, чтобы штиблеты начальник стройки не запачкал. Он поднимается на вышку и, как коршун из-под небесья, озирает. Сойдет, даст разгон прорабам и в «победу». Бульдозер разгребает грязь, а за ним начальник стройки ползет на авто. Но предел всему бывает. Однажды настроение свое рабочие показали. Пришлось проводить партактив. Я на собрании не присутствовал, а с чужих слов не берусь пересказывать, как там происходило дело. Знаю только — рабочие поставили вопрос ребром... Генерала сняли.

Пришел на стройку Андрей Ефимович Бочкин. И вагоны под цемент нашлись, и котлетки мясные в столовке появились. К слову сказать, производительность труда в тарелке — это закон. И рабочий контроль заработал. Разогнал шайку торгашей. И дальше бы развивать «демократию», но стоп! Не отвлекать рабочего! На то есть профсоюзы. А профсоюзы уже начали жирком обрастать. Качают право тем, где администрация позволит. А у рабочего и так дел невпроворот. Была механизация, но слабая, карликовая, разрозненная, в основном приходилось на пуп брать. Молотит вхолостую бульдозер, а не возьмешь, не с твоего участка. Тогда рабочие, как теперь говорят, со своим лидером, главным механиком стройки Е. Н. Батенчуком поломали эту систему. Объединили строительную технику в один кулак. Пошла стенка на стенку, каждый хотел свою вотчину. Правда, рабочие митинговать не стали, бастовать тоже, тогда вовсе не было этой моды, считали деньги. Просто рабочие договорились, собрали тракторы, бульдозеры, экскаваторы под одну крышу и установили свой порядок. Заказал технику, плохо используешь — плати штраф. Не подготовил фронт работ — лишаешься машины. Зарплата тоже от колеса накручивается. Сразу заметно прибавилось и техники в котловане, и выросла производительность, пошли в гору заработки. С приходом Бочкина стройка выправилась. Случались и сбои, но, главное, была вера в партию, которая иной раз и не позволяла вникнуть в глубинные негативные процессы, происходящие в стране.

Помню, еще задолго до пуска первого агрегата под предлогом скорейшего затопления водохранилища в инстанции было принято решение убрать в истоке Ангары «Шаман-камень» — естественный регулятор уровня Байкала и выпустить озеро в ложе искусственного моря, тем самым резко понизить уровень Байкала.

До поры до времени эта акция сохранялась в тайне. Но шила, как говорится, в мешке не утаишь. Первыми битву за сохранение Байкала начали тогда строители, в том числе наш писатель и редактор многотиражки Франц Таурин. Пока писали, выступали, уже и штольню пробили под «Шаман», и вагоны со взрывчаткой подкатили. По правде сказать, мы, рабочие, плохо разбирались в проекте уничтожения Байкала, нам было просто жаль дивной красоты «Шамана» — места нашей рыбалки. Мы не думали, кому это надо. Но интуитивно чувствовали, что-то неладное затевается.

Кому верить? Пустить взрывчатку под откос? Другую подвезут. Митинговать? Бастовать? Тоже не стали. Загнали вагоны подальше в тупик, разобрали железную дорогу...

И Бочкина хотели снимать, и гнать собирались Батенчука со стройки — кому-то не угодил в Министерстве. Видел я и министра, приезжал он к нам, и как покатил «телегу» не Евгения Никаноровича... Но Батенчук не из робкого десятка, и рабочие не дали на поругание своего лидера. Тогда и я, может быть, впервые в жизни ощутил, какую силу представляет организованный рабочий класс, когда воистину один за всех, а все за одного.

С пуском агрегатов Иркутской ГЭС наш коллектив строителей разделился. Одни пошли за Бочкиным на Енисей, а вся наша бригада последовала за Батенчуком за тридевять земель на вечную мерзлоту, обживать и обустраивать берега северных рек.

...Помню, приехал секретарь ЦК КПСС Полянский и попросил рабочих добавить трудовой порыв: в сжатые сроки возвести обогатительные фабрики, построить гидростанцию на Вилюе. Обещал хорошее снабжение. Мы, рабочие, сдержали свое слово. Секретарь ЦК — нет. Добычу алмазов увеличили в тысячу раз. И лучше жить не стали.

Пока мы шуровали прожорливые топки индустриальной мощи страны, за нашей спиной потихоньку рос, холился доморощенный неуязвимый бюрократ, оттесняя и вытесняя из всех сфер общественной и государственной деятельности рабочего. Под разными предлогами и действиями старались не допустить нас к политической жизни. Помню, вернули нашу делегацию из аэропорта, направляющуюся на слет передовиков. Делегатов-рабочих заменили конторскими.

Старались в этом направлении и средства массовой информации, в том и преуспели немало. К примеру, постоянно рассказывалось и показывалось, как руководителей за совершенные преступления строго наказывали, разжаловав в рабочие. Я уж не говорю о том, что во многих неудачах социалистического строительства виновных искали в рабочем классе и постепенно ему прививали чувство вечного штрафника. А ведь по существу, в чем вина рабочего? Он верил и доверял, и нарабатывал власть имущим, и поднимал на своем знамени тех, кто так бессовестно его предавал.

Вот и конкретное подтверждение. Всего-навсего в новом составе Верховного Совета рабочих двенадцать процентов, крестьян-хлеборобов — восемь.

Кто виноват? Согласен, и рабочего есть вина, передоверились, не все рабочие понимают и осознают свое положение, тем более размыт класс провинившимися, неудачниками, учетчиками-секретарями.

«Авангард рабочего класса» — его партия перерождается и теряет связь с рабочими. Прикрываясь всенародностью, изменяет ему. А как известно, интересы людей во многом не совпадают. По моим наблюдениям, в последнее время все больше бытует: как бы поменьше поработать, да побольше иметь. Заметно и то — кто не работает, истошно лезет в защитники рабочего человека, не ведая, что он и сам может постоять за себя, без всяких народных фронтов и союзов.

Что-то не верится мне, что витийствующие радикалы радеют за благополучие рабочего класса. Нас уже стравливали в свое время — брат брата на вилы вздергивал. Раз так не получилось, изнутри точить пошли, лишь бы удавку покрепче накинуть. Элитарные демагоги и не скрывают, что они, как черт ладана, боятся пролетариев. Вот и ловчат, запугивают беспросветностью. В трудном положении страна. Но ведь заводы-то у нас не после бомбежки работают. Сырьевые ресурсы есть, земля — слава богу. Руки тоже не отсохли, как сказал Валентин Распутин на съезде народных депутатов. Так чего же плоховать? Зачем отдавать в чужие руки?!

Нетрудно догадаться, кто пытается превратить нас в дешевую рабочую силу, а Россию в сырьевую колонию, в свалку отходов от промышленного производства капиталистических стран. И невооруженным глазом видно, как главный западный радетель перестройки, известный душитель своих рабочих горняков Маргарет Тэтчер подвизается в генеральные консультанты нашей перестройки.

Несмотря ни на что, жива еще матушка Россия. А если так, то выстоит и теперь. Если вынудят, есть кому пойти на решительный бой.

Я не сторонник забастовок, хотя это сильнейшее средство, объединяющее рабочих и вселяющее непоколебимый революционный дух в каждого участвующего. И тем не менее подрыв экономики — это только наруку нашим врагам. Они спят и видят, чтобы мы поскорее обнищали, развалились и перегрызлись, хотят взять нас голыми руками.

Не верьте тому, кто говорит — на кого бы ни работать, лишь бы платили. Эту наживку подкидывают нам со стороны. Забастовкой власть не выпросишь. Власть берут!

А нам вроде бы и брать не надо. Нам ее взяли деды и отцы наши, а мы должны вернуть. Те же забастовочные комитеты перековать в управленческие. Цель-то ведь одна — взять под свой контроль предприятия. Не останавливать станки, а раскручивать. Не вполсилы включать, а на полный ход. Зарабатывать и распределять. Отряхнуться сразу от своих и министерских дармоедов. Неужто позабыли — кто не работает, того не кормить. Не заигрывать надо в демократию с теми, кто мешает зарабатывать хлеб насущный, а размежеваться. Когда зарабатываешь, а не подачки принимаешь, осознаешь себя человеком. А это, по-моему, и есть реальная власть рабочего на производстве. Тогда и не надо будет обивать пороги канцелярий, выпрашивать ясли, квартиру или путевку. У нас сейчас и формы-то потребовать нет. Мы все просим — «прошу дать», «прошу разрешить», «прошу принять»... А где просьба, там и отказ... Да что мы — быдло, в самом-то деле?! Но я не призываю жечь дом, чтобы избавиться от клопов. А уж очень многим хочется этого, изо всех сил подталкивают нас. Чуют запах жареного. Господа хаммеры за углом стоят, только этого и ждут. Настолько расчувствовались, заобъяснялись в страстной любви к России, будто мы забыли, как нас грабили и после революции.

Любителей лапшу вешать на уши рабочему человеку охотников предостаточно. Жаль, что мы подрастеряли свои былые рабочие традиции, а новых еще не наработали. Размывают и рвут связывающие узы рабочих, иной раз способствуют этому и сами же рабочие — соглашатели. Но это до поры до времени. Поймут.

Во все времена рабочий класс силен был своими вожаками и единством. Пока у нас ни того, ни другого. Но верю, будут.

К сожалению, нет у нас в Отечестве пророка. Еще недавно вроде бы засветился на горизонте, я голосовал за него — за Б. Ельцина, когда он в обиженных ходил. Но наступило прозрение, да и не только у меня. Кто за ним стоит? С кем он? Теперь-то ясно.

Рабочий класс должен знать: кто у руля? Какую веру исповедует? К примеру, А. Н. Яковлев, член Политбюро. То, что он не масон, я читал в газете, а кто он — так и не сказал. Сейчас есть члены партии, объявляющие себя социал-демократами, левыми радикалами и т. д. И все это под прикрытием самой партии, высоких партийных должностей. Бесчестно это. Создай свою программу, обнародуй, а тогда люди для себя сделают вывод — по пути ли им с «новыми революционерами». Надеялся в статье А. Н. Яковлева «Синдром врага...» («Литературная газета» от 14 февраля 1990 г. № 7) найти ответы на многие вопросы, а нашел пространные рассуждения о «чьей-то злой воле», «непомерных амбициях», «глупости», «чванстве», о «мерзопакостных формах» групповщины. Вся статья — сплошные загадки. Как может быть счастливым человек (а таким А. Н. Яковлев себя называет), если от результатов его деятельности страдают миллионы соотечественников?

Неясно и то, кто же есть значительная часть нашей интеллигенции, которая выговорила себе — когда хочет, уезжает из страны, когда хочет, — приезжает. И каждый на себя тянет одеяло. Так и порвать недолго. А кому латать? Рабочему классу. Диссидентам-то пятой или десятой волны — все равно. У них за рубежом и кров, и стол.

Широко известно рабочему классу — русская интеллигенция всегда была с трудовым народом, и теперь, в трудный переломный период, она, надеюсь, будет с ним.

Не один десяток лет бок о бок со своими товарищами рабочими варил металл, укладывал бетон, жил в палатках и балках только лишь с одной мыслью — помочь Родине выйти из послевоенной разрухи, накормить, одеть, обогреть людей. И никогда не возникало мыслей проявить пролетарскую диктатуру. А может, и надо было? Что видим сейчас? Разнузданная вседозволенность... легализированные миллионеры...

Кричат со всех сторон — результат застоя. У нас в бригаде — простои случались, потом наверстывали, а застоя не было. Возможно, в правительстве, точнее, в верхних эшелонах власти, в партии и был застой... Так и надо сказать, а не стричь всех под одну гребенку.

Рабочий класс и наше крестьянство, на которых держится жизнь, всегда были крепки духом. Теперь, когда идет подрыв государства изнутри, пробиваются чистые родники народного сознания, политической мудрости. Пробуждается народ. Нужна общая объединяющая идея. И она зреет. А значит, и одолеем все беды, и возродимся духовно и социально.

Л. КОКОУЛИН.

ПРЕМИИ ЖУРНАЛА "НАШ СОВРЕМЕННИК" за 1990 год

Редакционная коллегия присудила премии за лучшие произведения, опубликованные в журнале в 1990 году

Ю. БОРОДАЙ

Л. БОРОДИН

П. ГОНЧАРОВ

Г. ГОРБОВСКИЙ

Н. КАРТАШЕВА

Е. КУРДАКОВ

М. ЛОБАНОВ

А. МАКАРОВ

А. В. МИХАЙЛОВ

С. МИХЕЕНКОВ

К. МЯЛО

А. ПРОХАНОВ

С. СЫРНЕВА

Юрию БОРОДАЮ за статьи "Кому быть владельцем земли" и "Почему православным не годится протестантский капитализм" (№№ 3, 10).

Леониду БОРОДИНУ за повесть "Третья правда" (№№ 1–2).

Петру ГОНЧАРОВУ за статьи "Линия судьбы" и "Куда идти России" (№№ 9, 11).

Глебу ГОРБОВСКОМУ за подборку стихотворений "Доступны памяти и взору" и подборку новых стихотворений (№№ 2, 11).

Нине КАРТАШЕВОЙ за подборку стихотворений "Благодарю, земля родная" (№ 9).

Евгению КУРДАКОВУ за подборку стихотворений "В центре мира" (№ 2).

Михаилу ЛОБАНОВУ за статью "В сраженье и любви" (№ 6).

Александру МАКАРОВУ за подборку стихотворений "Тьма и свет" (№ 7).

А. В. МИХАЙЛОВУ за статьи "О достоинстве нищего и богача" и "Итоги" (№№ 3, 12).

Сергею МИХЕЕНКОВУ за повесть "Пречистое Поле" (№№ 5 – 6).

Ксении МЯЛО за статью "Линия судьбы" (№ 9).

Александру ПРОХАНОВУ за статьи "Заметки консерватора" и "Идеология выживания" (№№ 5, 9).

Светлане СЫРНЕВОЙ за подборку новых стихотворений (№ 6).